

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ь

---

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 0



## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. П. СЛЕТОВ. — Заштатная республика, <i>роман</i> . . . . .	5
2. В. САЯНОВ. — Московские западники, <i>стихотворение</i> . . . . .	45
3. Петро ПАНЧ. — Муха Макар, <i>рассказ</i> (авторизованный пер. с украинского В. Юрезанского) . . . . .	47
4. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Как прячутся от времени, <i>рассказ</i> . . . . .	65
5. Е. ЭРКИН. — Баллада, <i>стихотворение</i> . . . . .	84
6. А. ГИТОВИЧ. — Калмак-Аша, <i>стихотворение</i> . . . . .	85
7. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, <i>повесть</i> (конец первого тома) . . . . .	86
8. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентральный, <i>роман</i> , продолжение . . . . .	108
9. И. ПУЛЬКИН. — Москва, <i>стихи</i> . . . . .	127

### ЛЮДИ И ФАКТЫ.

10. Дан. ФИБИХ. — Стальная лихорадка, <i>очерки</i> . . . . .	132
11. Дзахо ГАТУЕВ. — Осада Наифата . . . . .	144
12. И. ГРОНСКИЙ. — Борьба за хлеб . . . . .	154

### ЗА РУБЕЖОМ.

13. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики) . . . . .	163
--	-----

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

14. Письма иностранных писателей, предисловие Вяч. Полонского . . . . .	175
15. Ю. ДАНИЛИН. — Июльская революция и французская литература . . . . .	189
16. А. РАШКОВСКАЯ. — Новый роман о русской интеллигенции . . . . .	197

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Н. ВИЛЕНСКАЯ. — Л. Овалов «Болтовня» . . . . .	200
Т. НИКОЛАЕВА. — С. Малашкин «Поход колонн» . . . . .	201
ПУТЕШЕСТВЕННИК. — Р. Амундсен «Моя жизнь», В. Арсеньев «Сквозь тайгу», Н. Галкин «В стране полуночного солнца», А. Зорич «В стране гор» . . . . .	201
Н. ЗАМОШКИН. — А. Меромский «Язык селькора» . . . . .	203
М. РАБИНОВИЧ. — В. Пяст «Встречи» . . . . .	204
В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН. — И. А. Аксенов «Гамлет и другие опыты в содействии отечественной шекспирологии» . . . . .	205
Л. СМИРНОВ. — Л. Вржосек «Жизнь и творчество Вересаева» . . . . .	206
Книги, поступившие на отзыв . . . . .	208

# Заштатная республика

Роман

П. СЛЕТОВ

I

**Н**а последней земской ставке подали тройку. Заржавленные бубенцы на хомуте и у дуги звенели игдиво, говоря о лучших временах. Потрепанная пыльная сбруя, нося следы былых чеканных украшений, знавала лучший уход. Когда-то и мерины были глаже, проворнее, — теперь шагали они по дороге уныло, как парализованные, не сгибая ног, позабыв, что такое рысь.

Аркаша Пальчиков сочувствовал им в полной мере. Знал и он когда-то, так недавно еще лучшие дни. Помнил и он еще живо улыбки своей судьбы, когда, начавши день в папашинем ресторане на Неглинном, кончал он его у Яра — эх, цыганские зыбкие плечи, эх, «Шел мэ вэрсты», эх Варя...

Большая дорога, обсаженная по обеим сторонам величавыми березами, широкой пятиколейной улицей лежала среди лоскутного одеяла холмистых полей и лесов, ведя вот уж вторые сутки от станции к Белоспасску. Лишь одна колея была проезжена, остальные заросли травой, свежей от недавних дождей. Но ездили мало, дорога была плохо накатана, тарантас потряхивало, Аркаша не мог ни вздремнуть, ни усесться удобнее.

Вдруг лошади стали.

Ямщик, наклонившись, поправил вожжи и стал тихонько, как бы озабоченно, посвистывать.

— Что ты? — светло и простодушно спросил Аркаша.

Ямщик молчал, не прерывая подсвиста. Мерины, понуриив головы, стояли неподвижно.

— Что случилось? — забеспокоился Аркаша и опять не получил ответа, — ямщик отвернулся в сторону и смотрел вдаль. Борода его легла на плечо и как будто указывала по направлению взгляда.

Аркаша перевел глаза. Далеко на небосклоне, вверх и вкось от черты кругозора поднимался черный рукав дыма, словно огромный паровоз разматывал на бегу копченую кудель. Холмы и дальность

расстояния не позволяли видеть огня. Тихий ветер медленно менял очертания дыма, не в силах развеять.

Между тем мерины, тяжело вздыхая, зашевелились, раскорячиваясь, правый пристяжной печально оглянулся и натужился, зажурчало, запахло прелым и затхлым.

— Вот что... — ответил тогда ямщик, удовлетворяя Аркашино любопытство, слегка подождал, зачмокал и тронул лошадей.

— А что за пожар? — только через полчаса догадался спросить Аркаша.

— Лесные склады горят, — нехотя ответил ямщик. — Теперь-то уж догорают, три дня как подожгли. Купца Житова склады...

Тарантас все катил, увозя Аркашу от московского голода в мордовские сытые земли.

Вдали за лесом уже поднимался, вспухал Белоспасск.

## II

Кабинет председателя белоспасского уездного исполкома был обширен, но темноват. Несмотря на яркий солнечный день, Аркаша, войдя, не сразу освоился в нем. Председатель, известный всему городу под именем Семена Ивановича, здороваясь, привстал из-за стола. Аркашин приезд был предупрежден телеграммой и встречен, как некоторое событие, — Аркашу провожали до кабинета, он был принят вне всякой очереди, и теперь председатель жал его руку молча, выжидательно. Аркаша рос в собственных глазах.

Садясь в кресло, собрав всю остроту своей впечатлительности и опыта, он воспользовался первой минутой встречи, когда не обязательно быть торопливым, чтобы присмотреться к этому мужчине. Сорок лет, зачесанные назад длинные русые волосы, щетинистая борода, тоном темнее волос, и от углов рта вниз, к подбородку, две горькие складки — трагические складки. Им соответствовали на лбу глубокие морщины меж бровей. Жест Семена Ивановича, указавшего Аркаше кресло, был нарочито неуклюж. Как скоро убедился Аркаша, он вполне отвечал общей мешковатости, усвоенной Семеном Ивановичем. Этой мешковатостью он, казалось, хотел сказать:

— Мы, знаете ли, попросту, без затей... Мы, знаете ли, — где уж нам!..

Глаза же были внимательны и хмуры, оттого что постоянно поднятые наружные крылья бровей подтягивали вверх иссеченные складочками вялые веки.

Жаркий день заставил Семена Ивановича снять пиджак. Но тончайшее полотно сорочки, золотые тяжелые запонки и камень в булавке, пронзившей галстух, навели Аркашу на мысль, что все остальное — грубые сапоги, порывевший ременный пояс, державший брюки от светлосерого костюма, мешковатость и домашность Семена Ивановича — напускное, что нужно держать ухо востро.

И Аркаша сказал:

— Я прибыл по назначению губернского земельного комиссариата для проведения социализации земель. Вот мой мандат.

Семен Иванович тоже, не теряя времени, взвешивал и оценивал приезжего. Суховатый аглицкий оклад Аркашиного лица, загоревшего и обветревшего за двое суток езды на лошадях, был энергичен. Темные, несколько изюмовые глаза раскрывались под длинными ресницами с легким нахальством. На дохлой Аркашиной груди лежали смятые борты серого пыльника, ноги были затянуты в щегольские с бочковатыми гнутыми голенищами высокие сапоги. Семен Иванович решил пока мягко постлать.

Он взял Аркашин мандат и пробежал, в то время как Аркаша, поймав издали в тексте его фразу о праве своем на реквизицию и проч., вновь вспомнил и подумал:

«Что бы папаша сказал, если бы видел... Главное, мне надо себя с самого начала поставить. С этим народом надо потверже, построже».

Семен Иванович, дочитав мандат, сказал горьким голосом, с горькой улыбкой.

— Ну что ж, добро пожаловать. Поработаем вместе.

— Да, поработаем, — обрадовался Аркаша и тоже улыбнулся своими яркими припухлыми губами.

«Щенок» — отметил про себя Семен Иванович, не меняя, впрочем, пока своего отношения к Аркаше.

— Сейчас я познакомлю вас с моим комиссаром по земельным делам — славный парень, левый эсер, — сказал он и позвонил.

«С моим комиссаром!..» — запомнил на будущее Аркаша.

Семен Иванович же вдруг изо всех сих нахмурил лоб, так что редкие его щетинистые брови, шевелясь по надбровным дугам, встали дыбом, и — уткнулся в лежащие перед ним протоколы. Стало ясно, — неотложные вопросы правления вынуждали его к молчанию, к исключительному вниманию.

Немного погодя дыбом вперед вошел пономарь, подпоясанный голубым шнурочком с помпонами, и остановился в позе наглядной почтительности. Не поднимая головы, Семен Иванович выдержал его так некоторое время, затем вдруг откинулся и прямо-таки заскрипел вслух своей улыбкой, — до того она показалась Аркаше ржавой, насильственно пробившейся сквозь огорчения морщин.

— Ага... Вот, знакомьтесь — товарищ из губернии прислан к нам... А это — товарищ Будилин, наш земельный комиссар.

Свое зловещее добродушие Семен Иванович вновь подкрепил мешковатым жестом.

— Ну-с, расскажите, что у вас там в губернии нового, — обратился он к Аркаше. — Мы народ темный — пока-то в нашу Тьмутаракань дойдет.

— Да что ж, — оживился Аркаша, — сейчас центр тяжести в земельной политике. Нам нужно заполнить мужичка в союзники.

Будилин радостно закивал головой и потер руки.

— Нужно на деле показать, — продолжал Аркаша, — что завоевания Октября—это его завоевания. И в первую очередь покончить с черным переделом. Затем, разумеется, будем внедрять кооперацию и артели.

Аркаша замолчал с улыбающимся открытым ртом, обнажив гниловатые зубы, стараясь отгадать производимое впечатление. Комиссары молчали.

— Мы доказали, — продолжал тогда Аркаша, — что только мы можем довести революцию до осуществления ее лозунгов. Мы положили конец преступной войне, мы вернули землероба к его труду, мы помогли ему разделаться с вековым врагом — помещиком, сосавшим его кровь. Теперь, закрепляя за ним землю, надо подумать о том, чтобы организовать стихию, упорядочить землепользование, переведа его на рельсы коллективного землепользования: кооперацию, еще лучше коммуну...

— Что я тебе говорил, товарищ Будилин, — заметил с поучающим упреком Семен Иванович, — еще лучше — коммуну.

— Да, да, коммуну, — воодушевился Аркаша.

Тут он приготовился было до конца перетряхнуть скудные познания свои, оставшиеся от двухнедельного курса на тему о социализации земель, прослушанного им в губернии, но, видимо, угадав его намерения, перебил Семен Иванович:

— Скажите, товарищ, вы сами откуда?

— Я из Москвы, в губернии лишь окончательное получил назначение к вам.

— Вы недавно из Москвы? Ну, что ж там нового? Видели вождей? —

— Как же, не раз: товарища Ленина, Свердлова... В Москве хорошо. Голодно, конечно, но—под'ем, красота. Ни за что бы не уехал оттуда, если бы не нужда провинции в работниках. Да и не отпускали меня...

— Я тоже всех перевидал, — сказал Семен Иванович, улыбнувшись теперь Аркаше, как посвященному в общий с ним круг явлений. И пока он вспоминал, как и что сказал Ленин обступившей его на с'езде советов кучке уездных делегатов, можно было поверить, что тут только в воспоминаниях оттаял Семен Иванович окончательно, можно было понять, что тяжело ему быть председателем белоспасского исполкома, когда настоящее его место в Москве, в партийном авангарде. Но...

Аркаша заерзал на кресле. Он все же помнил, что у под'езда его дожидается тарантас с чемоданом. Двое суток езды по тряским дорогам давали себя чувствовать, — Аркашу поламывало. Улучив минуту, он спросил:

— Как у вас с квартирами? Я еще нигде не остановился.



— За этим дело не станет, устроим вас у Чвнникова, в национализированных номерах.

— А насчет карточки?

— Какие там карточки... Пока еще помаленьку обходимся без них. Получите ордерок на обеды в красногвардейской столовой по партийному билету.

— Очень великолепно, — отвечал Аркаша, вспомнив с легкой тоской и смущением об этой еще никак не улаженной стороне своего советского бытия. Однако, немедленный разговор о партийном билете он счел несвоевременным. Но час был обеденный, Аркаша чувствовал себя особенно голодно. Сказав что-то неопределенное, он встал и распрощался до завтра, решив на первый раз зайти в трактир, замеченный им при проезде через базарную площадь.

Семен Иванович любезно жал руку. Брызгливые складки его лица, насколько было возможно, опять смягчились.

Будилин, мимоходом заглянув с Аркашей во все комнаты земельного комиссариата, проводил его до выхода.

### III

Завезя вещи и сбросив их в отведенный номер, Аркаша не задерживаясь отправился на розыски трактира и благополучно нашел его на базаре, в замеченном месте.

На стойке — нужно было удивляться! — лежали груды яиц, колбасы и ржаной высокий, пропеченный хлеб!

— Всем отпускаете? — спросил Аркаша осторожно.

Хозяин, длинноногая тощая птица, посмотрел с левого глаза, затем с правого — боком, так, как смотрят грачи, и ответил серьезно:

— Всем-с. Что прикажете?

— Что есть.

— Из обеда позволите? Будут щи свежие...

Помещение большого трактира было пусто, за стойкой в буфетах были аккуратно расставлены ряды фаянсовых чайников, стопки блюдечек и чашек, шмыгала красноногая девка; Аркаша с голоду и от радости, что есть перец, густо наперечил, распробовал и решил, что щи недурны. Хозяин не обращал внимания ни на девку, ни на него, хмурился, сосредоточенно пощелкивая костяшками счетов, мимоходом осведомился:

— Приезжие будете?

И на Аркашино подтверждение заметил:

— Плохой городишко, дикий, грязища...

— А вы тоже не здешний? — спросил Аркаша.

Хозяин надел очки в стальной оправе, оседлавшие кончик его длинного носа, и ответил с весом:

— Из города Петрограда. У Доминика работал — изволили слышать? Потом сам держал дело. А теперь, вот...

Он оглянулся на помещение с презрительной бритой улыбкой. Аркаше стало теплее.

— Бывал у Доминика, бывал,—отвечал он, решив спросить на второе яичницу с ветчиной.

Хозяин со сдержанной словоохотливостью теперь не прерывал разговора. Из него получил Аркаша первые представления о новых для него местах.

— Народ тут разный — смешанный. Вот сегодня пусто, а зайдите в базарный день, завтра: русские, татары, мордва... Чудные! Тогда сами увидите. Издалека ездят — верст за пятьдесят. А зачем, спросите? Ничего и нет здесь, oprичь пыли... Ну, на базар, конечно. Везут на продажу. А кому покупать? Здесь и жителей всего тысяч семь, село, словом, большое, живут на всем своем, с коровами, курами — деревенщина...

— Дело-то ваше как идет?—звучно хлебнув горячие щи, спросил Аркаша.—Давно открыли?

— Да не ахти как. Можно сказать, средне идут дела. Теперь-то получше, а когда открывал, с полгода прямо плакал.

Трактирщик напоминал какого-то испанца, что ли, когда он, обмахнув полотенцем стойку, улыбнулся уже западающими над острым подбородком губами, улыбнулся хитрым глазом и сказал:

— Сами посудите, какой здесь покупатель? Тут и ребятишек от свиней не отличишь, когда они по улицам валяются. Сказывали мне старожилы: не так давно стали ребят в портки одевать. А то раньше в одних рубашонках до тех пор, пока сам, извините за выражение, такой лоботряс порток не запросит. А запросил, стыдно стало, — точас женили. Умора, ей-богу...

Он пожевал губами и сурово посмотрел на подошедшую красноносную девушку.

— Ты что подлом-то метешь? Ступай. Картошку всю почисти-ла? То-то...

И продолжал, отводя душу:

— А то вот тоже еще... Может, случится вам тут посетить озеро одно, около Мокши, Савино озеро. Как оно свое прозвище получило... Сказывали: собралась на базар мордва — мокшане, там, рзя. Видят, на соборном кресте сова задневала. Испугались, заорали: «Окстилась, окстилась!» — это, значит, окрестилась, святая, значит, стала. Позвали пожарного с лестницей, достали сову, попа позвали... Да-с, устроили крестный ход... Не поверите, право!

— Чем же дело кончилось?

— Да чем — разогнали их. Урядник человек был, конечно, просвещенный, приказал эту самую сову убить и сжечь. Так и сделали. А стражник-то, который сжег, выбросил кости, перья, пепел, словом, в озерко, — жил неподалече. Вот и пошло с тех пор зваться Савино озеро.

Трактирщик залился тонким, длинным смехом, сотрясавшим его

костлявое, худое тело. Но затем, выпрямившись и приняв на лицо самую официальную маску,—от Доминика,—спросил:

— Прикажете второе? Извините, придется на заказ, тонких блюд, сами понимаете, не держим...

Аркаша ел теперь уже не спеша, движения его были все медленнее, он сделал зубочистку из спички и, обедая, ковыряя в зубах, слушал трактирщика с любопытством. Когда же кончил обед и вышел на улицу, то почувствовал себя совсем удовлетворенным.

— Скудно, но жить можно, — думал он, идя куда глаза глядят.

Новые виды, окраска деревянных домов, резьба их, заборы — все западало так, как это бывает только внове. Потом всегда краски тускнеют, улицы становятся как-то короче, запоминаются рубежи, и вся-то привычная дорога, потеряв свою яркость, делится на поприща. Думаешь: вот дойду до лабаза под некрашеной железной крышей, потом будет поворот, потом через мосток, а там и то, что мне нужно. А что ж от лабаза до поворота? А что от поворота до мостка? Сознание молчит и не хочет замечать понадоевшие виды. И нужно вглядеться наново, нужно, чтоб чем-то поразил солнечный свет или пронесшийся дождь для того, чтобы увидеть в надоевших картинах залежи незнакомых цветов, застои воздуха, голубоватое стекло прозрачных расстояний.

Но Аркаша шел и в первый раз окидывал взглядом белоспасские виды. Оттого и замечал все предельно зорко: ряды деревянных лавочек на базаре, осеняемых большим двухэтажным кирпичным зданием трактира, носившим вывеску: «Клуб имени Карла Либкнехта»; трехкоконные деревянные домики дальше, жившие в мирном содружестве по улице, именуемой Митрофановской; весеннюю, еще нежную зелень деревьев за заборами; деревянные коньки, кружева кокошников, расписные ворота — гордость усадьбы, лучше, красивей самого дома. А в конце улицы или там, где были разрывы в заборах, взгляд сразу проваливался в далекий простор поля, замкнутый прилеглими синими тучами леса.

— Да, улицы-то так себе, только название, что улицы.

Аркаша свернул наугад и сразу же попал на огороды. Это было совсем скудно, он вернулся и через базар направился к себе в номера. По дороге встречались прохожие, заштатные, неторопливые, любопытные. На Аркашу, на все его незнакомое обличие заглядывались они неприкрыто, пройдя, останавливались и долго глядели вслед. Завидев впереди двух девушек в ситцевых платьицах, приосанился Аркаша. Они весело, громко разговаривали и, видимо, шалили походя.

— Нюрка, ты меня компрометируешь, — долетело до слуха Аркаши. Одна из них, темная, приняла сдержанный, вздернутый, строгий вид.

— Ну, Шурочка, признавайся, признавайся, — пищала другая, «ветлая», совсем расшалившаяся. Но, поровнявшись с Аркашей, при-

тихла и она, хотя глаза искрились, лицо было красно сильным румянцем, какой отличает очень белокожих девушек, а смех готов был вот-вот прыснуть.

Смех прыснул позади, как только Аркаша прошел. Он остановился и, вслушиваясь в удаляющийся говор, проследил за Шурой и Нюрой до их исчезновения за поворотом.

Скоро Аркаша узнал, что имена эти могли бы быть сборными, означавшими вообще всех барышень Белоспасска, делимого в своей женской половине почти нацело на Шур и Нюру.

#### IV

Только по возвращении пришла охота Аркаше осмотреться в своем новоселье. Подходя к номерам Чунникова, заметил он, что на план выходят окна комнат, занимаемых комиссарами. Парадный вход вел с улицы в дом через узенький коридорчик, отделенный от двора забором. Что-то помешало ему сделаться настоящей галлеей, — так и остался он некрытым, но все остальное, приличествующее особняку захолустного города, было налицо: сени, кладовочка слева, кладовочка справа, чуланчик прямо. И в самом неудобном месте — самые неудобные двери — внутрь, в комнаты. Сени, как и весь дом снаружи, — бревенчатый, смолистый, — были неоштукатурены. Тут только понял Аркаша, что выходит, когда этот мачтовый лес, которым любовался он дорогой, свалить и наложить рядами друг на друга, врубивши окна и двери, какая же это замечательная, добротная постройка и какой у нее жилой, добродушный, сказочно-спокойный вид. Бревна были до трех четвертей в толщину, уже давно обветрели, но, некрашенные, они приобрели от смолы янтарный прицвет, и кое-где выбивающаяся пакля конопатки свисала по бревнам длинными, дремучими усами, напомнившими Аркаше почему-то суровых северных витязей.

Еще в трактире сказали Аркаше, что дом, в котором он поселился, — старый, грешный дом. В редкие заезды на медвежьи охоты по лесным своим имениям останавливались здесь раньше проездом губернские дворяне. Купцы, наезжавшие два раза в год на ярмарки, лебоширили здесь неделями. Но наиболее постоянными жильцами были угрюмые и убогие чиновники. Бывая здесь по всяким своим акцизным и податным делам, пили они от скуки горькую, щипали всему городу известных гулящих девиц, дулись в карты и вспоминали молодость, проведенную либо в полку, либо еще где-то в обстановке и обществе, казавшемся им в их падении блестящим, остроумным, потеряннным раем. Отсюда все знаки на давно несменявшихся обоях: подписи, проверки счетов всякими почерками, пятна от раздавленных или подожженных клопов, засохшие брызги кваса и пива. Но все же, как ни старалась, не могла приезжая публика вытравить

из номеров Чунникова их основной, ни с чем несравнимый характер заштатной патриархальности и деревенской дешевизны.

Аркаша хотел заглянуть, как живут соседи, и заблудился в массе проходных комнатёшек. Номера ничем не оправдывали своего названия, — едва ли можно было перенумеровать беспорядочные эти клетушки.

Аркаша плюнул и вышел через двор, занятый слева сараями, а справа поленницей березового швырка, в сад. Зеленый, выцветший палисадник отделял его от двора, Аркаша миновал калитку, — сорванная с петель она лежала, и уже окрепшая трава поднималась, пронизывала ее решетку, а недели через две совсем утопит в своей среде. Он углубился в запущенную аллею из высоких осин, деревья слегка шумели вершинами, тропинка терялась, Аркаша добрал до того места, где с одной стороны открывался пустырь, занятый теперь грядками огорода, а с другой — вишняк.

На ветвях невысоких вишен и вкрапленных яблонь завязи уже спеленали свои плоды, и те росли маленькими, веселыми, зелеными шариками в воротничках околоцветников. На глянцевитых стволах вишен кое-где блестели, как янтарь, как расплавленный и подожженный сахар, шишки вишневого клея, — Аркаша выбрал побольше и, сорвав ее, раскусил по детской привычке. Теплый от солнца клей вязнул в зубах студенистой массой, напомнившей вкус наливки.

— Эх, революция, до чего ж ты дойдешь, — думал Аркаша, — если я вот, в этой дыре... Что же это будет?.. По шеям бы всех.

Он сорвал еще шишку. Что-то мелькнуло: это огненно-рыжий кот пробирался по забору медленно и неслышно. Здесь, в этой глуши, посреди четырех смежных садов он чувствовал себя, должно быть, зорким хозяином. Аркаша бросил в него обломок кирпича, но не попал, кирпич звонко ударился об забор, и кот в два прыжка исчез из вида.

— И надолго ли эта история, — продолжал размышлять Аркаша. — Поднажмет Колчак — не выберешься отсюда... «Вы, молодой человек, сочувствующий? А не хотите ли на этой же веревке по-со-чувствовать?.. Ах, вам в Москву? А не хотите ли подальше?..»

Он присел на гнилой пенек около забора и, найдя среди сорной травы желтый глазок чистотела, сорвал его. Брызнул сок, похожий на растертый яичный желток. Аркаша засучил левый рукав и помазал соком две бородавки выше кисти. Сок, засыхая, темнел, тихо стояли кругом сады, в заботах о русской революции Аркаша глупо задумался.

Вдруг — это бывает в жаркий день поздней весны — зашумели сильно деревья, неизвестно откуда пронесся знойный вихрь, почти смерч. Шум надвигался, нарастал, вязи наклонялись, взволнованно качались ветви, как бы предупреждая: «Не ходите сюда, не ходите!..» Затрещали сучья, закричали птицы, заухал филин, а, может быть, сова, — Аркаша не знал толком разницы, ему представилось, что это

и в самом деле сова, потревоженная ветром где-то в своем гнезде, быть может, вон в том дупле, высоко чернеющем в осине, быть может, сестра той самой совы, участницы мордовского крестного хода... Взлетели листья, оставшиеся с прошлой осени, и все-то расшумевшиеся кругом садищи стали страшны. Аркаша передернулся, легкий морозец пробежал по его спине, вскочив, он протрусил, полусогнутый, до аллейки. А шум уже уходил, уже небесная метла мела где-то далеко, и, когда Аркаша подошел к калитке, все было уже тихо.

Но в сад больше не тянуло, он вернулся в свою комнату. Нестерпимая скука охватила его, предчувствие затяжных ничемных дней, неприкаянности, одиночества. Найдя на окне сборник епархиальных ведомостей за весь девятисотый год, он лег на кровать, читал часа два под ряд, а затем заснул, забыв спросить самовар, и проснулся уже в темноте лишь для того, чтобы перестлать постель и раздеться на ночь.

## V

На следующий день Аркаша уверенно вошел в красногвардейскую столовую, еще загодя, без формальностей, по телефону обеспечив себя обедами.

В столовой царил немногосложный порядок: два длинных некрашеных стола, такие же некрашенные скамьи, бревенчатые нештукатуренные стены и огромная русская печь с чугунами на загнетке — все это вполне, повидимому, обслуживало нужды красногвардейцев. Обедающих было немного. Два пленных австрийца — Франц и Ян — раздавали порции: длинными ковшами они наливали в деревянные чашки кислые щи и широкими лопатками накладывали пшеничную кашу, политую обильно постным маслом. Деревянные ложки были той же работы, что и чашки, — нехитрой, но нарядной. Зеленовато-золотистый лак покрывал черные и красные разводы наивных дремучих цветов. Там, где лак облупился, виднелось жирное дерево — этот универсальный материал чудного города Белоспасска. Чашки выточил немудрый токарный станок, ложки же, как уже знал Аркаша, делаются вовсе топором.

Аркаша, как и многие в те времена москвичи, испытывал психологический голод, поэтому есть старался не только за сегодняшний, но и за завтрашний день. Однако, порции не доел, — была она положена щедрой рукой. Облизывая ложку, заскучал он в ожидании каши, но тут вошел и раздавил своей величиной все немалые размеры комнаты Хворов.

Еще утром видел Аркаша из своего окна, как умывался он во дворе, набирая в рот воды из облупленной эмалированной чашки, тонкой струйкой поливая руки и наполняя пригоршни. Тогда же заметил Аркаша, как широк Хворов серым лицом и мечтателен голубым глазом. Стриженные его волосы торчали в разные стороны, не подчиняясь гребню, под ним крутел плотный, таивший в себе что-то от

прилежного школьника и в то же время от любознательного медведя крепкий череп. Пиджак, надетый им после умывания, был так просторен, что сглаживал углы его тела, — оно казалось большим и жирным. На самом деле под пиджаком, под тонким слоем жира бугры мышц сильно искажали соотношение частей. Такие мышцы растут не от спорта, не на мясе и яйцах — борецкой диете, — а на сливной каше, кулеше и картошке, в многолетней однообразной физической работе, нарушающей гармонию линий человеческого тела. Особенно развиты были лопатки, наросты мышц на них делали Хворова даже сутулым. Когда-то начал он работу свою на Сормовском заводе молотобойцем, потом работал в земстве десятником дорожных работ, перед тем как стать белоспасским комиссаром путей сообщения.

— Пока работал руками — ничего, — объяснял он, — а вот теперь уж лет пять что-то стал бабеть... И одышка появляется.

Хворов сел за стол напротив, и Аркаша, кончив свой обед, разговорился с ним, наблюдая его обстоятельные, массивные приемы за едой. Стало понятно, почему все его зовут по имени-отчеству, Иваном Ивановичем, а не товарищем Хворовым, — большой человек внушает всем своим существом чувство физического уважения, ласковое тяготение к себе. Не раз, поглядывая на редкие, давно небритые волоски на его звериной челюсти, подумал Аркаша:

— Здоров, здоров дядя...

Хворов кончил так же, как и ел, деловито, бросив ложку и корки хлеба к себе в чашку, она застучала стуком деревянных колотушек ночных сторожей, что оглашает в темноте тихие захолустные улицы.

— Пойти на базар, — сказал он, — купить пуговиц к портам.

От нечего делать увязался за ним и Аркаша. Дорогой рассказывал Хворов о деревне своей, далекой Раменьи, — ехать туда на лошадах дня два с лишним. Избы стоят на поляне среди леса, и прошлую весну убил Хворов пулей глухарку из окна своей избы. Семья Хворова, многочисленная и все увеличивающаяся, оставалась там на наделе. Очевидно, Аркаша произвел на него впечатление человека опытного, — пожаловавшись на законы природы, награждающие всякую нежность к жене в редкие заезды прибавлением к семейству, спросил он, нет ли верных средств. Аркаша рассказал, что знал.

— Да, укус, — заметил Хворов, — я слышал...

И в сердцах прибавил:

— Не помогает это!

Но уже подходили к базару, уже кругом стоял шум, и Аркаша остановился пораженный около первой же телеги.

По дороге в Белоспасск, проезжая краем сел, видел Аркаша издали фигуры мордовских баб, столь непохожие на баб русских. Теперь в первый раз вблизи разглядывал он с удивлением наряд двух эрзянок, стоявших у телеги: вышитые шушпаны, с торчавшими

из-под них сорочками, пулагаи на заду, украшенные бисером и бахромой, и на голове, как перевернутое красное ведро, рогатый кошник в бусах. Эрзянки, повидимому мать и дочь, под выulptенными глазами Аркаши чувствовали себя, как перед объективом киноаппарата, — смотрели на него неподвижно, потом пролопотали что-то и опять застыли. Аркаша двинулся дальше вслед за Хворовым, и перед его глазами замелькали широконосые, косоглазые лица эрзи и мокшан, бабы—все старообразные, одни, как яблоко моченое, высушенное на воздухе, другие, как яблоко печеное. Ноги мордочек, торчавшие из-под длинных до колен сорочек, были обернуты толстым слоем домотканых онучей и наперекрест затянуты домосученными бичевками. Обернутые так ноги не имели ни сужений, ни утолщений, как неколотый березовый швырок, и Аркаша решил, что в этом — мордовское понимание изящного.

«Ну и сторонка», — подумал он.

Среди мордвы виднелись рыжебородые татарские лица, голубоглазые славянские, все степенно двигались, телеги стояли тесными рядами, у каждой шла торговля привезенным товаром: птицей, яйцами, сушеными грибами на низках, моченой клюквой, молоком в четвертях и махотках, мукой, пшеном. Иные возы были нагружены колесами, свежими до белезны, лопатами, дугами, крепкий запах дегтя разносился кругом, горами лежал древесный уголь, и приезжий кузнец-мокшанин позванивал скобяным товаром, иссиня черным.

Аркаша вместе с Хворовым проталкивался через толпу, то охватываемый душным запахом кож и овчин, то останавливаемый громкими выкриками барышника-татарина, продававшего пегого жеребца, только-что недалеко подкованного у коновязи открытой кузницы. И Аркаше уже не казался Белоспасск необдуманной людской берлогой, выросшей среди лесов по прихоти московского воеводы из древней стрелецкой крепости на рубеже дикого поля. Ему становилось понятно и то, что приютился городок этот — весь деревянный, заштатный — на берегу неширокой, но сплавной Мокши, — было чего сплавлять, — и то, что разместились вокруг в лесах монастыри, основанные хозяйственными и дальновидными угодниками.

— Хочу с монастырей начать, — сказал Аркаша. — Им очень просто перейти на артельное хозяйство.

— Очень просто, — подтвердил Хворов с храпом — он часто похрапывал.

И совсем другим тоном добавил, перейдя вдруг на ты:

— Смотри-ка, на тебя девчонка глаза тарашит. Ты как, Аркаша, насчет этого?

Аркаша оглянулся и заметил полушелковое создание, лет восемнадцати, с двумя русыми косами, переброшенными через плечо на грудь, и голубым хитрым глазком. Создание быстро отвернулось, но то и дело возвращало, как бы невзначай, любопытствующий глазок.

— Дочь кожевника здешнего, Шура Митрофанова, — тихо по-



яснил. Хворов. — Хорошо жили до революции. Первая красавица в Белоспаске считается.

— Познакомь, — сказал Аркаша.

— Я не знаком, не связываюсь. Наше дело стариковское. А ты вечером поди к крепости, всех девиц там найдешь.

Аркаша запомнил это и теперь уже без особого интереса кончал свою прогулку с Хворовым по базару, покупал с ним дрянные пуговицы — московский товар — и грыз подсолнухи, осваиваясь с местным обычаем. Его тянуло домой к самовару.

## VI

Но, подойдя к дому, словно что-то вспомнив, Хворов предложил: — Пойдем к Мишке Палаткину чай пить.

— Кто такой?

— Комиссар по борьбе с контрой, золотой парень. Если в чем будет у тебя нужда — вали прямо к нему, сроду не откажет.

Палаткин жил в тех же номерах, в угловой комнате. Большая и светлая, она сохранила красный угол, заставленный целым иконостасом образов. Под ними на столике красного дерева были сложены груды винтовочных патронов в неразбитых пачках и обоймах, револьверные патроны, ручные гранаты разных систем, и на полу стоял ящик пулеметных лент. В другом углу — с полдюжины винчестеров и винтовок. В третьем — широкая кровать, покрытая красным шелковым одеялом, а над ней висели на стене, одетой пестрым текинским ковром, шашка, укороченная кавалерийская винтовка, маузер в деревянной кобуре и телефонные аппараты. Маленький браунинг лежал на тумбе, стоявшей у изголовья. Не занят оружием был один лишь овальный стол с кипевшим самоваром и стаканами, накрытый бархатной скатертью, окруженный бархатными, мягкими креслами. В общем, вся комната производила впечатление постоянной готовности к бою, к осаде.

В ту минуту, когда Аркаша входил, хозяин комнаты, Михаил Ассинкритович Палаткин, лежал на кровати. Он был одет в зеленый френч, с большими белыми перламутровыми пуговицами, и затянут поясом с перемычками через оба плеча. На ногах — обмотки и ботинки со шпорами. Одна нога лежала на одеяле, проткнув шпорой алый шелк, другая свисала, согнутая в колене.

Встречая гостей, Палаткин встал, скромно и молчаливо поздоровался с Аркашей.

Он был молод, не старше двадцати двух лет. Полумордовская кровь его мало сказывалась в чертах лица, — оно было правильным, с очень выпуклыми карими глазами под светлой бровью, с несколько грубым ртом. В нем читалось выражение упрямства, подтверждавшее историю, известную всему Белоспасску. Рассказывали ее так:

...Михаилу Ассинкритовичу было девятнадцать, когда отец, за-

думал его поженить. Конечно, парню жениться — не в кабак сходить, что будет сын упорствовать, к тому готов был Ассинкрит Степанович. Кто же с охотой холостое житье отдаст, да в эти-то годы, да когда всех парней позабрали? Семейю держал Ассинкрит Степанович в крепкой руке, по-мордовски, хоть и взял жену русскую, русскую речь и даже грамоту в семье поддерживал, но преступить отцовскую власть сыну не дозволил бы нипочем.

Палаткины слыли на селе не последними людишками, — трудно ли выбрать невесту? Выбрали самую красивую, самую богатую. Шестнадцать с половиной было Даше, глаз — как крыжовник под лаковой бровью, щеки — как яблоки боровинка. Шла охотно — Михаил Ассинкритович был гармонист и мордастый, прическу на заводе плавильном выучился делать аккуратную, городскую, ходил — одевался чисто.

Сватовство началось — пришел он к отцу:

— Папаня, прошу тебя, ради бога, вашего сына уважить. Дозволь мне в холостых пожить.

Сперва упорствовал Ассинкрит Степанович из расчетов хозяйственных, к концу же пошло дело из амбиции отцовской.

Незадолго до свадьбы упал Михаил Ассинкритович отцу в ноги:

— Женить меня, жените, папаня, но того не можете заставить, чтоб я с ней жил. Сына свою пожалейте, как он зачахнет...

На это ответил отец тем, что свадьбу ускорил:

— Того на свете не может быть, чтобы мужик около бабы бревном лежал да через нее б не переполоз...

Поимел сочувствия дядя Дорон. Был он вертляв, ходил в лаптях. С ним вошел Михаил Ассинкритович в заговор: после венчания, задержав в сенях, сунул ему дядя Дорон полный ковш спирта, от которого лег новобрачный с молодою спать мертвецки пьяный. То же было и на второй день, то же и на третий. Три ночи провела красавица Даша, лежа около мужа без ласки. А на четвертый Михаил Ассинкритович был таков — ушел в город, на войну добровольцем в мотористы.

Вскоре сшибли царя, а вскоре и Керейского, Михаил Ассинкритович был в красной гвардии, выдвинулся и отпросился работать в свои места, — тут был выбран в исполком и назначен в комиссары по борьбе с контрреволюцией. Сюда, в номера Чунникова, стала к нему навещаться и жена, Даша. За это время жизни у Палаткиных в строгом ихнем укладе, не тронутая мужем, похорошела она еще больше, щеки то бледнели, то горели, когда она приходила к нему. Михаил же Ассинкритович не прощал: коротко и сухо поговоривши, к ночи приказывал ей уйти из номера. Не раз она ночевала под дверью его в коридоре, на соблазн красногвардейцам палаткинского отряда. Однако, трогать ее даже под пьяную руку опасались: Палаткина мыслей никто не знал. Тут же вскоре стал ходить слух, что ударяет он сильно за одной гимназисткой Соней...

Палаткин был гостеприимен и молчалив. Угощая чаем Аркашу и Хворова, выложил он все, что у него было, предоставив им самим расправляться с большим куском сотового меда, засахарившегося за зиму, в разломах которого еще сохранились казенные пчелами-работницами трутни, с ворохом баранок, обсыпанных маком, и целой четвертью топленых сливок, стоявшей на столе.

Среди чая разговор сучился, но не вязался. Хворов от жары потел и пил с блюдечка, Аркаша приглядывался, Палаткин занимал гостей вещами: вытащил большой охотничий рог, предложив Хворову попробовать протрубить. Хворов натужил бычью свою шею, вытаращил глаза, шипел, сипел, но звук не получился. Тогда Палаткин принес черный кожаный футляр и раскрыл. В нем лежала двустволка, отделанная по ложу перламутром, с парой запасных медвежатных стволов.

Хворов вскипел восторгом, вскочил, собрал, вскидывал на руку, целился, разглядывал на свет внутренность стволов, заражая Аркашу своим оживлением.

— Ах, хороша!.. Хороша штука! Стволы почти не стреляные. Смотри, смотри...

Он тыкал под нос Аркаше тяжелые стволы, направленные к окну. Плохой был охотник и знаток оружия Аркаша, но по тому, как сияли и переливались светлыми кольцами жерла стволов, он понял, что двустволка в сохранности. Хворов же храпел от удовольствия.

— Да!.. С такой и на рябчика, — он вскинул и щелкнул курком, — и на мишеньку... — он опять вскинул. — Не меньше тысячи по прейскуранту.

Палаткин, сидя за столом, посматривал спокойно и равнодушно, а при последних словах обмолвился:

— Возьми, если нравится.

— Что?

— Возьми, говорю, себе.

— Нет, нет, — затряс головой Хворов и тут же отложил в сторону двустволку.

Он сел опять за стол к своему блюдцу и сразу стал серьезен. Подумав с минуту, опять храпнул:

— Нет, нет.

Досада взяла Аркашу. Чудесное ружье казалось ему брошенным на дороге и затоптанным невнимательными прохожими. Он взял его и снова рассмотрел от приклада до мушки, — замечательное ружьецо... Затем со вздохом отложил в сторону и дал новую тему разговору, сказавши:

— Что это за клуб у вас на базаре?

— При комиссиариате народного образования, — объяснил Палаткин. — Семен Иванович организовал...

— Что ж там много народа бывает?

— Да, бывает... Кому красногвардейская кухня надоест — обедают там.

Палаткин отвечал полусонно, и Аркаша решил, что в послеобеденный этот час для первого знакомства довольно побыл он гостем. Сказавшись усталым еще с дороги, встал он из-за стола и отправился во-свояси соснуть за комплектом «Епархиальных Ведомостей».

## VII

Хворов остался.

Утро в тот день, выручая недавние ненастья, поддало высокую свечу. Солнечный мяч долго взмывал кверху, было жарко. Аркашин сон затянулся. Когда же солнце стало падать и вечер бежал со всех ног, чтобы поймать его черными лапами, Аркаша, выбритый, посвежевший, благодушный, уже взбирался на крепостную гору.

Белоспаским старичкам эта гора была не под силу, за стариковскими гуляньями обычай закрепил аллею у подножья ее. Молодежь же, пользуясь неприступностью горы, проводила вечера наверху. Но Аркаша, незнакомый с привычками белоспасского общества, пришел слишком рано. Он обошел все дорожки вокруг часоушки, заглянул во все кусты сирени, проверил все скамейки, — они были пусты. Тогда, выйдя на открытое место, где виднелись полузасыпанные остатки старой крепости, защищавшей некогда город от татарских набегов, решил Аркаша полюбоваться окрестными видами. А виды были хороши.

Там, где кончался город общественной баней, возбуждавшей любопытство Аркаши тем, что, по общим утверждениям, в ней до недавних пор женское отделение было отгорожено от мужского лишь недоходящей до полу перегородкой, белела и синела, уходя в луга, веселая Мокша. По ней, перевоза с берега на берег пастухов, тихо плыла лодка. Большое стадо коров возвращалось на ночь, — полстада еще стояло на том берегу, чтоб помычать напоследок, перед тем как лезть в воду. Дальше луга прерывались перелесками и мало-помалу переходили в сплошное кольцо синих лесов. Спокойно, торжественно стояли леса — хозяева этих мест, — справляя вечернюю свою службу: к ночи посинеть еще больше, снять с себя кисю туманов, постлать ею луга...

Услышав тяжелый сап и фырканы, Аркаша удивился: неужели доносятся так ясно вздохи коровьего стада, переплывшего реку? Вдруг близко и резко раздался снизу чей-то сварливый тенорок:

— Тамара, если будешь шалить, я тебе уши надеру...

Фырканы усилилось, посыпались камешки, и Аркаша увидел под ногами у себя вынырнувшую голову в шлеме из люфы. Голова покачивалась, человек энергично боролся с трудностями под'ема, но, наконец, достиг края обрыва, на котором стоял Аркаша, и остановился, тяжело отдуваясь, вытирая платком вспотевшую лысину. Две девочки лет семи и восьми вбежали вслед за ним.

Аркашу не мог не поразить облик пришедшего: кроме люффового шлема, короткую его и толстую фигуру украшал долгополый чесучевый пиджак, а жирные ножки, обтянутые клетчатыми панталонами, были обуты в желтые, ярко вычищенные ботинки. На ремнях через плечо были подвешены бинокль и дорожный портсигар. Рука опиралась на солидный зонтик. Пришедший напоминал бы журнальные карикатуры на английских туристов, не будь он так толст, не будь в его сонном лице столько добродушия — от темных глаз, затененных длинными ресницами, — не светись в нем так много брюзгливой и детской тоски.

— Тамара, сбегай с Лелечкой к часовне и не возвращайтесь сюда минуток десять... И не смотрите сюда.

И, проводив девочек глазами, толстяк зашел ненадолго за камень. Вспомнив давешнего ямщика, Аркаша насилу удержался от шалой мысли подсвистать ему. Но тот уже вернулся, поднял к глазам бинокль и принялся рассматривать горизонт.

Аркаша хотел было уйти, когда толстяк вдруг, прищурившись, оглянулся и сказал:

— Молодой человек, у вас глаза лучше моих... Не посмотрите ли вы?

Аркаша взял бинокль, недоумевая.

— Видите просеку?

Да, Аркаша видел.

— А левее поляна, а за ней, еще левее должна быть дорога... Посмотрите, пожалуйста, туда.

— Ну, смотрю...

— Видите горизонт?

— Вижу.

— Ничего не замечаете?

— Ничего.

— Ну, слава богу, слава богу, — сказал толстяк и обмахнул лацканы чесучи. Аркаше показалось, что он перекрестился.

— А что я должен был заметить? — спросил Аркаша.

Толстяк опять прищурил глаза, рассматривая его.

— Да нет, собственно, ничего особенного... Вы ведь приезжий? Аркаша кивнул головой.

— Ваши родители тоже здесь? Вы не из губернии?

— Из Москвы. У папаши ресторан на Неглинном недавно закрыли, я здесь один, — почему-то вдруг соткровенничал Аркаша.

— Ага, ага...

Глаза толстяка засветились теплым лучом сочувствия.

— Да, знаете ли, странные дела делаются... Разрешите узнать вашу фамилию? Пальчиков? Ну, как же не знать, едал у вас в ресторане... Я Федоров, помещик.

Он протянул Аркаше короткие пухлые пальцы и, скорее ко-

ротко ущипнув, чем пожав руку, засунул свою за борт пиджака, продолжая:

— Вот, видите ли, хожу каждый день и наблюдаю, не зажгли ли родное гнездо, нет ли дыма... Ведь вы не видели дыма?

— Нет, не заметил. И далеко ваше имение? Вы добровольно уехали?

— Добровольно... Что ж, пусть мужички похозяйничают без нас. Они думают это легко дается... Увидим, увидим. Мое имение в восемнадцати верстах. Ферма, знаете, молочная, лесопилочка, заводик конский, пашни семьсот десятин, луга... Пришлось все бросить, приехали вот сюда в чем видите... А вы сюда надолго? Как в Москве?

— Да как поживется. В Москве подло... Жрать нечего.

— Ага, я так и думал... Но как вы полагаете, ведь они не сожгут?.. Мне, знаете ли все равно, раз отбирают, но ведь это же глупо, некультурно?

— Зечем же им жечь...

— Ну вот, я тоже думаю — зачем? Вот разрешите вам представить моих дочурок — Тамара и Елена... Тамара, поправь чулочек... Я тоже думаю, что не сожгут. Скажите, вы здесь по делам или так просто?

— Я, собственно говоря, служу.

— Ах, вот так. Как это приятно... Или вернее неприятно, не так ли? Вы разрешите узнать в каком... комиссариате? Так, кажется, называется?

— В земельном. Я инструктор по социализации.

— Ну, вот видите, мне сразу показалось... что вы имеете какое-нибудь отношение... Дети, не уходите, мы сейчас возвращаемся, мама ждет.

Он слегка пожевал беззвучно губами.

— Вот случайность... Так вы, значит, в некотором роде распорядитель наших судеб... Я ведь допускаю — социализм и все прочее. Но ведь можно было бы все это организованнее. Вот, например, Федоровка. Ведь она переходит от отца к сыну, от сына к внуку уже в четырех поколениях. Как вы полагаете, сколько труда вложено нами, Федоровыми, в эту землю? Один конский завод, — он мне по крайней мере тысяч двадцать обошелся, отец мой, знаете ли, недолго любил лошадей, это я поставил на ноги конское хозяйство... Но вы же дадите нам, мсье Пальчиков, по крайней мере вывести живой инвентарь?

— Пожалуйста, — согласился Аркаша, — выводите. Я ведь больше по землеустройству...

— Но где же я его буду держать? И притом скот, знаете ли, требует кормов.

— Это верно, — подтвердил Аркаша, потеряв переносицу. — А что бы вам махнуть со своим заводом в Москву?

— Что там делать?

— Может быть, бега опять откроются, — слабо подсказал Аркаша.

Но толстяк с коротким негодованием махнул рукой.

— Хорошо вам шутить... Пойдемте, дети. Честь имею...

Аркаша совсем не хотел шутить. Его совет был вызван сочувствием. И он крикнул вдогонку:

— Может быть, придется еще увидаться, буду рад, всего хорошего...

В голове его пронеслось какое-то летучее представление о многотысячных рысаках, жующих сено в федоровских конюшнях, он бросил еще раз взгляд в сторону Федоровки, еще раз убедился, что дыма не видно и простым глазом, а был Аркаша дальнорюк. Это дало ему ощущение легкого удовольствия, удовлетворенный он вернулся мыслями к цели своей прогулки, отошел от обрыва и побрел опять к кустам сирени.

### VIII

Одинокие сумерки хоть в кого вселят томное предчувствие. Но в средней России поздней весной сумерки владеют особенно томительными длиннотами, прозрачностью, расширяющей душу, вмещающей в нее всю величину вещей, не уплотненных дневным светом и не раздавленных ночной темнотой. Это свойство сумерек всегда досадовало Аркашу, и он искал посильной цели, способной увести за собой внимание от тоскливых длиннот пропадающего этого времени. А теперь, увлеченный и подзадоренный намеками Хворова, он считал себя обманутым и заброшенным: была суббота, и белоспасские девицы, верные укладу своей жизни, занимались постирушкой, мыли полы или стояли у всенощной. Кусты сирени вокруг часовенки были опять пусты. Аркаша задал себе сроку полчаса, а если за это время никто не придет, решил итти домой.

— Нет, конечно, никто не придет, — убеждал он себя, суеверно готовясь к худшему. — Хворов, тетеря, сболтнул...

Но кончилась ли всенощная или она не кончилась, да надоело молиться в соборе, только Хворов оказался прав. Издалека послышался звон высоких голосов, затем ближе — отдельные фразы, и Аркаша понял, что на гору взбирается целый выводок девиц. Вскоре увидел он и светлые пятна их платьев.

Прикрытый кустами сирени, полулежа на чугунной могильной плите, он сливался с окружающими его тенями и остался незамеченным. Девицы прошли мимо и уселись невдалеке на скамейку. Разговор их не прерывался, речь шла о Сергее Петровиче, как можно было понять, — преподавателе истории в женской гимназии. Из разговора Аркаша уяснил, что девицы в ту весну кончили седьмой класс. Два тонких сопрано наперебой вспоминали о разных разносках школьной жизни, а третий голос, низкий, контральтовый, наи-

более зрелый, вносил в сопрановое верещание и повизгивание какую-то устойчивую важность, спокойствие.

— Я вам могу сказать только под страшным секретом, — торопилось сопрано. — Но вы должны дать честное слово, что никому в жизни не скажете.

— Честное слово...

— Странно даже!.. Само собой разумеется.

— Так вот. Это началось у них еще с рождества прошлого года. Соня не обращала на него никакого внимания. Но ведь он всем нам нравился... И тебе тоже, Шура!

— Вот еще! — возмутилось контральто.

— Не отрицай, не отрицай...

— Совершенно напрасно ты мне его приписываешь.

— Это ты мне всех приписываешь, а вовсе не я тебе!.. Ну, ладно. Но вы, господа, согласны, что Соня—вылитая Мария Стюарт?

— Вот уж выдумают! Ничего общего... На Марию Антуанетту — я еще соглашусь. Да и то мало. У Сони Кругляковой вздернутый нос.

— Нос, правда, немного вздернут. Но брови у нее чудные!

— Брови ничего себе. А глаза разные.

— Как разные, что за глупости?

— Не глупости, а факт. У нее правый глаз повернут иначе — ты и не замечала?

— Ну, это совершенно не важно. Все-таки она прелестная!

— Не вздорьте, господа, — примирительно сказала контральто. — Рассказывай же...

— Началось с того, что Сергей Петрович ей сказал на перемене, что у нее очень маленькая ножка. С тех пор она стала о нем мечтать и начала писать дневник. А потом он ей объяснился письмом. То-есть всего он ей написал три письма...

— Нет, четыре.

— Нет, три, я же лучше знаю!

— Не можешь ты знать лучше, потому что мне говорила сама Соня.

— А ты читала письма?

— Нет, она никому их не показывает.

— Ну вот она сейчас придет, мы у нее у самой спросим...

— Так это весь твой секрет?

— Совсем нет, это только начало, да вам не стоит говорить...

В голосе слышалась ревность. Девушки помолчали.

— А как к этому относится Варвара Леонтьевна?

— Она ничего не знает.

— Могла бы догадаться, Соня с ним каталась на лодке.

— Это выдумали. А хотя бы и так, что ж тут особенного?

— Как что особенного? Ты не понимаешь, что это трагедия?

У него двое детей.



— Но Варвара Леонтьевна ему совсем не пара. Пусть она милая, но ведь он же гораздо интереснее ее. У него такой поэтический профиль!.. И фигурные губы...

— Тсс...с!... — сказала контрольтя. — Соня идет.

Вдалеке слышались легкие шаги, и реяло светлое пятно девичьей фигуры.

— Здравствуйте, девочки, — сказала подойдя Соня таким грудным голосом, что у Аркаши зашекетало под корнем языка. Послышались несерьезные девичьи поцелуи.

— Ну, что у тебя нового?

— Да ничего все по-старому.

— Соня! — взволнованно сказала сопрано. — Скажи, пожалуйста, сколько ты получила писем от Сергея Петровича?.. Я говорю три, а Нюра оспаривает.

— Три, — не сразу ответила Соня. — Что вам за охота, девочки, говорить об этом? Со всем этим кончено вот уже полтора месяца и навсегда.

— Каким образом?

— Очень просто. Я сказала ему, что его долг остаться с семьей и отбросить всякие надежды.

Девицы, пораженные, примолкли.

— Это верно, Соня? — спросило, наконец дрожащее сопрано.

— Раз я говорю, значит верно — отвечала Соня с ужасной печалью и задушевностью.

— Почему же ты нам об этом ничего не сказала? — совсем обиделось сопрано.

— Потому что нельзя было. А теперь можно. Я все уже пережила.

Девицы опять притихли.

— Сонечка, — сказал кто-то робко, — продекламирую что-нибудь... Что прошлый раз.

— Соня шумно вздохнула, подождала лишь настолько, чтоб подготовить впечатление и начала своим замшевым голосом, в которм сквозь налет боли проступала совершенно нетронутая, неподимая радость:

«Если грустно тебе, если нет у тебя

В этом мире борьбы и наживы

Никого, кто бы мог отозваться, любя...»

Как ни был Аркаша далек от поэзии, все же он не мог не понять, что существующая каким-то чудом в Белоспаске женская гимназия отстала в своих литературных интересах на несколько десятков лет. Не дослушав до конца, он тихонько встал, обошел, стараясь не шуметь, кусты и вышел на дорожку. Пройдя ее скучающим шагом и выйдя на площадку со скамейкой над обрывом, он остановился перед девицами, как будто удивленный, прервав декламацию нового стихотворения Надсона. Затем, медленно повернув-

шись спиной к девицам, он подошел к самому обрыву и стал в позе Пушкина, прощающегося со свободной стихией.

За спиной его шуршал шопот:

— Тот самый... — уловил он.

— Тсс...с!

Аркаша не знал, видна ли девицам его эффектная поза. Скорее, думал он, нет, потому что сумерки уже совсем сгустились. Выждав с минуту, он вернулся к скамейке и сказал небрежно, с зевком:

— Простите, вы не можете мне сказать — есть ли здесь театр?

Аркаша решил вести себя львом.

## IX

В ответ ему кто-то украдкой фыркнул, но остальные были подавлены Аркашиной смелостью. Наконец, ответило контральто:

— Здесь никакого театра нет.

— Вот скука-то, — вздохнул Аркаша. — Что же вы здесь все делаете... — можно сесть на это место? — по вечерам?

Девушки потеснились, а Аркаша, под предлогом необходимости осмотреть скамейку, зажег спичку и осветил девичьи лица. Они жмурились и отворачивались, но он уже узнал в контральто Шуру Митрофанову, одетую в то же полуселковое платье, в котором он встретил ее на базаре. Она ответила на его вопрос бойко, с некоторым вызовом:

— Орехи клюем.

— Какие орехи? — спрашивал Аркаша лениво.

— Ну, семечки, подсолнухи.

— Клюем!

— Ну, грызем.

Начались откровенные смешки, — смешливые были девушки. Но Аркаша опять подавил всех своей светскостью:

— Какой ужас: ни театра, ни бегов, ни кафешантана, ни клуба!..

— Клуб у нас есть, — сказал кто-то робко.

— Какой это клуб?.. Клуб!.. На базаре?

Так состоялось знакомство. Аркаше нельзя было отказать в опытности, — он верно разгадал интересы и идеалы девиц, до сих пор оценивавших мир по прописям школьной словесности. Все мужчины делились в их представлении на Онегиных, Печориных, и Ленских. Аркаша знал, что его поза скупающего столичного жителя как нельзя лучше будет принята ими. Но эта же поза создала бы много лишних препятствий, замедлила темп, затянула бы отношения. А был Аркаша современен и ценил во флирте быстроту.

Поэтому не долго он зевал и сетовал на белоспасское захоластье и скоро принял план, обеспечивший ему необходимую гибкость поведения. Прежде всего он разделил девиц в своей оценке.

Простодушных Ньюру и Нину, неосторожно высказавших со своими репликами, но тут же прятавшихся от смущения за спины подруг, он порешил обделить пока вниманием. Были они обе толстокосые, коротконосые, в неизношенных еще гимназических платьях. Впрочем, Аркаша не был горд, ничем не гнушался, ничего своего не упускал. Как мудрый сфекс, заготавливающий впрок сверчков, с помощью проколов нервных центров, Аркаша от времени до времени поражал их обеих то двусмысленным вопросом, то откровенным полупризнанием, то вольным жестом. Все свое внимание он отдал Соне и Шуру, не решив еще, кому оказать предпочтение, но согласный со взглядом Казановы, утверждавшего, что легче соблазнить двух женщин, чем одну. Обе они уже чувствовали себя настоящими барышнями, в их платьях и прическах было сознательное кокетство. Но от длинноглазой, смугловатой Сони веяло очарованием уже познанного опыта чуть опалившей ее неудачной любви, — она была серьезна и осторожна в словах. А Шура, блондинка с соболиными бровями, девичий коновод, флиртвала уверенно и смело, но жестковато, — Аркаша часто встречал в ее насмешках отпор, подзадаривавший его не меньше, чем ее слава первой красавицы и дочери кожевенного туза.

Настроив беседу на нужный ему мальчишески-безобидный лад, он уговорил девиц быть его путеводительницами в обозрении белоспасских достопримечательностей и начать тотчас же с городского сада. Обойдя еще раз гору, они спустились с нее и по пустым, равнодушным, неосвещенным улицам, то по пыли, то по кирпичным тротуарам прошли в этот темный сад, наполовину фруктовый. Осенью сторожили его арендаторы от налетов мальчишек, соблазненных антоновкой, пригибавшей к земле гибкие ветви. Но сейчас, когда дубки еще стояли почти голыми, по вечерам в особенности, редко кто в него заходил. Аллеи были пустынные, Аркаша вел под руки девиц, волнуемый трогательным прикосновением хрупких девических предплечий к его ладоням, и испытывал приятное ощущение душевной сытости.

Успех сопутствовал ему в этот вечер. Он уже замечал, как девицы смотрят ему в рот, ожидая нового его слова, он уже угадывал, какую пищу для разговоров и переживаний даст им это знакомство, он живо ощущал, как мягчали они, разрешая ему все большие вольности. Аркаша баловно капризничал, грассировал, кокетничал, товарищеским тоном заговорщика расспрашивал девиц о семейных строгостях и быстро узнал все семейные их порядки. Соня жила при матери и никого не боялась, Шура боялась только отца, хоть и была его любимицей, Ньюру и Нина боялись всех и содержались в бедной строгости.

Аркаша не знал, как ему разорваться: грудноголосая Соня говорила необыкновенно серьезно и редко, все больше ждала, до-нельзя осязательно ждала, а быстрая Шура поддразнивала, увлекала, осаживала и снова заигрывала, все время владея разговором. И когда,

выйдя из сада, они остановились на перекрестке, чтобы разойтись в разные стороны по домам, он засуетился в страшном опасении сделать глупость, что-то проворонить и свести на-нет всю удачу этого вечера. Провожать ли Шуру или Сою — вот вопрос, ввергший Аркашу в нерешительность, мучительную тем, что времени на раздумье дано не было, а последствия неудачи казались ему громадными. Спасительная мысль выручила его, — он прежде всего стал прощаться с простушками Нюрой и Ниной, рассчитывая, что с кем бы они ни пошли, он будет провожать оставшуюся, а если они поделятся, то вечер все равно пропал. И таково было его счастье в тот день, что тут же протянула ему для прощания руку и Соня, оказавшаяся их попутчицей, а Шура очутилась в одиночестве на попечении Аркаши.

Первые шаги, первый квартал она еще оставалась той же — разговорчивой и смелой, но Аркаша стал уже иным — подчеркнуто внимательным, молчаливым и медлительным. Когда же он стал осторожно и настойчиво сдерживать ее шаги, заметив вскользь: «Куда нам спешить?» — она безмолвно согласилась с тем, что спешить некуда, но тут же слегка испугалась, насторожилась, примолкла и, хоть старалась казаться заинтересованной то неприкрытой ставней, то звездой Сатурном, глаз ее поневоле косил в левую сторону, в сторону спутника, крепко прижимавшего к своей груди ее локоть или искавшего ладонь ее мягкой, безвольной руки.

— Ах!... — сказал вдруг Аркаша, — а где же мой хлыст?

Так назвал он дубовое кнутовище, срезанное в саду.

— Потеряли? — спросила Шура с неискренним, но очень горячим участием.

— Выронил... Пойдемте, поищем, а то жалко.

— Да, правда, жалко, хороший хлыстик. Если найдем, то вы должны отдать его мне.

И они пошли назад, сразу же начав очень оживелнный разговор, облегчавший Шуре задачу сгладить неловкость этой условной лжи, давшей повод продлить прогулку, а Аркаше — помочь ей в этом.

Они шли, провожаемые звонким, гулким стуком сторожевых колотушек и не обращая внимания на дорогу. Аркаша хорошо знал, где бросил за ненадобностью прут, целью его были темные аллеи сада, Шура же не хотела думать о цели. Разговаривая, она не раз закрывала глаза, и, спроси ее кто-нибудь, зачем она это делает, сказала бы, что просто ей нравится время от времени их открывать и видеть совершенно другие дома и вязы, узнавать иной квартал, в который она перенеслась как будто чудом. И ни за что она не согласилась бы с тем, что в ее сознании смысл возврата — темный пустынный сад. Поэтому, когда они подошли к калитке, Шура, освобождая свой локоть, сказала изумленно и несколько тупо:

— Уже сад!.. Как поздно. Ну, идите скорей, я туда не пойду...

— Не могу же я вас здесь одну оставить, — возразил Аркаша очень убежденно. — Чего вы боитесь?

— Я ничего не боюсь, — отвечала Шура с диковато расширенными глазами и позволила Аркаше вновь подхватить локоть.

Узкая калитка с трудом пропустила их, так как Аркаша старался войти одновременно. И совершенно естественно он, теснясь, слегка обнял Шуру за талию. Она резко отстранилась, высвободилась, но этим уже было положено начало тому, что должно было — Аркаша не сомневался в этом — привести к первому поцелую.

Он с удовольствием услышал, что Шура напевает. Это было тем любовным мурлыканьем, которое говорило сразу и о напряженной обостренности ее чувств и о тончайшем наслаждении внутренне уже решенной уступки и о просыпающемся в ней победном сознании своего женского очарования. Она шла на полшага впереди, нисколько не сомневаясь в том, что он от нее ни на пядь не отстанет, шла довольно быстро с высоко поднятой головой сквозь широкий строй дремавших в темноте лип по садовой жирной и сыроватой тропинке.

— Пойдите, Шура, дайте мне вашу руку, — сказал он, обнимая ее плечи.

— Как сыро уже и темно, — не замечала Шура ни его движения, ни того, что сама замедлила шаг и откинулась плечами назад.

— Да, темно, — согласился Аркаша, крепко сжав плечо, остановил ее и нагнулся, ища губы.

Они нашлись очень просто — жестковатые и неумелые, едва ответившие на Аркашину горячность и ту же оторвавшиеся. Шура быстро подалась вперед, снова сказав нараспев:

— Как темно-о-о!..

Аркаша приблизил голову к ее лицу, всматриваясь, и угадал в нем строгость. Руки ее были отведены назад, она крепко держала стоявшего сзади Аркашу за кисти и вся была такая, словно ей мешали что-то делать, к чему-то прислушаться. Он на минуту замер, но замерла и она, ничего не делая, ни к чему внешнему не прислушиваясь. Вырвав вдруг свои руки, он крепко охватил ее, увлекая к кустам. Но Шура сразу стала резкой, сильной, потяжелела, словно сростась с землей, упираясь в нее каблуками, и быстро выговорила:

— Дальше ни за что!.. Ни за что!

Аркаша понял, что настойчивость была бы бесполезна и поспешил воспользоваться мелкими уступками. Шура с ужасом всматривалась в глубину темных кустов, словно эта глубина гипнотизировала ее, как змий свою жертву, но тем покорнее была в поцелуях. Она обмякла телом, руки ее сопротивлялись все более нехотя и только ноги, как налитые свинцом, не могли сдвинуться с места, — каждая попытка Аркаши подвинуть ее вперед кончалась безуспешно. Но каждый раз теперь, как бы в виде утешения, она гладила его щеку рукой и отвечала на поцелуи все горячее.

— Ну, скорее, ищите свой хлыст, — сказала она, наконец. — Я должна идти домой.

Аркаша сделал еще одну слабую попытку увлечь ее за собой, опять безуспешную, и быстро ушел в кусты, с улыбкой рассуждая:

— Трудно... Боится девочка. Ну, что ж, потихонечку... Терпение и терпение.

Вернувшись, он не застал Шуры на старом месте и нагнал ее уже за калиткой. Она торопилась. Никакие его просьбы и уговоры замедлить шаг не помогали. И если бы был Аркаша немного наивнее, он мог бы подумать, что Шура полна раскаяния. Но он хорошо знал язык первых девических переживаний и читал ее озабоченность, нервные пожатия рук и зябкие вздрагивания плеч, как детскую несложную книгу. Он угадывал в Шуре томительное желание остаться наедине с собой, в необъятном мире своей узкой постели, в разговорах с этим удивительным собеседником ночных и рассветных мечтательных бессонниц, неиссякаемым угодником всяких малейших желаний, кудесником обновления ничтожнейшей мелочи, сохраненной памятью, южным теплым ветром, от которого в одну ночь разворачиваются горячие нежные цветы любовным угаром. Он представлял себе, как Шура будет повторять: «... он сказал то-то. А я ответила то-то. А он спросил. А я отвернулась...»— и не удивился и снисходительно отнесся, когда, остановившись за квартал до своего дома и не позволив дальше провожать, Шура потешно неловким жестом королевы подняла для поцелуя руку к его губам, затем вдруг кинулась ему на шею, с непонятной нежностью поцеловала, на миг прижалась головой к его груди и, оторвавшись, бросилась домой.

— Заметано, — сказал себе Аркаша, смеясь ее самостоятельности. — А она способная. До чего быстра в учебе — уже командовать хочет...

## Х

Здание уездного исполкома, оставшееся по наследству от земства, стояло посреди треугольного сада из вязов и осин. Одна сторона этого сада, выходящая к городу, была огорожена желтой деревянной решеткой на кирпичном беленом фундаменте. Кирпичные столбы вздымались из фундамента и делили решетку на равные участки. Ворота в виде сводчатой арки были увенчаны сверху уездным еще хорошо сохранившимся гербом: на голубом фоне белый улей, три золотые пчелы над ним и около стоит медведь на задних лапах. Сюда-то, к воротам, и был направлен из окна нижнего этажа исполкома ствол пулемета-максима. Две остальные стороны сада были укреплены естественно, — они кончались высоким обрывом, омываемым изгибом Мокши.

Земельный комиссариат помещался в нижнем этаже, в крыле, противоположном укрепленному пулеметом, и Аркаша, посещая службу, каждый день не без опаски проходил мимо окна, угрожавшего маленьким сердитым жерлом. Он шел в небольшую комнату,

отведенную ему Будилиным и, закрыв за собой двери, погружался в рассмотрение текущих вопросов землеустройства: стол был заложен развернутыми копиями старых волостных планов с нанесенными на них цветными линиями вновь проектируемых сельских и волостных границ, поверх лежала инструкция по социализации земель, а снизу, под планом, — «Виконт де-Бражелон», случайно найденный Аркашей в комиссариатском шкафу. Аркаша запоздал приездом: план работ землеустроительного сезона был давно выработан, за землемерами закреплены участки, они раз'ехались по волостям, и Аркаше следовало ознакомиться с тем, что уже сделано. Он присутствовал на заседаниях землеустроительной комиссии, заслушивал вместе с Будилиным доклады уездного руководителя работ и углублял свое знакомство с материалами в одиночестве кабинета, отвернув угол плана и читая: «...бледность покрывала его лицо, и гнев все сильнее рокотал в его сердце. Если бы кто мог заглянуть в его глубину, тот задрожал бы от страха...» Аркаша читал с отвращением, ему решительно не нравилась манера автора ограничивать все любовные сцены самым целомудренным и ничего Аркаше не говорящим содержанием. Но все же это было лучше, чем материалы с участков, протоколы сельских сходов и губернские циркуляры.

Будилин сидел в соседней комнате за большим столом, поигрывал помпонами голубого шнурочка, подпоясывавшего сурового холста косоворотку, вышитую черным крестиком и, не морща лба, подмахивал бумажки, приносимые черноволосым, смуглым и немолодым делопроизводителем Сугубовым. Таким Будилина привыкли видеть все: неразговорчивым, погруженным в вырисовывание своей щеголеватой подписи. Казалось, он радовался каждой бумажке, на которой будет стоять его имя. По отношению к себе Аркаша встречал с его стороны всегдашнюю предупредительность и внимание. Будилин не лебезил, не юлил, а просто отвечал безмолвным согласием на всякое Аркашино пожелание, коротко замечая:

— Только напишите бумажку.

«Опасаясь, голубчик» — думал Аркаша, приписывая это своему губернскому мандату и усвоенному решительному тону. Но, будучи наблюдательным, он видел не раз, что и тихие, подобострастные шопоты делопроизводителя Сугубова встречают у Будилина то же молчаливое, немедленное согласие. Тогда Аркаша решил, до поры до времени, что Будилин вообще лишен всяческого темперамента и собственного мнения. К его представлению о Будилине прибавилось впечатление скопчества, чему нисколько не противоречил мягкий будилинский тенорок. И Аркаша проверял свои выводы, каждый день насадая на Будилина то по тому, то по другому поводу. Впрочем, трудно было придумать способ извлечь пользу из этой податливости земельного комиссара, — требования Аркаши не могли пока итти дальше письменных принадлежностей и мебели, ненужных в служебной обстановке. Будилин был попрежнему предупредителен.

Но уже пятый день Аркашиной службы в Белоспаске сложился непривычно. Аркаша проспал и, явившись, застал всех в сборе. Он шмыгнул было в свою комнату, ни с кем не здороваясь, но едва разложил на столе бумаги, вынутые из портфеля и ящика письменного стола, как вошел Сугубов и, осторожно притворив за собой двери, сказал:

— Товарищ Будилин просит вас к себе.

Сугубов говорил тем приглушенным голосом, каким говорят обычно на панихидах. И походка и наклон головы в разговорах у него были такие, как у церковных сторожей при совершении служб. Даже причт, служащий в облачении, бывает в своих движениях вольней, чем эти сторожа в стареньких, с потемневшими широкими золотыми голунами, закапанных воском ливреях. Торжественностью своего шага и приспущенностью хриповатого баска они как-будто хотят превозмочь запах горькой изо рта, гражданский покрой своего платья и сообщить всей своей внешности подобающую благостность и спокойствие. Что причиной тому, канон ли церковный, воспитательное ли давление благочинного, величественная ли даже в малых формах архитектура церквей или многогулкое эхо от каждого шага, каждого звука?.. Поглядывая на очень темное, изрытое оспой лицо Сугубова, пятившегося к двери, и неторопливо тасуя бумаги, Аркаша думал:

«Так я и побежал... Ничего, подождет, даже полезно. Все-ж таки я прислан из губернского центра... А вы все, как посмотреть, свечкодуи какие-то. Какой ты делопроизводитель? Тебе бы намест ситцевой белой рубахи напялить стихарь, держать бы кадило да, подавая попу, целовать ему потную лапу. Ходить бы тебе по ковровым половикам да носить требник от псаломщика к дьякону. И, может быть, тетушка моя Зиновия Ивановна из-под лисьего солопа дала бы тебе для передачи в алтарь переплетенное в красный плюш длинное поминанье да две толстых обвитых золотой канителью свечи к образу Пречистой в иконостасе. Пошел бы ты и поклонов не стукнул, а перекрестился благообразно, наскоро, не тыча себя в грудь, а в отдалении потряса пальцами, и воткнул бы в паникадило и отошел бы коротким шажком...»

Собственные домыслы понравились Аркаше. Он принялся чинить карандаш, тщательно подравнивая его и продолжая в то же время круг своих мыслей:

«...И комиссар твой на тех же дрожжах заквашен. Ему бы стоять на клиросе да тянуть сладким своим тенорком псалмы. Так же шмыгал бы он красным своим носиком, так же подпоясывался бы голубым шнурочком в цвет своих голубых, белобрысых глаз и так же был бы неразговорчив в жизни — от тщедушного своего самолюбия и страху перед благочинным. Подходя к благословию владыки, согнулся бы он в три погибели. А дома, небось, попрекал бы старуху мать, бывшую просфирню: «Мамаша, вы на свои штиблеты всю ваксу извели, а она дороже вас, пяточок стоит». — «Да как же, мол, быть,



сыночек, рыжие у меня штилеты-то, рыжие... Совестно, право на базар ходить...» — «А вы, мамаша, самоварной сажи в водиче разведите. И так недешево вас харчить...» А вечером напоядил бы он свою голову брильянтином да, взявши гитару, пошел бы к знакомой вдове мелкого купчика, поповен бы избегал, тянулся бы к другому классу. . И машинистка ваша, должно быть, окончила епархиальное...»

Тут Аркаша даже приостановился от удивления перед несвоей ответственности ему бесполезности длинных мыслей, но опять продолжил:

«...да была безобразна, а отец народил ей полторы дюжины братьев и сестер—так и осталась старой девой, служила в земстве—так и попала после переворота в уездный земельный комиссариат, по наследству, вместе с зданием... И регистратор ваш и мальчишка, что печатает на ротаторе бестолковые будилинские циркуляры,—все лампадным маслом помазаны... Законно ли вы собрались здесь просто потому, что уезд этот монастырский, или подбирал вас пономарь Будилин под статью себе, — это мне все равно, знаю я вас, голубчики, всего гри-четыре дня, а вижу вас насквозь до последнего и каждому могу определить верную цену... Еще папаша говорил, что мог бы из меня выйти толк».

Так закончил Аркаша ход своих мыслей, входя в будилинский кабинет, и еще добавил, здороваясь с Будилиным и на взгляд проверяя свои рассуждения:

«Нет, дьяконом бы тебе ни за что не быть, мордочкой не вышел. Бороды не из чего растить, и тенорок твой не для ектении. А не раз в свое время, должно быть, мечтал, как, поднявшись на ламвон, взмахнул бы ты перед иконостасом кадилом с таким видом, словно говоришь: «Ну, ты там, Иисусе Сладчайший и так далее, а я — дьякон Александр Михайлович Будилин». Да, не вышло, природа обидела. И пошел ты в уездную революцию, потому что почуял здесь себе верную, быструю карьеру. И записался на первый случай в левые эсеры: все как-то легче перейти когда нужно в правые, а там, быть может, и совсем...»

Будилин между тем сказал:

— Вот подумайте, товарищ Пальчиков, что у нас на местах творится. И указал ему рукой на посетителя, сидевшего с ним рядом.

— Да? — спросил Аркаша с интересом, словно надеясь сразу увидеть все творящееся на местах.

Был посетитель тем, что привыкли звать сиволапый мужик и бородач. Казался он тонконогим, даже онучи не сообщали нужной толщины его икрам, — так и мотались его штаны, как на чучеле. Но живот, подпоясанный растрескавшимся черным узким ремешком, был не мал и свисал, округляя темномалиновую, выцветшую на гребнях складок и еще не потерявшую цвета в глубине их бумазеевую рубашку. Рыжая, сваянная и запыленная борода куделилась и с правой щеки была замята сном, жесткие усы не прикрывали толстых развороченных губ и неполного верхнего ряда белых зубов. Он при-

встал, «тронулся» рукой с Аркашей и, словно признав в нем страшого, весь повернулся к нему, забыл, казалось, сразу о Будилине и, щуря глаза под густыми русыми опаленными солнцем бровями, почесывая под мышкой, заговорил:

— Садись, товарищ, садись, сейчас все объясню. Табе, может, неизвестно, а я, конечно, председатель вонищенского сельсовета, Теньгушской волости... Побратимов мое настоящее, по паспорту. И заявляю следующее дело: морока у нас с лугами. Споримся мы с потьминскими почитай — да когда? — летось, почитай, еще зачалось, как после революции хфевральской Миколая... И посейчас так-то нет у нас распоряженьев — то ли потьминским, то ли Вонищам. А через то и дальнейшие смертные случаи могут произойти... Такая нежелательность получается: луга определены нам — ан, откуда возьмись, потьминская мордва с косами и, как узналось, с кольями, а наши уж взялись за сенокос. И трава-те — слезы, ей бы еще недели две-три постоять, вот тогда б и косить. Но наши, конечно, поторопились, чтоб не упустить... В одно слово — несубещина!

— Так ведь я вам луга отказал, — сказал тогда Будилин, — чего же было торопиться?

— Вот то-то оно и есть, — с одушевлением подхватил Побратимов, — отказать отказали, а потьминские с тем не согласны, есть у них мнение, что им отказаны луга. Наши про это знали, потьминские-то не раз грозились: все равно, говорят, не дадим, покажите, говорят, плант, если он есть.

— Незаконное самоуправство, — сказал Будилин.

— Верно, самоуправство, — все больше ободрялся Побратимов, — что ж я и говорю-то...

Побратимов был потен, лицо блестело, на лбу выступила белая роса, глаза стали плаксивы.

«Бородач, а губошлеп» — подумал Аркаша и решил взять разговор в свои руки, чтобы добиться толку.

— Постойте, товарищ, — сказал он строго. — Что за луга?

— Хфедоровские, хфедоровские...

— Что за федоровские?

— Помещика Хфедорова.

— Сколько?

— Шестьсот десятин... Ай?.. Что я говорю шестьсот—четыреста десятин...

— Так сколько же — четыреста или шестьсот?

— Да вот, видишь, клади: у мельницы — полтора ста десятин, да за рощей двести пятьдесят... Положил? Да на том берегу двести десятин... Сколько будет?

— Шестьсот десятин.

— Ну, вот я-то и говорю. Шестьсот десятин у нас лугов.

— Четыреста, а не шестьсот, — вставил Будилин, — двести десятин в фонд отходят.

— А? Четыреста, да, четыреста и есть.

— Так в чем же у вас спор с Потьмой? — спросил Аркаша. — И на каком основании косите? Мы пока определили только волостные границы, а не сельские, и никто не имеет права пользования до решений комиссии по землеустройству.

— Так они ж не нашей волости — Мотызлееской, Потьма-то. Аркаша взглянул на Будилина.

— Верно, — кивнул головой Будилин, — те Мотызлеевские...

— Мотызлееские, мотызлееские... — поддакул Побратимов.

—...а эти Теньгушевские.

— Теньгушские, Теньгушские...

— Так, значит, луга отходят к Теньгушевской волости и уж поэтому не могут достаться Потье?

— Не могут, — подтвердил Побратимов.

— Стой, — сказал Аркаша, развертывая план, — а куда ж отходит роща?

— Нам, вонищенским.

— А мельница?

— Опять же нам.

— Все вам да вам, — усмехнулся Аркаша, — А Федоровке?

— Хфедоровским князь Кугушева земли... Ты стой, — совсем вошел в азарт Побратимов, — сейчас я тебе все как есть объявлю... Самородова Корней Никитича земли, какие за Сатис-речкой, те — Мотызлею. Какие на этот бок — две тыщи десятин — Атюрьеву, мордовскому селу. Хфедоровке — яровой клин помещика Хфедорова, Сергей Ляксандровича, да лугов князь Кугушева двести пятьдесят десятин. Да Атюрьеву опять же лугов казаковских семьсот десятин... Вонищам хфедоровских лугов шестьсот десятин...

— Четыреста, — поправил Будилин.

— То есть четыреста — а я говорю? — да князь Кугушева пахотной земли тыща двести, да неудобной триста десятин...

— А мельница Федоровская?

— Вонищам...

— И роща Вонищам?

— Вонищам, Вонищам...

Аркашин холодный и насмешливый тон мало-по-малу сбивал Побратимова; после каждого вопроса он осекался и все больше потел.

— Давайте вызовем уездного руководителя, — обратился Аркаша к Будилину и этим совсем, казалось, обескуражил Побратимова. — Странное дело, мы только намечаем проекты распределения, а у них уж все решено, что кому...

Будилин словно ждал Аркашиного предложения, — тотчас охотно встал и пошел звать руководителя.

И замешкался где-то.

## XI

Аркаша с серьезным видом продолжал рассматривать план и сверять с ним предположительные списки распределения помещичьих угодий. Побратимов сидел и вздыхал шумным шопотом:

— Ах, ты, батюшки, вот дела-то!.. Ну и дела!..

Он почесывался, вставал, поправляя штаны и пояс, запускал пятерню в бок бороды и смотрел, потупясь, в землю. В эту минуту он до того перестал напоминать сельскую власть, до того был или хотел казаться растерянным, что Аркаша, наконец, не выдержал и спросил:

— Ты что ж это, отец, приперся в такую рань? Поди верст пятнадцать отмахал?

— Двадцать две версты считаем досель... Да ка жи, ка жи быть-то? Вишь, какой убивственный случай: у Петры-то Лясникова жена да мал-мала восемь осталось... И у Никиты четверо. Спасибо я-то дома осталси, стан менял на телеге. Гляжу — бежит сынишка Лясников Кирюшка: дядя, кричит, потьминские на лугах папаньку забили кольями... Стал я его выпрашивать, как и што — ан, мужики уж валят, везут на подводе Никиту Андреева и Лясникова. Ноги — косами порезаны, головы разможжены... Вот какие дела. Пострелять бы всех, сук-киных детей, сволоту, мордву собачью! Ну уж и наши им не спустят. Сейчас, должно, только и разговоров по селу, что об етом... А я рази сдержу? Где мне сдержать! Возьмут за грудки — ты, скажут, сам за мордву, сукин сын... Вот и прошу тебя, товарищ, за ради бога, — поезжай ты со мной, сделай распоряжение, как от губернии.

На минуту Аркаша почувствовал себя неуверенно. Ему совсем не улыбалось очутиться один на один с вониченской толпой.

— Да что ж я, отец, могу сделать? Ты в милицию или куда там заявлял?

— Ка жи, заявлял. В волости был еще до света — ничего, говорят, не можем, нет у нас таких сил, ступай в уезд. А сюда-то телефонили, к Палаткину, да он, говорят, с отрядом ушел куда-й-то.

Аркаша вспомнил, что, действительно, Палаткин еще третьего дня ушел во главе своего отряда с неизвестными для Аркаши целями.

— Чего ж ты, отец, от меня-то хочешь? — спросил он, чувствуя все неудобство выпавшей на него роли власть имущего.

— Распоряжений хочу, — упрямо сказал Побратимов, — чтоб замирить, значит, общество. Езжай ты со мной, соберем сход, и скажи с полным правом, как от губернии, что луга, значит, нашим, вониченским отходят... Вчерась я убег тишком, мне теперича одному и не суйси, не показывайси...

— Так просто эти дела не делаются, — сказал Аркаша сердито, сворачивая планы, положив про себя ни за что не соваться в это

грязное дело. — Вот подожди, придет товарищ Будилин, потолкуем с ним и скажем, чего тебе держаться.

Но Будилин так и не пришел, а прислал Сугубова сказать, что в кабинете Семена Ивановича экстренное совещание, на которое просяг явиться. Аркаша с облегчением оставил Побратимова и пошел, обдумывая по дороге нужные, по его мнению, меры.

Он застал всех за тем особым столом, покрытым зеленой суконной скатертью с бахромой, который предназначался для заседаний малых коллегий. Семен Иванович встретил его серьезной и горькой улыбкой, служившей ему для представительства.

«Подумаешь, министр тьмутараканский» — заметил про себя Аркаша, читая в этой улыбке легкий восторг власти.

— Займите, товарищи, места, — сказал Семен Иванович во множественном числе, хотя места не занял один лишь Аркаша.

Кроме Будилина, за столом сидел, пригорбившись, еще и уездный руководитель землемерных работ Балалаев, мягкий брюнет лет на тридцать пять, с хорошо сложенной, узкой головой, аккуратно выбритый, в белом форменном кителе. Локти рук его стояли на столе, а кисти сплелись пальцами перед прищуренными спокойными глазами. С этим деловитым татаринном у Аркаши с первой же встречи наметились далекие отношения холодной взаимной поддержки в ставке на законность. Аркаша сел рядом в Балалаевым.

— Существо вонищенского дела вам, товарищи, известно, — начал Семен Иванович, с усталой печалью покручивая изумрудный перстень на пальце левой руки, — он был сегодня в перстне. — По сути здесь два дела: уголовное — убийства — и земельный спор. Что касается последнего, то я не имел бы причин в него вмешиваться, — для этого у вас есть декреты, разъяснения губернского комиссариата земледелия, триангуляция, теодолиты и так далее.

На последних словах Семен Иванович остановился с двойной целью: во-первых, послать Аркаше и Балалаеву — на Будилина он не обращал внимания — горько понимающую улыбку, во вторых, чтобы дать время почувствовать всю мягкость своей натуры. Кажется, он говорил одновременно: «Вы же видите, я переобременен властью, руковожу политической жизнью в уезде, сношусь с центром, пекусь о народном просвещении, поддерживаю знакомство и теснейшую связь с главкомом, с ЦИК'ом... Конечно, мне ничего не стоило бы разобраться во всех ваших геодезических терминах, и все ваши земельные вопросы я решил бы быстрее и лучше вас. Но человеку не разорваться. И я принужден доверять вам, действуйте за моей ответственностью...»

А вслух Семен Иванович продолжал:

— Однако, разбираемый случай относится к разряду исключительных. В данных обстоятельствах, — Семен Иванович стукнул костяшками пальцев по столешнице, — он вырастает до степени политического события!..

Тут голос его окреп совершенно, казалось, он внезапно воспрянул от своей усталости. Семен Иванович даже бросил вертеть свой изумрудный перстень... На лице его было вообще много кожи. Обычно она лежала, растянутая по щекам и по лбу кое-как: где морщины, а где и просто дряблый мешок. Но тут внезапно кожа собралась в комок над переносицей, редкие, жесткие брови стали дыбом, и естественно тяжелый взгляд с умышленной тяжестью остановился сперва на Будилине, потом на Балалаеве и под конец коротко на Аркаше. Будилин перенес его, бегая глазами, Балалаев — с холодным спокойствием, глядя поверх своих сплетенных пальцев, Аркаша — с легким нахальством, раскрыв свои изюмовые глаза. Аркаша побаивался подчас животных, потому что не знал и не понимал их. Людей же он знал достаточно для того, чтобы хладнокровно подумать:

«Напрасные фокусы, дорогой товарищ, белки-то у тебя красные с перепоя, а у меня в кармане губернский мандат...»

Помолчав с полминуты, Семен Иванович совершенно замогильным, упавшим голосом сказал:

— Товарищ Балалаев, в каком положении у вас Теньгушевская волость?

— Дня через три-четыре будем заканчивать кевязку, — подчеркнуто ровно отвечал тот.

— Без нее нельзя? — спросил Семен Иванович, не поднимая глаз.

— Это обычное и совершенно естественное явление при определении волостных границ.

— А план распределения помещичьих земель по Теньгушевской волости закончен?

— Сейчас заканчивается таксация, без чего нельзя предлагать план к утверждению.

— Спекуляция, а не таксация! — рявкнул вдруг Семен Иванович, стукнув кулаком по столу так, что опрокинулась пепельница, и вскопчил со стула.

Балалаев ни одним движением не ответил на стук по столу, проводил зашагавшего из угла в угол Семена Ивановича прищуренным взглядом и тогда лишь пожал плечами. Аркаша чуть оторопело заметил про себя: «Кусаться хочет. Дать воды, пожалуй, испугается».

Семен Иванович ходил тяжелым шагом, вздымая руки к голове, хватаясь за лоб и затем быстрым движением закидывая назад редкие, длинные волосы. Потом он заговорил:

— Так нельзя, товарищи!.. Это не годится!.. Никуда не годится!.. Так работать совершенно невозможно! Лучше прямо сказать, что вы неспособны. Вы мне срываете всю земельную политику!.. — снова рявкнул он, остановившись среди кабинета и потрясая в воздухе руками. Затем он опять быстро зашагал и, глядя перед собой в пол, заговорил, помогая своей речи то пальцем, то кулаком — так сапожник прибывает подметки: то шилом ткнет, то раза два стукнет молотком.

— Сегодня убийство в Вонищах, завтра драка в Атюрьеве, послезавтра побоище в Мотызлее... Разве это дело? Вместо того, чтобы быть впереди аграрного движения, мы плетемся в хвосте. Вы думаете, мужик нам простит половинчатость? Нет, он нам не простит. Необходимо сохранить инициативу за собой. Съезд советов дал ясную директиву: нужно то-то, то-то, то-то... Скажи мне, товарищ Будилин, как ты думаешь расхлебывать кашу? Один поедешь или прикажешь с тобой артиллерию выслать?.. Молчишь? Вот то-то! Мишка на операции со всем отрядом, ты это хорошо знаешь. Оторвать его от борьбы с прямым врагом революции, с белогвардейцами, сколотившими под шумок целую шайку, оторвать для того, чтобы дать почетный конвой товарищу Будилину!.. Потому что он не умеет не то что отнять у помещика, а даже вернуть принадлежащее мужику без помощи вооруженной силы... Нечего сказать, хороши бы мы были!.. По шапке нужно за такую работу!

Семен Иванович сделал еще один поворот, сел за стол и выпил, налив из графина, стакан воды. Распек председателя исполкома относился, строго говоря, к одному Будилину, но все молчали. Лицо Будилина ничего лишнего не выражало. Аркаша независимо почеркивал карандашом по бумаге.

— Ну?... Говори! — сказал с торжеством Семен Иванович. — Что ты можешь предложить?

Будилин ерзнул на стуле, но ничего не предложил.

— Позвольте мне, — взял тогда слово Аркаша.

Но в это время в кабинет вошел Хворов. Странно было наблюдать его громоздкое тело, когда он торопился: слегка косолапя, он ходил какой-то иноходью. Еще напоминала его походка косую трусцу среднего роста тонконогих собачек... Можно было бы думать, что это холщевый портфель в левой руке, затрудняя движение, так относит его тело в восьмую оборота к направлению шага, если бы без портфеля Хворов не ходил точь в точь так же. Он наскоро поздоровался со всеми и сказал, садясь:

— Вот как мы, незваные, втираемся. Нас и не зовут, а мы сами липнем, как все равно банный лист к заднице.

— Садись, садись, дядя Ваня, — сказал Семен Иванович как можно ласковее, — да не шуми. У нас тут заседание насчет Потьмы-Вонищей.

— Знаю, слышал. Валите, продолжайте, я ни гу-гу.

Он достал серенький кисет и стал свертывать собачью лапку. А Аркаша уже успел за это короткое время шепнуть Будилину:

— И-как это таких бестолковых Побратимовых выбирают!

На что Будилин шмыгнул своим красным, как бы заплаканным носиком и молча посмотрел на Аркашу.

— Однако, Побратимов себе на уме, — успел еще раз шепнуть Аркаша, но Семен Иванович постучал по столу перстнем в знак призыва к возобновлению заседания.

## XII

— Вы, кажется, хотели, — сказал он Аркаше, и тот начал.

Весьма похвалив точку зрения Семена Ивановича, он остановился на директивах съезда и развил несколько мыслей о пользе сельскохозяйственных коммун. Затем, затронув аграрный вопрос в Дании, Аркаша с ясностью доказал все преимущества среднего хозяйства перед мелким, не могущим выдержать содержание и амортизацию машин, и перед крупным, доходы которого съедаются транспортом от поля до усадьбы. Таким средним хозяйством, соединяющим в себе близость к полям и достаточно современное техническое оборудование, могли бы быть в советской республике сельскохозяйственные артели или коммуны. Но Аркаша предупреждал, что отнюдь не следует прибегать к насильственному их внедрению, а лишь постепенно, проводя планомерную социализацию земель, закладывать принципы, на которых разовьются будущие формы коллективного землепользования: округление границ, уничтожение чересполосицы, создание образцовых коллективных хозяйств. Аркаша счел уместным тут же заявить, что, по его мнению, Белоспасский уезд является исключительно благоприятным для создания образцовых сельхозартелей в виду обилия в нем монастырей, хозяйства которых как бы нарочно созданы для наиболее легкого перехода к коммунальной жизни. Ближайшие свои поездки Аркаша объявил посвященными изучению монастырских хозяйств на местах и затем перешел непосредственно к состоянию землеустроительных работ в Теньгушевской волости.

За всей его речью Семен Иванович следил с особенным одобрением, что весьма поощряло Аркашу и вдохновляло его на самые победоносные выводы. Сухой овал Аркашиной щеки, энергичный подбородок и быстрая твердая речь дополняли друг друга в производимом на слушателей впечатлении, и, чувствуя это, не раз среди речи Аркаша подумал: «Рты поразевали — вот она, Москва то, знай наших!» — и подбавлял паров. Он чувствовал себя в ударе. Семен Иванович с восхищением посматривал на Будилина, отмечая движением головы особенно удачные Аркашины фразы, многозначительно подкидывая ею и даже по временам крутя, словно говоря Будилину: «Смотри, дура, и учись... Вот это так голова!.. Не то, что мы с тобой, садовые!..»

— Вонищенское дело не должно нас слишком пугать, — говорил Аркаша. — Семен Иванович совершенно правильно разделил его на земельный спор и сопутствующее ему уголовное дело. Последнее я бы назвал просто неприятным и необязательным ко-инцидентом. Крестьянин веками терпел и ждал. Немудрено, что теперь, когда величайшая в мире революция отдаст в его руки помещичьи земли, ему не терпится, и он стремится нахватать как можно больше. Вековые условия капиталистического строя создали из крестьянина мелкого собственника. Мы этого не должны забывать, однако же, должны



с этим бороться. Но было бы чрезвычайно пагубно прибегать к вооруженной силе там, где можно действовать путем агитации и убеждения. Посылка этой силы в Вонищи показала бы, что мы считаем проводимую социализацию земель постоянным поводом для возникновения подобных, как я назвал, ко-инцидентов. Нам пришлось бы наводнить уезд войсками для того, чтобы обеспечить нашу работу. Этого допускать нельзя. Я полагаю, что конфликт крестьян Потьма-Вонищи нужно ликвидировать путем посылки ответственного работника, который провел бы там митинг и сделал соответствующие разъяснения. Революционный крестьянин гораздо сознательнее, чем думают те, кто ставит ставку на его темноту. Октябрьский переворот, прошедший при его поддержке, — явное тому доказательство.

За свой недолгий, но гибкий стаж советской работы Аркаша не раз уже имел случай показать себя левее самых левых, и до сих пор ему не приходилось раскаиваться в этом. Он знал, когда это можно было делать. Робкая фигура Будилина не внушала никаких сомнений. Аркаша с уверенностью ожидал, что предложение его будет встречено критикой, возражениями, что его отклонят, и он сохранит за собой выгоднейшую репутацию, оставшись в меньшинстве. Предвидя это, Аркаша замолчал с усмешкой. Действительно, едва он кончил, как заговорил Хворов:

— Чушь, Аркаша, несешь, чушь...

Но тем только и ограничился. Семен Иванович же тотчас встал на его защиту.

— Ничего не чушь. Настоящее предложение революционера. Дело слишком ясное, чтобы дальше останавливаться на его обсуждении. Товарищи, следует сегодня же выезжать в Вонищи и предупредить возможность дальнейших осложнений. Будилин, ты так?

— Я в тройке, — вымолвил тот свою первую и последнюю фразу.

— Верно... Кого ж тогда?..

И, словно вдруг остановивши свой взгляд на Аркаше, сказал восхищенно:

— А зачем же нам инструктор по социализации?! Вот, спасибо губернии! Товарищу Пальчикову и книги в руки.

Аркаша сразу почувствовал себя так, как это бывает во сне, когда при совершенно благоприятных обстоятельствах идешь под руку с милейшим спутником к какой-то отрадной цели. Спутник любезно пропускает тебя вперед: «Здесь, здесь...» — говорит он ласково. И вдруг в тот миг, когда делаешь шаг вперед, железная рука, как удавка, хватает сзади шею. И уже всем существом знаешь, что тебе не вырваться, никак не вырваться, а что там, за твоей спиной, светлое лицо спутника превратилось в ужаснейшую маску. Хочешь крикнуть изо всех сил и... хорошо бы тут проснуться!..

Аркаша смотрел на Семена Ивановича почти с ненавистью, тот отвечал ему зловещим добродушием.

— Позвольте, — сказал Аркаша озадаченно, — я еще совершенно не освоился с обстановкой. И притом мои обязанности главным образом в инструктировании, в контроле. Я полагаю, что эта поездка является прямым долгом комиссара по земельным делам.

— Ну, вот, с вашей-то головой и — не освоился!.. Будилина отпустить никак не могу в виду обязанностей по мобилизации лошадей, возложенных на него исполкомом.

— При чем же здесь голова, — пробормотал Аркаша.

Но Семен Иванович уже вставал, объявляя заседание закрытым.

— Вечером у ставочника получите лошадей, — сказал он. — Книжечка у вас есть?

Аркаша отрицательно качнул головой, решив забыть о книжке для проезда на земских лошадях, выданной еще в губернии.

— Ну, ничего, — сказал Семен Иванович, — выпишем. А на сегодня лошадей закажем просто с посыльным, — слышишь, Будилин, дай знать на ставку.

И уже совершенно свирепо добавил:

— Мы, знаете ли, от проезжих дорог далеко и в полной мере живем согласно лозунгу «власть на местах».

Аркаша плохо понял, что хотел сказать Семен Иванович этими словами. Говорил ли он о ставочнике, который повезет и без проездной книжки или намекал на полную зависимость Аркаши от него, председателя уездного исполкома. Яркий Аркашин рот приоткрылся, энергичный подбородок слегка отвис, и изюмовые глаза округлились.

«Прохвосты, — думал он, все еще сидя за столом, тогда как все уже встали, — прохвосты!... Решили отыгаться на моей шкуре, заранее сговорились... Ну, это мы еще посмотрим!.. Хотя, чего ж тут смотреть, — рассуждал он далее, — нечего смотреть, никуда не денешься. Надо уезжать отсюда. Нашли козла отпущения! Человек только-что приехал, так сразу его во все тяжкие... Сегодня же телеграмму дам в губернию, что уезжаю...»

С сознанием полной своей обманутости Аркаша вышел из кабинета Семена Ивановича и, не заходя в свой, направился к себе в номера. В памяти его живо воскресала голодающая Москва, мешечники, обыски, ноющие и вдруг почерстествовавшие родители. Вспомнилось, как отец, не сумевший во-время ликвидировать дела, просадивший остатки средств в рискованной операции на трех вагонах продовольствия, задержанных наркомпродом, и совершенно dokonченный двумя повторными обысками в целях реквизиции серебра и ресторанных сервисов, собрал всех домочадцев и объявил им торжественно:

— Ну-с, как говорится, товарищи-дети, кто не работает, тот да не ест. Довольно я хомут поносил, растил, кормил, поил вас, лоботрясов. Лизавету, по случаю того, что в девках засиделась, оставляю при себе, — все в хозяйстве пригодится. О Евгении и Ксюше пускай мужья позаботятся, слава богу, повыданы. Остальные — получай пашпорта и

алё! Пора и совесть знать. Геннадий, этот покрепче вас всех, давно догадался, ушел, не через совесть, а через две цистерны керосина, и глаз не кажет. Но, между прочим, зря, мне его капиталы не нужны, себя всегда прокормлю, а на детей расчета не строил... Василий на инженера кончает, — пускай от новых хозяев выправит себе стипендию, все равно служить будет, в халуи к советской власти пойдет. Аркадия, грех мой, смолоду мало бил, а то бы он раньше за ум взялся... Ничего не поделаешь, батюшка, Геннадий тебя в компаньоны не взял, куда ж ты мне-то, беспорточный. Не умел во-время дела закрутить — ступай теперь в компаньоны к советской власти: «Торговый дом Аркадий Пальчиков, революция и компания», ха-ха!.. Так-с. Перетакивать не будем, мое нижайшее...

Вспомнилась Аркаше изворотливость, проявленная им, лишения и неудобства переездов, жизнь в губернии, сделки со своей совестью, — ведь есть же и у него совесть! — надежды, возлагавшиеся Аркашей на этот отдаленнейший уезд, при выборе которого расчеты строились именно на отдаленности его и, так сказать, нетронутости...

«Нет, — подумал Аркаша, — никакой я телеграммы в губернию давать не буду... Забрался сюда — изволь обжиться. Что ж, что власть на местах, она везде на местах. Где гарантия за другой уезд? Да и дадут ли другой?»

Тут Аркаша хлопнул себя по лбу и остановился, почувствовав, как сердце его перевернулось от лютой спазмы раскаяния.

«Эх, — сказал он себе в неискупимой досаде, — эх! Какой же я осел! Какой же я остолоп! Эх, эх!.. К жуликам попал, ведь, к жуликам! «Москва, знай наших!» Да они меня, как тетерева на току поймали... Хуже — как муху в мухоловку... Сам в ловушку полез... Сам! Надо же так влопаться — всю войну умел ловчиться, из санитаров в земгусары. А тут — ванькам тьмутураканским живьем дался прямо в пасть... Говорил, ведь, папаша: «Эти Иваны да Акимы в своем селе — государственного ума люди. Пока его не выволок оттуда, лучше не суйся с ним спорить, не затевайся, — прикинется дурачком, а доверишься — как пробку обведет...» Эх! Жулики, жулики...»

Аркаша шел и то торопился, то замедлял шаг от ужаснейшей злобы и обиды, заливавших грудь.

«Вот решето! Ну что теперь делать? В Вонищи ехать, ребра мужикам подставлять или в Москву, к папаше?.. Жулики!»

Погруженный в свои думы, Аркаша как со слепу наткнулся на какого-то человека, не успевшего посторониться с перекрестка узкого тротуара.

— Прощеньца прошу, — сказал человек певуче, — сколько та-герь, товарищ, времени?

Аркаша взглянул на него и, увидев грузного, ладного мордвина в сапогах и в суконной поддевке, отрезал московским острым словом:

— Какой я тебе товарищ, я — гусь...

И прошел мимо. Тут-то и нагнал Аркашу Хворов. Запыхавшись, с почти сомкнувшимися веками узких разрезом глаз, он то и дело фыркал неумелым смехом.

— Ну, и уморил ты меня!.. Гусь, говоришь, а не товарищ. Ах ты, гусь лапчатый!.. Рожу-то, рожу-то ты его видел? Он так и отлетел от тебя. Ну, гусь...

Московское словцо Хворову, видимо, очень понравилось.

— Он уже давно ко всем суется, мордвин этот, — продолжал Хворов, — все мельницу свою обороняет... Так гусь, говоришь?

Он опять прыснул.

Но Аркаша не был расположен к веселым разговорам. «Сам-то ты хорош, — думал он, — на заседании у тебя слова не нашлось... Одна шайка-лейка». Он искоса поглядывал на широкую фигуру Хворова и молчал.

— Ты что, Аркаша, нос повесил? — спросил тот. — Ничего, бог не выдаст, свинья не съест. У меня есть к тебе предложение: едем в Воничи вместе. А?..

— Едем, — отвечал Аркаша, помедлив для пущей важности, и тут же напомнил, — только, ведь, ты же, Иван Иванович, считаешь, что я чушь городил?

— Начушил, это верно. Я мужиков знаю получше тебя и с голыми руками к ним не поеду. Возьмем с собой пулемет.

Аркаша не стал ни возражать, ни расспрашивать. Все поворачивалось неожиданно слишком счастливо, чтобы любопытствовать. Аркаша порой был склонен верить словам арабского поэта: «Счастье не любит движения» — и отдавался ему, боясь нарушить неосторожным словом благоприятные ветры. Так, пишут в детских книгах, могло бы быть на земле, если бы опустилась температура межпланетных пространств; море лежало бы в безветрие незамерзшим, но достаточно было бы детского крика, чтобы оно мгновенно превратилось в сплошной лед. Аркаша не хотел этого крика.

*(Продолжение следует).*

# Московские западники

В. САЯНОВ

Переулки с Арбата к Пречистенке,  
Словно птицы, махали крылом,  
Там бродяги слонялись и странники  
И мусолили карты в три листика.

Пахли веником старым предбанники,  
Ползаставы сходило на слом,  
И шатала давнишняя мистика  
Эту черную ночь напролом.

Например, это небо, которое  
В полусонке почти, в забыты  
Расписное, зеленое, скорое,  
В роковые летело рои.

Например, это небо, прошедшее,  
Побираясь по ситным дворам,  
То глухое, то вдрызг сумасшедшее,  
Оголтелое небо дворян.

Там спириты и спирт и раздоры  
До рассвета качают столы,  
Ту Россию ведут мародеры,  
Продают ее из-под полы.

Там от самого теплого марта,  
От морозного дыма страстей,  
Будто шкура, рапластана карта  
Объявляющих бунт крепостей.

Старый быт, над проулками реющий  
Тупики в невозвратную рань,  
По базарам лабазы с крупчаткою,  
Соловьиный напев, канареечный,  
И костры над размытой площадкою  
Улетающей сразу за грань  
Этой тихой зари вечереющей,  
Где подрамники греет герань.

Вот густая, хмельная, морозная,  
Небывалая та тишина,  
Ночь пройдет, как упряжка порожняя,  
Звезды высыпет мельче пшена.

То кондовая вся, то лядящая,  
То гремя, то мурлыча едва,  
Ты проходишь, как шлюха пропащая,  
Позабытая мною Москва.

Вот уклада дворянского зарево,  
На заре, первопутком звеня,  
Синим отблеском сумерки залило,  
Дребезжа ослепило меня:

«Берег весь кишит народом  
Перед нашим пароходом  
Де-мамзель, де-кавалье,  
Де попы, дез офисье.  
Де коляски, де кареты,  
Де старушки, де кадеты». <sup>1)</sup>

Этот Запад отвержен, как торжище,  
«Sensations de madame Курдюков»,  
Что-ж Россия дворянская, топчешься  
Над скварыжною далью веков.

Сразу песни в особом наречьи,  
По дорогам поют бубенцы  
В постоянных дворах всех губерний,  
Морды волчьи и морды овечьи,

То отгул подымался вечерний,  
Будоражили тишь пришельцы,  
По Островскому в Замоскворечьи  
Бородатые встали купцы.

<sup>1)</sup> И. Мятлев.

Эх, дубинушка, сумрачный берег,  
Левый берег, раскат топора,  
Может статься, что «новых Америк»  
В эти дни приближалась пора.

Да опять тупики, пересадки,  
Переправы, раскаты огня,  
Ветер сумрачный ходит и серый,  
Но скатавши солдатские скатки,  
Отгремевши ружейною мерой,  
Все отпетые годы кляня,

Он берет броневые площадки,  
По сарматской равнине звеня.

Снова запад — но это Таганка,  
Пленных молний теснится раздор,  
Коминтерна ночная стоянка,  
Отплывающий в море линкор.

Сосны к западу клонятся утло.  
Но для грома и славы восстав,  
Отшвартуют в бессмертное утро  
Все шестнадцать московских застав.

# Муха Макар

Рассказ.

ПЕТРО ПАНЧ

**М**УХА Макар воевал «за веру, царя и отечество», а за большевиков уже не мог.  
— Негодяй с меня стал, — оправдывался он перед красными.—Как тревожил нутро в Карпатах, так и до сих пор одним глазом не вижу.

Нужда и недостатки обсели его, как рабочую руку мозоли, однако, за бедняка себя Макар не считал.

— Есть у меня хата, а в хате пятеро детей и кот на печи. Так и в анкету пишете. А у других и того нет, — вот те -- бедняки-незаможники. Землю от революции получил, а раньше работал у Каравана — больше за десятый сноп.

Мухина хата вросла в землю по самые окна, но хозяина это беспокоило мало; он и сам был похож на прошлогодний мох, — такой же серенький и такой же мохнатый. Желанной Макаровой мечтой был конь. Имея его, надеялся он стать настоящим хозяином.

— Тогда бы так уж и писался: «Чуть не маломощный середняк».

Однако, время шло, подходящего по цене коня не попадалось, а при коне надо ведь еще и воз справить, — и Муха, скрепя сердце, согласился записаться в незаможники.

Как раз в ту зиму в соседнем обществе народ ладился насчет коллективизации. Муха Макар заинтересовался. Долго собирал он разные слухи, и с каждым днем новые мысли захватывали его все больше и больше. Особенно восхитил и поразил «такой парнишка молодой».

— На заводах уже конвейеры, на заводах рационализация, на заводах индустрия и всякие такие предприятия...—горячо и ловко расписывал «такой парнишка молодой». — А село плужком, говорит, а село шажком, говорит, да сохой, говорит, плетется в хвосте, как шашнадцата рота...

Муха Макар вполне согласился:

— Таки да, шашнадцата рота!..

А вот парнишка хоть и молодой, а сразу видно: пролетарнат!

— Всякими гигантскими шагами вперед, говорит, товарищи, к социализму! И выходит, что надо коллектив, потому что машина, говорит, трактор.

И с этим согласился Муха Макар. А парнишка молодой! еще говорит:

— Межи к чертям, кони коллективные, зерно тоже — посева-терьял! Потом, говорит, вы же и коров можете в один гурт согласо-вать.

— Как? — перебил его Муха Макар.

— Коллективизировать! — отчеканил парнишка молодой. — Да еще, говорит, если взять красной немецкой породы, всем тогда мо-лока хватит, а в первую очередь старикам и малым ребятам.

Разволновался от парнишкиных слов Муха Макар, даже губы по-трескавшиеся вытер. Молока он давно уж не пил, и дети у него росли на одной голой картошке.

И еще много чего говорил парнишка молодой. Только не ска-зал, как быть с теми, у кого «тревожено в Карпатах нутро».

Долго потом Муха Макар не мог добиться настоящего толку, пока не посоветовался с «оратором», приехавшим в Сурган-Балку осенью на октябрьские торжества.

После этого он думал день, думал ночь, наконец, пошел в сель-совет и заявил:

— Пишите в коллектив: «Муха Макар с жинкой Мариной, хата под соломой, пятеро детей и кот на печи».

Его записали и поручили временно быть на Веселом Куте за инициатора.

— И за оратора?

— И за оратора. И за агитатора.

— А, может, это чересчур уж на одного? Я ведь негодяй: еще в Карпатах как тревожил нутро, так и до сих пор одним глазом не вижу.

— Грамотный?

— Хотя и неграмотный, а евангелию читаю.

— Дурман разводишь! Лучше б газеты читал.

— Мелко пишут!.. А вот про англичанку все-таки вычитал, до-знался. Говорит ихний старшой: «Коммуна совецка нам жить не дает, пролетарию всего свету бунтует, говорит, войной на них надо итти, а то пятилетку, говорит, за четыре года как сполнят, беда нам тогда будет!..» Чуете, куда шкура гнет? Я уже сказал: пусть и негодяй я, а эту англичанку обязательно пойду бить. Раз ты не хотела помогать революцию делать, так и теперь не суйся. А то — смотри! Нам гарни-зоваться недолго: сухарей в торбу, — и здравием желаем, товарищ ко-мандир, куда стрелять.

Муха Макар даже вспотел от натуги. Его помятое, морщинистое лицо стало похоже на мокрую тряпку, к которой он прикладывал полу заскорузлого кожуха.



Председатель сельсовета повел глазом на его из'еденную молью бородку и сказал:

— Правильная позиция. Я вас в стрелецкий кружок запишу.

Услышав слово «позиция», Муха Макар захлопал веками, а пола кожуха так и осталась у него возле уха. Когда же увидел в руках председателя уже готовый карандаш, то и совсем очумел:

— Не, не! Я ж негодяй. Может в обоз, — еще туда-сюда, да и то, чтобы в последнюю очередь.

Пришлось председателю сельсовета растолковывать, что такое стрелецкий кружок и для чего он существует. Муха Макар согласился и уже бойчей добавил:

— Я и позиции' не боюсь! Только вот, что встревоженный я...

Первым, на кого Муха Макар решил направить свою инициативу, был ближайший сосед Караван, у которого всю свою жизнь работал он за десятый сноп. Перед тем, как двинуться в такой серьезный путь, решил он попробовать свой ораторский талант у себя дома. За столом, около картофельной похлебки сидело пятеро желторотых, кудлатых мушенят, а шестая, как туго набитый мешок, закрывала своей спиной узенькое оконце — его молодичка. Он только так ее и величал. Смахнув с усов следы похлебки, Макар глянул боязливо на молодичку и не без опаски начал:

— На заводах уже конвейеры, на заводах рационализация...

— А что такое — рационализация? — пискнул маленький Макарченоч.

— Вырастешь, узнаешь, а мы и так проживем, — и как-то одним духом закончил, — в коллективе!

Произнеся это слово в первый раз у себя в хате, он незаметно ужал голову в плечи и готов был уже к шумному продолжению, которое должно было исходить от его всегда оппозиционно настроенной молодички. Однако, неожиданно она ответила совсем мирно и мягко:

— Чула и я. Чула да вот и думаю: жили мы всю жизнь на редьке да на репке. Неужели же и дети наши так будут жить? На чорта тогда революцию делали и столько загубили людей?

Муха Макар осмелел.

— Про коллективы никто не знал, а я вот доведалься: шесть дней за десятину в год отработай — и получай в мешках урожай. Детям молоко, старикам молоко.

— А когда давать будут? — пискнул другой Макарченоч.

— Теперь уж скоро. Всех записал.

— Куда? Может, в кооператив? — с подозрительной недоверчивостью спросила жена.

Муха Макар почувствовал, как колеблется земляной пол под ногами его молодички. Смелость снова покинула его, и он значительно тише добавил:

— В коллектив. Уже и за начальника поставили: за инициатора. Похожая на туго набитый мешок молодичка подняла к виску руку, потрясла под головным платком мизинцем и безразлично сказала:

— К дождю, должно... В ухе свербит.

Затем пренебрежительным тоном, будто такие разговоры уже успели осточертеть ей, кинула:

— Болтать болтают, а дела не видно. И ты, пес одноглазый, слышать слышал, а молчишь. Тебе ж, наверно, и жалованье положат?

Муха Макар сразу увидел, что его агитация безусловно действует, — значит, за такую работу надо платить. Поэтому он с уверенностью ответил:

— А ясно, что положат. Хоть и не торговался, а думаю, что заплатят. А тебе, жинко, что ни ребенок, то и четыре месяца вольготности, чтоб детей здоровых рожала, коммунистов.

Его полнолицая молодичка медленно повернулась на прямо обтесанных ногах, посмотрела на изношенную, сухопарую Макарову фигурку и молча покивала головой.

Макар смутился.

— Нутро тревожено... верно... А когда-то разве такой был? Действительный!

На этом свою речь он должен был закончить, так как хозяйка, прибирая со стола, начала греметь посудой, а остальная аудитория с холодного земляного пола шмыгнула на печь.

Подбодренный первой удачей, Муха Макар натянул на сухопарые плечи разукрашенный латками кожух, прижал полы его к подведенному животу и, попыхивая плоской махорочной цыгаркой, вышел на улицу.

Сосед Караван как-будто только его и ждал и, навалившись на плетень, сразу окликнул:

— Здорово, Макар! Ты своей молодички еще не коллективизировал? А там, говорят, уже и парубков на нее назначили...

Муха Макар почувствовал, как у него перевернулось тревоженное в Карпатах нутро. Он затряс своей из'еденной молью бородкой, и хоть некстати было, но рассердился по-настоящему. Рассердился не столько за молодичку, сколько за то, что Караван сбил его с толку как раз в такой момент, когда он хотел говорить о коллективизации.

Сосед, очевидно, заметил это и уже мягко спросил:

— Я слышал, ты хотел коня купить?

Муха Макар тряхнул головой, что он делал только тогда, когда чувствовал себя совсем вышибленным из ума, а потому еще с большим сердцем кинул:

— Купить, не пропить. А деньги где?

— Значит, конь тебе нужен?

— Да вот коту в пару ищущу.

— Я продаю. И цена подходящая. Не хотелось бы только в чужие руки.

Караван осторожно оглянулся и тише добавил:

— А то попадетсЯ какому-нибудь нехристю, из тех, что образа святые повыкидали. Возьмет да еще в СОЗ коня потащит. Пусть лучше у меня сдохнет!

Муха Макаp торопливо чмыкнул носиком над из'еденной молью бородкой, тесней прижал к подведенному животу улепленный латками кожух и решил, что обидеться можно будет и потом, а сейчас надо воспользоваться случаем. Он заглянул в прищуренные по-заговорщицки Каравановы глаза, еще раз поддернул к животу кожух и, совершенно забыв о своей миссии, спросил:

— А сколько?

— Да сойдемся. Пусть только завирюха эта с коллективами уляжется, а то чего доброго еще и тебя потянут. В церковь пойдешь? Звонят!

Однако, Мухе сейчас было не до бога. Конь!.. Живой конь сам шел в руки да еще и буланый. Если только Караван не шутит, так это выходит, что он, Муха, может стать «чуть не маломощным середняком». А что Караван свое условие ставит, так коллектив ведь не волк, в лес не убежит...—подумал Макаp и даже обрадовался, что все так просто получается. — Кто ж меня силой потянет, если я не захочу?.. Но когда вспомнил, что в коллектив он уже записался, тогда стал нужен и бог, только Муха вспомнил его, как вспоминают бога, обломав телегу в степи.

Муха Макаp и раньше не совсем ладил с богом, в прошлом году у него сдохла стельная корова, хотя он дважды усердно и просительно ставил свечки перед образами.

— А оно что ни свечка, то и гривенник. А где их наберешь?

На этот раз его выручил Караван. Муха Макаp городил когда-то у него тын, и все сосед забывал заплатить должок, а сейчас вспомнил и выложил целый рубль.

— Может, последний раз поставишь. Говорят, закрывать собираются. Слышал?

Муха Макаp не только слышал, а даже сам голосовал за это. Еще и добавление к резолюции сделал: «Закреть церковь, чтобы было больше места для большевицкого движения, а молиться надо по хатам».

Добавление приняли, только конец как-то хитрей вывели: «а молиться не надо даже и по хатам».

Караван тоже был на собрании и обо всем хорошо знал. Поэтому, посмотрев на измятый рубль, а затем на обиженного за бога Каравана, Муха переступил в мозолистых сапогах с ноги на ногу и, отведя в сторону свой «нестревоженный» глаз, смущенно сказал:

— Должно, дождь будет. Что-то в ухе свербит.

— А была б цела религия, — уже сердито заговорил Караван, — аккуратно снег бы пошел. Супротив церкви идут. А я такого мнения: церковь нужна мужику. В хате у него смердит, а в сельбуде, тем хуже.

А пойдешь в церковь, — ладаном пахнет, поют тоненько и про хозяйство спокойно подумать можно.

Муха Макар прикинул про себя, что насчет хозяйства ему хватит времени и дома подумать. Другое дело Каравану, который в одном только этом году выполнил план ко двору на семьсот пудов, он десятипроцентник и из всех законов вывернуться норовит, а вот, что в церкви тоненько поют и что ладаном пахнет, про это Караван правду сказал. И Муху постепенно начало брать сомнение: в самом деле, надо ли было писать дополнение к резолюции относительно церкви? А когда у него у самого будет конь, кто знает, быть может, действительно нехватит времени в хате о хозяйстве подумать? Чгобы хоть немного оправдать себя, он пробормотал не совсем уверенно:

— Поп у нас дурак. Слова за себя не скажет.

— Не дурак, а мученик. Ты бы послушал, что он в воскресенье говорил. «Было, — говорит, — когда-то, что люди жили по пещерам и пили и ели, как скотина, из одного корыта».

— И миски не было? — недоверчиво перебил Муха.

— Не было, потому не знали веры православной. А потом наставил их господь на путь истинный, и начали они жить по-человечески: у каждого своя хата, своя миска, своя ложка. Стали жить порознь: известно, всякая пташка на волю рвется, а это, говорит, опять что-то старое начинается.

Муха Макар уже засунул куда-то полученный целковый и стал чувствовать себя значительно свободней. На последнем каравановом слове он не удержался.

— Дурман разводит! Лучше б газету читал.

Караван насторожился, но с мягкой шутливостью попрощался с Макаром. Даже руку через тын подал.

— Словом, считай коника своим. Так всем и говори, а там почитаемся.

Десять лет уже прошло, как задумал Муха Макар обзавестись в хозяйстве конем, но все не мог найти подходящего по цене, по тому своему карману, — и вдруг такая неожиданность: можно приобрести настоящего буланого, который справляется чуть не за трактор.

«Вот эта так база!» — подумал он про себя, направляясь вниз по улице. Теперь он уже настоящий хозяин. Муха Макар усмехнулся потрескавшимися губами и подмигнул единственным своим глазом:

— «А кто это там гремит по шляху?» — «Муха Макар. Не узнали? Инициатор!».

Последнее слово, произнесенное самому себе в голос, снова заставило вспомнить, что он уже записался в коллектив. Муха Макар остановился. Выходило, что надо сейчас же решать, как быть дальше: итти ли в коллектив, или одному заводиться около своего хозяйства? Он всем тогда покажет, кто такой Муха Макар. И снова проговорил громко:

«А кто это там гремит по шляху?» — «Не узнали? Инициатор!».

Это слово лезло ему на язык, как ветровая слеза на глаз. Он хотел было итти назад, но раздумал и снова повернул вниз. Однако, не сделав и нескольких шагов, почувствовал, что его тревоженное в Карпатах нутро заныло от волнения.

Теперь Муха Макар совсем растерялся. Остановившись среди улицы, он затоптался на одном месте, припомнил, что он не только инициатор, но еще и оратор и к тому же агитатор. Тревоженное в Карпатах нутро расходилось еще сильнее и, решив, что с конем социальное положение может в корне измениться, Макар повернул домой.

В хате его ждала другая неожиданность. Только около самого двора Муха справился со своими спутанными мыслями и, справившись, еще за порогом крикнул:

— Тпру, буланый! — изображая, что под'ехал и лихо остановил коня.

Затем открыл дверь. Он знал заранее, что сейчас обернется к нему молодичка и скажет то самое, что говорит всегда: «Соломы достал, пес одноглазый? Видишь, дети на печи коченеют?..» Муха приготовил было уже для нее и ответ: «Теперь своим привезу, буланым»... Она удивится — и сразу в передний угол: «Слава тебе, господи!».

Однако, на этот раз удивился сам Макар. Его полнолицая молодичка, как туго набитый мешок, стояла на лавке и сдирала со стен образа. Около стола смотрел на ее работу председатель безбожников, а возле него топтался комсомолец Васька, который, увидев хозяина, стыдливо отвел глаза от красных хозяйкиных ляжек. Макар это сразу заметил, и в груди у него опять перевернулось тревоженное в Карпатах нутро.

— Об чем дело, товарищи? — спросил он с порога. — Чего ты там ищешь, жинко?

Вся красная от натуги молодичка повернулась и сказала:

— Разговаривайте теперь с ним. А я свое сказала: на кой они нам сдались? Бог только тогда нитки сучит, когда баба пряжу прядет. А то икон у нас много, а миловать некому. Лучше б повесил какое-нибудь революционное движение.

Председатель безбожников оглянулся и удивленно спросил:

— Вы, товарищ Муха, в безбожниках состоите?

— А как же.

— А почему же у вас до сих пор иконы висят?

— Это другой вопрос.

Молодичка все еще блистала против окон красными ляжками, и Макар уже совсем рассердился:

— Они есть не просят.

— Так это же опиум для народа!

— Может и опиум, а молиться можно и после большевицкого движения. Слезай, жинко!

— Вы же сами голосовали! — не успокаивался председатель безбожников.

— А, понятно, голосовал. Вот берите того, старенького. Один чертяка-шашель и так уже нос ему сточил. Возьмите, пожалуй, еще и Варвару, великую мученицу.

— А тех, других, для чего оставляете?

— Чтобы было на что лоб перекрестить.

Полнолицая молодичка, все еще стоявшая на лавке, со стареньким образом в руках, с недоумением посмотрела на своего мужа, плямкавшего приклеившимся к губе недокурком, затем перевела глаза на посторонних людей и презрительно чмыкнула:

— Да ты же, пес одноглазый, сам вчера наказывал поснимать их!

— А теперь говорю, — отступая от своей молодички, выкрикнул Макар:—Была б цела религия, снег бы пошел, а то на дворе зима, а сно на дождь вьюжится...

Председатель безбожников и комсомолец Васька переглянулись, передёрнули плечами и еще раз напомнили, что уже больше двух тысяч икон снесено на площадь и что завтра их будут жечь.

— Да это еще сказала Настя, как удастся!—загадочно подмигнул Макар. — Чтобы зимой да на дождь вьюжилось, — это тоже понимать надо.

Безбожники, пожимая плечами, пошли из хаты, оставив иконы на столе.

— Мы насильно не неволим, — кинул уже с порога комсомолец Васька. — Чудно только! Даже Караван и тот просил забрать, а безбожник Муха защищает религиозный дурман.

Услышав последние слова, Муха Макар растерялся. Чтобы Караван, который только-что говорил с ним о религии, да просил забрать иконы, — этого он никак не мог допустить. «Нет, враки, не может быть! Они меня только подзадоривают, втравлиют».

Неожиданная история с иконами, особенно же заглядыванье на голые ляжки молодички, вконец испортили настроение Макара, и вместо того, чтобы порадовать свою хозяйку приятной новостью о буланом, он крикнул:

— Долго еще ты будешь столбом стоять?

Хозяйка рассвирепела:

— А ты чего, пес одноглазый, расхорохорился?

Муха Макар втянул голову в плечи, покрутил своим единственным глазом, и уже тише сказал:

— Коня Караван продает.

— Потому что в СОЗ даром заберут, — ответила молодичка, тяжело соскакивая на земляной пол. — Он тоже не дурак. А ну, поколи эти иконки, — будет хоть печь чем растопить.

Муха Макар повертел в руках старенькие иконы и подумал: «Голосовать-то я действительно голосовал, да только кто его знает... А

ну, как там, — он кивнул вверх, — да не будет большевицкого движения, а все по-старому останется? Теперь, когда у меня будет конь, надо, чтоб и в хате было, как у Каравана...»

Глянув испуганно в сторону жены, он отставил образа обратно в передний угол.

— Лучше пойду дров натаскаю... — пробормотал смущенно. — А то топор как будто одолжил кому-то...

Жена проводила Макара насмешливым взглядом и крикнула:

— Инициация-тор!.. Прямо коммуна. Ох, и возьмусь же, кажется, я за тебя!

Эти слова догнали Муху Макара в сенях. Он только виновато шморгнул маленьким носиком, стараясь скорей затворить за собой дверь.

На току Муха увидел дивчину, Караванову дочку. Она зашла, очевидно, из садка и, испуганно озираясь во все стороны, крадась вдоль навеса. Заметив Муху, дивчина остановилась и знаками стала подзывать его к себе. Он сразу проникся какой-то таинственной осторожностью, втянул голову в плечи и на ципочках подошел к ней.

— Что такое? — спросил шопотом.

— Тато просили, чтобы вот это постояло у вас, — тоже шопотом ответила Караванова дочка. — А то мы... — дивчина покраснела и, отвернувшись в сторону, закончила: — собираемся хату мазать.

Макара начала бить лихорадка.

— Что же оно такое? Может быть, страшное?

— Да нет.

— Может, против власти?

— Да нет.

— Ты бы лучше к соседу. Он такой, что и краденое перепрячет.

— Да это образа. Две иконы.

Муха Макара дернулся назад, глянул одним своим глазом на то, что было завернуто в грязную рядюжку, и сердито сплюнул:

— Чорт знает что... Да разве здесь все?

— Нет, дядьку, не все. А тех остальных татко на коммуно пожертвовал.

Теперь уже совсем рассердился Муха Макара и, забыв про осторожность и таинственность, пискнул:

— Поставь в угол! Да не бойся, не запачкаются, дерьмо там прошлогоднее. Христос тоже в хлеве лежал.

Оставив иконы, дивчина побежала назад, а Муха Макара вошел под навес и задумался. Каравана он всегда ставил в пример даже своей жене, как человека религиозного, который без бога ни до порога, хоть жена и возражала, заявляя наотрез, что у Каравана лишь божница важная, а совесть продажная. Но ведь только час тому назад Караван сам вел с ним беседу о религии, и вдруг так обойтись с богами — отдать иконы на коммуно!..

— Лучших он, понятно, спрятал вот здесь, у меня... — говорил себе Муха Макар. — Однако, осквернить хотя бы самого плохенького мученика — все равно же грех?

И потому поступка Каравана Макар не мог понять никак. У него даже явилось подозрение, что Караван хоть и кажется крепким, как дуб, а, наверно, стал сдавать головой. События следующего дня и совсем было убедили его в этом.

С самого утра Сурган - Балка расцвела знаменами. Среди серого неба, земли и хат красный кумач приветливо трепетал на тоненьких древках даже по глухим закоулкам. Против сельбуда над трибуной тоже развевались на ветру знамена, а через всю стену сельсовета был протянут лозунг: «Приветствуем культпоход — стимул к всеобщей коллективизации». Муха Макар не мог добиться толком, по какому случаю так празднично прибралось село, и решил самостоятельно:

«Какая-то гитация будет».

— Должно быть и мне доведется говорить сегодня, — сказал он своей молодичке, которая даже земляной пол в хате посыпала желтым песочком.

— Ты бы лучше других послушал, — ответила ему она. — А то от твоих разговоров и умный дураком делается.

Муха Макар хотел сказать молодичке, что он в конце концов надумал закончить с конем, однако, после таких слов ясно увидел, что у бабы волос хоть и долгий, да ум короткий, и крепко решил, что в дальнейшем будет вести дело относительно буланого один. Для Мухи было непонятно только, может ли он, названный инициатором, не входить в коллектив? Об этом можно было узнать на собрании, на которое уже собирали народ исполнители, — и потому, пообедав все той же картофельной похлебкой, Муха Макар натянул кожух, прижал рукавами полы к подведенному животу и двинулся в другой конец — в сельбуд.

На дворе не по-зимнему гулял ветер. Он яростно кидался с горы на село, надувал тучи, задирали курам хвосты и шипел по улице летучим песком. С этой же самой горы спустился в село целый поезд тачанок. Муха Макар увидел тачанки, когда из них вышли люди и с оркестром во главе тоже направились в сельбуд. Такую музыку он встречал только у сибирских гренадеров, рядом с которыми воевал «за веру царя и отечество» в Карпатах. Играл настоящий духовой оркестр. Муха Макар чаще зашагал мозолистыми чоботами по заско-рузлой земле и, путаясь в длинных полах кожуха, прибежал к сельбуду, уже когда от трибуны все валом ринулись в театр.

Вспотев от упорных усилий, он протиснулся в конце концов внутрь, но что делалось на сцене, около которой гремела музыка, увидеть никак не мог, несмотря на то, что вытягивал шею на всю силу: впереди стояла глухая стена широких спин. Даже подскакивая на ципочки, Муха едва доставал до плеч. С трудом разбирал он и слова



председателя сельсовета. Уже от других услышал: «Писателей в президиум!» — и хлопанье ладоней смешалось с музыкой. Потом кто-то толкнул его в бок и сказал громко:

— Вот он. Муха Макар!

У него захолонуло в груди и он почувствовал, как заныло встревоженное в Карпатах нутро. Что именно случилось, Муха еще не уяснил себе, но его собственная фамилия была произнесена на всю залу так громко, как когда-то вычитывали только кулаков и экспертов, когда подводили к ним план ко двору. Снова поднялся плеск ладоней, и снова кто-то толкнул его в бок.

— Лезь. В президиум выбрали!

Возле самой сцены он натолкнулся на Каравана. Тот придержал его за рукав и на ухо шепнул:

— Не слышал, Босявка записался в СОЗ?

— А что?

— Да к буланому сватается.

И, будто только прикурил цыгарку, споксйно отвернулся от Макара.

На маленькой грязной сцене, где под стенкой висел расписанный белыми полосами синий брезентовый полог, Муха Макар забился в самый угол. Первый раз он видел с подмостков такое множество человеческих голов. От густого спертого воздуха и без того маленькие лампочки едва дышали, и потому, кроме подкатившейся массы распаренных лиц, похожих на огромную грудку сваленных под фонарем дынь, ничего нельзя было разобрать. Однако, он почувствовал на себе чей-то взгляд и, посмотрев слезившимся глазом вниз, встретился с парой тревожных, испытующих Каравановых глаз. В углу стояло еще душ восемь десятипроцентников. Муха Макар растерялся, так как почувствовал себя совершенно не виноватым в том, что за оратора и за инициатора вызвали к столу его — и малограмотного, на рост мелкого, и, правду говоря, бедного, — а не Каравана, который мог бы всех тут покрыть своей толстой сумой.

— Что ж, если минулася ваша власть... — чуть не в голос сказал он, отводя нестремленный глаз к столу. — Я тут при чем? А насчет коня, как уговорились, так и будет, лишь бы ты слова держался.

Пока он был занят своими мыслями, секретарь райпарткома успел уже сделать большую часть доклада. Муха поймал только заключительные слова:

— На сегодняшний день по Сурган-Балке записалось в коллектив шестьдесят три процента населения, — говорил секретарь. — Мы уверены, что на завтра их будет полностью все сто, понятно, без лютейших и хитрейших врагов революции — кулаков. Товарищи! Бывали на свете разные революции, но подобной той, какую сейчас производите вы, еще не знала мировая история, и глухая некогда Сурган-Балка становится предметом изучения мудрейших социал-предателей и предметом восхищения рабочих и крестьян от Нью-Йорка до

Явайских островов. На пороге новой эпохи я приветствую Сурган-Балку от имени культпохода, в котором принимают участие: выездная редакция газеты «Червона Зірка», отряд Красного Креста, представители РКИ, юристы, агрономы, книгоноши, кино и, наконец, наши пролетарские писатели, которые не только словом, но и делом хотят помочь коллективизации!

Сгруженные рядами головы селян затолкались, закачались и гулом и плеском покрыли последние слова оратора.

Муха Макар только сейчас сообразил, в какое торжественное положение попал он благодаря своим ораторским способностям. Концы заскорузлых его пальцев, лежавших растопыркою на коленях, забарабанили вместе с остатками зубов.

— Да здравствует всеобщая коллективизация Сурган-Балки и ее вождь — коммунистическая партия! — выкрикнул, наконец, секретарь райпарткома.

Громко ударила музыка, застучали стулья, уложенные в ряды красные лица сразу поднялись. Муха Макар тоже поднялся и, увлеченный ловко пригнанной речью секретаря, которая даже у него вызвала зависть, не заметил, как сложенные в грудку красные лица снова опустились, а возле покрытого кумачем столика, сбоку от сцены, встал из Далекого Выселка Бугрий и заговорил:

— Пока я жил беспечным лоботрясом, мне с роду родов и слышать не приходилось, что оно такое за писательство. Да и времени не было. Прознал я про писательство только в нашей коммуне «Червона Нива». А теперь не только слышу, даже вижу в Сурган-Балке.

Он повернулся к президиуму и, как-то несмело подняв вверх руку в рыжем рукаве, провозгласил:

— Да здравствует наше писательство! И да здравствует... писательство наше.

Зависть еще больше разобрала Муху и, охваченный звуками «Интернационала», он, даже забыв спросить разрешение, дернулся к столику и лишь за спиной услышал:

— Слово имеет товарищ Муха.

— Товарищи!..

Макар вытянул шею, набрал полную грудь воздуха и уже с пищиком в голосе крикнул:

— Товарищи, я, как оратор, должен сказать, что в коллектив, конечно, всем нам нужно писаться обязательно, потому как англичанка говорит: «Надо итти на них войной, а то, говорит, если большевицкая власть пятилетку за четыре года сполнит, беда нам будет!»

Плеск ладоней, сорвавшись от стола, покрыл залу, и Муха Макар победно метнул взором вниз, но неожиданно накололся там на острый и тревожный взгляд Каравановых глаз. Рядом с Караваном стоял Босьявка и что-то нашептывал ему на ухо. У Мухи сразу все спуталось в голове. Он забыл даже, на чем остановился, и, еще сильнее

вытянув тонкую шею, уже закричал так, будто под ним треснул на реке лед:

— Только ж, товарищи, и про себя скажу, потому, как был я, конечно, бедняк, с пролетарским уклоном, так теперь, когда я имею коня, советская власть должна мне снисхождение сделать и дать самому похозяйствоваться, хоть с годик один.

— Правильно!.. — перекосив усмешкой губы, пустил в залу Караван.

— Что ты несешь? — закричали другие. — Дудка ты кулацкая! Подголосок.

— Правильно говорит, — снова пробурчал кто-то возле Каравана. — Пусть голода идет.

Сложенные в ряд красные лица раскатывались, ревели, открывали черные дырки и кричали так, что Макар не мог ничего понять. Он никогда не рассчитывал, что его речь может поднять такой шум, какого не мог вызвать даже секретарь парткома. Подзадоренный голосами из угла, где стоял Караван, он не крикнул, а уже пискнул:

— Я коллектива не провергаю, однако, всякая пташка на волю хочет!

Председатель сельсовета растерянно поглядывал на президиум и упорно бил звонком по столу, а сложенные в круг головы все еще гремели:

— К чертям его! Долой! Подголосок...

— Ах ты, пес одноглазый! — услышал, наконец, Муха из густого крика знакомый голос своей молодички. — Что же ты окоlesiцу несешь? Извините за выражение слова: врет он! И коня у него никакого нет. Не слушайте! Будет так, как я скажу: в коммуны пишите!

— Хотя бы в СОЗ и то хорошо, — поправил ее откуда-то из середины заплесневевший старикашка.

— В коммуны! На чорта в СОЗ? — уже угрожающе кричала молодичка. — Чтобы потом опять бамаги ломать?

Муха Макар уже отступил было назад, но, вспомнив Каравановы слова, снова дернулся к столику и затряс кулаком:

— Как я недействительный уже, так ты хочешь, чтобы тебя тоже коллективизировали и парубков тебе назначили?

Председатель сельсовета, отбив ручку колокольчика, стучал по столу кулаком и кричал:

— Товарищ Муха! Граждане!.. Муха!..

А Муха на всю силу тоненьким голоском кинул в ревушую кашу смеющихся лиц:

— Я уже кончил. Да здравствует коммунистическое движение!..

Один из трубачей рывкнул в трубу, но, не поддержанный остальными, смущенно замолк.

Еще больший шум поднялся, когда слова попросил Караван. Разложенные рядами головы выкрикивали разными голосами:

— Кулак!

— Десятипроцентник!

— Не давайте!..

— Дайте!..

Караван, держа кусок бумаги в руках, пролез к столу и с деланной покорностью начал говорить размеренным голосом:

— Вы меня знаете...

— Как облупленного! — вставила старушка, закутанная в платок с ушками на голове.

— Сумой я не богат, денежного капитала не имею, советскую власть уважал и образа на погорение пожертвовал.

«Да не все...» — подумал Макар.

— Чужим трудом не любил пользоваться.

«А все больше с десятого снопа...» — метнулся вставить Муха, но, весь дрожа от волнения, ждал только одного, чтобы Караван скорее поддержал его предложение, и потому, зажав в себе все слова, слушал размеренную и покорную речь:

— А теперь я такого мнения, — продолжал Караван, — чтобы все мое хозяйство на коммуны отписать, лишь бы только она дала мне обеспечение. А от таких, как Муха Макар, коммуна хлеба есть не будет, хотя бы мы и приняли его. Вот вам и заявление мое, чтобы вписали в СОЗ.

И подал белую бумажку в президиум.

Муха Макар, как крыльями, взмахнул своими полами, ударил пальцами по уху, точно по неверной струне, и очумело уставился единственным своим глазом на Каравана. Однако, тот, не оглядываясь, размеренно и покорно сошел с помоста под настоящий рев, поднимающийся в зале.

Муха Макар не мог понять, что случилось. Он только почувствовал, как тревоженное в Карпатах нутро его нестерпимо заныло, — и все, что говорилось и делалось потом, доходило до него уже, как через глухую стену. Очнулся он немного, когда опять услышал знакомое слово «Муха». Его повторяла старенькая бабка, повязанная теплым платком с ушками на голове:

— Аж дрожит у меня все в середине, — говорила она сквозь одышку. — Бумагу Караван подает! В коммуны примите его... Шкуру овечью надел! Да у тебя же волчий хвост всю жизнь сзади видно будет!..

Ушки на теплом платке прыгали у бабки над головой, как у зайчика. Наконец, она взялась в боки и, повернувшись в угол, где стоял Караван, угрожающе закричала:

— Ух ты, проходимец! Сколько на тебя поту пролито, а теперь тебе еще и «обеспечение»!.. Да скажи спасибо, если тебя живого выпустят. В шею его, товарищи! Видите, как опутал Макарку? Как паук муху! Если тот на него всю жизнь работал, так он дерьмо, а я хороший, потому денежный капитал даю. Врешь! Не удастся обдурчить.

Макар хоть и дурак, да не вашей паучьей породы. Разорвем все-таки ваши тенета, освободим мух от пауков!..

Снова громко гремели трубы, снова подымались и опускались разложенные рядами красные лица. Потом они повскакивали с мест и беспорядочно покатались к дверям.

Выкатился вместе с ними под темное небо и Муха Макар.

Серыми пятнами, перекликаясь разными голосами, толпа, как в свадебном поезде, повернула за угол и направилась в поле, на взгорбок, где, выскочив из села, в разукрашенных снежным инеем тополях стояла церковка. Ветер налетал с горы на село, крутил тучами, отрывал полы кожухов и сдувал с губ слова, будто стирал их быстрыми холстинами. Муха Макар спотыкался о дорожные кочки вместе с другими. Единственный его глаз заплывал от ветра слезой, и он еще никогда не чувствовал себя таким маленьким, немощным и огорченным. Его брала едкая обида на Каравана, который, очевидно, заранее все знал и пошел на такое издевательство, а вместе с собой, как Христа на Голгофу, повел и его, Муху, всю жизнь работавшего за десятый сноп.

— Не покорился он, врет... — шептал самому себе Макар. — Знает он что-то... Знает... Заступления ждет. От бога?..—пришло вдруг в голову, и Муха сжался.

Сквозь топот и гомон он услышал впереди бормотанье и узнал размеренный и таинственный теперь голос Каравана:

— Спят они себе крылышки, а не иконы...

Лишь теперь Муха Макар сообразил, что он вместе со всеми идет на площадь, к церкви, куда были снесены в кучу иконы со всего села.

— Спят себе крылышки... — повторил он. — Знает что-то, знает... — уже с тоской подумал про Каравана. — Иконы святые! И аккуратно выюжится на дождь.

Первые шустрые и ловкие фигуры уже добежали до площади и стали тесным кругом. Через несколько мгновений внутри круга зажегся желтый свет, и серые фигуры сразу сделались черными и плоскими, а над их головами взлетел, заколыхался сизый дымок.

У Мухи Макара страхом застучало сердце. Вытирая заскорузлой рукой слезившийся глаз и непрерывно спотыкаясь, он кинулся трусцой догонять спешившую толпу.

Возле церкви, на площади, рядом с белой оградой, сваленные в кучу, как старые обрывки листового железа, иконы уже занялись дымом, когда, наконец, Муха Макар пробился сквозь густую стену селян, все еще сыпавших шутками, точно в шумном свадебном шествии. Большие и маленькие иконы, в киотах и просто на темных досках, поднимались огромной горой, а внизу уже высывались из-за углов красные языки.

— Горит, бабуся? — усмехаясь в рыжие усы, сказал в красном дубленом кожухе рыжий коллективист.

— Горит, сынку... — ответила старушка с ушками на голове.— Это только у дураков бывает холодный огонь.

— И ваши здесь?

Старушка ткнула палкой в кучу углей.

— Хоть зола будет... И то пользы больше, чем от плесени по углам.

Вокруг пылающей купины шмыгали мальчишки и, закрываясь от жара руками, сбивали в огонь висевшие в разных концах дощечки.

— Горит?

— Горит!.. — раздавалось кругом, как-будто шипел перед ними не огонь, а пойманный, убиваемый змей.

Муха Макар уставился мокрым своим глазом на старенький образ, повисший меж другими. С доски, источенной древесным червем, без носа смотрел на него ошеломленными глазами седенький старичек, а его сбитую в густой войлок бороду уже гладил огонь. У Мухи еще сильнее защемило под сердцем. Около Каравана стояли вкопанными в землю столбами такие же старики, как и на иконе, и подслеповатыми глазами смотрели с надеждой в одну точку — на образ пышной девы, которая в желтосиних одеждах завершала собою кучу ветхих богов. Кругом уже пылал огонь. В безмолвное небо с треском срывались искры, а с обгоревших образов на землю сыпались угли. В кровавых отблесках то приближалась, то отдалялась белая церковь, прячась за украшенные инеем деревья.

— Горит?

— Горит! — вместе с искрами взлетало тут и там вокруг огромной кучи и мешало Мухе собраться с мыслями.

Он знал, что что-то должно произойти, и видел, как Караван не раз уже с нетерпением поглядывал в небо, откуда давили на головы темные, клубящиеся тучи, насыщенные дождем.

Огромные овалы труб медью блеснули среди толпы и ритмичные звуки загрели о землю. Весь черный, в такой же черной шапке селянин вывернулся из освещенного пламенем круга, осел на пятки и с напряженными вывертами пошел вкруг огня, озарявшего золотыми латками темноту. В такт его пляске сорвался залихватский плеск ладоней. Вслед за черной тенью замел красным кожухом уже расцветший смехом рыжий коллективист. Он так же медленно вгоняя каблуками в землю слова, повторял все движения первого. Против огня блестели молодые глаза, и в такт пляшущим мужикам пристукивали ногами десятки сгрудившихся людей. Только Караванов круг с надеждой и ожиданием, молча, смотрел в одну точку — на пышную деву в желто-синих одеждах, которая все еще нетронутой лежала среди огня. Время от времени этот седобородый круг взглядывал вверх, на темные валы туч, насыщенные дождем.

— Горит?

— Горит!

«Случится, случится... обязательно случится»... — как заведенная машина, чуть не истерично твердил Муха Макар. — Иконы же святые!.. Случится... Бог не допустит...»

Сквозь огненную сетку он вдруг увидел какое-то движение, затем кто-то белый прошел в расступившийся коридор. В этот момент над Макаровой головой председатель безбожников, взобравшись на стол, выкрикнул:

— Горят боги, и небо молчит...

Муха Макар ошалел, онемел от смятения. Ноги под ним мелко задрожали. «Ну вот, — подумал он, — надо б сейчас! Хоть бы поп, он же мученик, — ведь так говорил Караван? Взял бы крест в руки, разодрал бы на себе ризы и крикнул людям: «Дети божьи, что вы наделали? Зачем мучите святых на огне? Кайтесь, дети! Христос простит. Христос воскрес»... И он бы запел, и Караван бы запел: «Христос воскрес! Христос! Христос!». Колокола бы ударили, и человеческий гомон, крик смешался бы с колокольным звоном. Может произошло бы чудо, погас бы этот огонь, замолк оркестр...»

Оркестр действительно уже молчал, а над головой неслось: «Христос! Христос! Для рабов его создала буржуазия».

Муха Макар моргнул затопленным слезой глазом: со стола все еще говорил председатель безбожников, и все глаза, все уши ловили его слова, только около Каравана стояли, как вкопанные, старики и угрюмо смотрели уже в землю. Образ пышной девы в желто-синих одеждах, треснув надвое, горел в красном огне.

Мимо Каравана прошел в белых штанах весь белый старичок, церковный сторож, и сказал тому, что стоял на столе:

— Ключи от церкви. Натее...

И усмехнулся:

— А поп сбежал куда-то еще три дня тому назад... — и снова усмехнулся.

Он весь был как иней.

— Сбежал три дня тому назад. Идите в церковь, а то дождь будет.

Иконы догорали и густо устилали землю пышущими углями.

На стол влез агроуполномоченный, сегодня только избранный, из бывших Каравановых батраков и громко возвестил:

— Товарищи, начнем новую эпоху в новом клубе. Кто еще не записался? Идите в бывшую церковь, там закончим списки и там же составим план.

Хлестко полетел холодный, пронизывающий дождь.

Муха Макар растерянно оглянулся. Оркестр победно гремел уже в церкви, и последние фигуры селян скрылись за ее тяжелыми дверями.

Около кучи углей, закутившихся на дожде дымом, стоял в некотором отдалении в поредевшем уже круге стариков Караван. Му-

ха Макар почувствовал как бы какое-то тепло в груди и шагнул к ним, но Караван опустил мимо него свой взгляд, и молча пошел село. За ним, опираясь на палки и клюшки, так же угрюмо и молча потянулось человек восемь стариков. Муха Макар остановился и замигал слезящимся глазом. Площадь опустела совершенно, только один он, Муха, стоял, скорчившись, как забытая в степи копыта. Пронизывающий ветер с дождем продувал насквозь его улепленный латками кожух и заставлял дрожать, как закоченевшую на снегу собаку. Но еще больше дрожал Муха от той обиды, какую нанес ему Караван. Взгляд единственного «нестревоженного» глаза Мухи, провожавший Караванову кучку стариков, наполнился лютой ненавистью.

Из-за ограды вывернулась вся закутанная в платок старушка с ушками на голове. Она увидела Макара и сердечно сказала:

— Думаешь, сынку? Думай...

Пристукнула палкой и, шаркая ногами по земле, заковыляла к тяжелым дверям, откуда гремел духовой оркестр.

Муха Макар посмотрел на серую, прибитую дождем кучу золь, на торжественно освещенные окна бывшей церкви и почувствовал, как щекощущий горкий стыд пополз по его мокрому лицу. Он тряхнул головой, поскреб изъеденную молью бородку, подобрал полы кожуха и виноватой походкой направился на звуки оркестра.

*Авторизованный перевод с украинского  
Владимира Юрезанского*

---



# Как прячутся от времени

Рассказ

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

## I

Неисправимый народ художники! Счастливы кисти и любимцы жизни Рубенс и Ван-Дик испортили внешность их на три столетия, и теперь еще случается у нас — отращивают они длиннейшие волосы, откапывают где-то широкополые бандитские шляпы, надевают их живописно на правый бок, и если не всегда бывают в плащах, то необыкновенного покроя куртки из темнозеленого или рыжеватого полосатого манчестера с ними неразлучны; и теперь еще в нашей трезвейшей стране вид у них мечтательный, и глаза их стремятся найти рядом с тем, что для всех очевидно, что-то неуловимое, едва мелькающее, чуть-чуть очерченное, неясно-окрашенное, скорее всего несуществующее совсем.

Такой именно художник и бродил в июне по кладбищу одного из кавказских городов. В картинных волосах его под старой, но опрятной панамой увязло уже достаточно седины, небольшая борода была не моложе по виду, но серые глаза глядели еще двадцатилетне, с большим, расширившим их любопытством.

Сюда, на Кавказ, он приехал с севера, откуда давно уж не выезжал, и все его здесь занимало, как может занимать только художников и неиспорченных детей. В руках у него был небольшой карманный альбомчик, и он привычно-бегло набрасывал в него то памятники сквозь деревья, то деревья, осенившие памятники. Кладбище было из старых: попадались памятники столетней давности, попадались и очень странно звучащие теперь старинные надписи, — их он тоже заносил в свой альбом.

В силу странной работы мысли, которая только у художников может отбрасываться от настоящего далеко в глубину веков, он думал теперь на кавказском кладбище в июньский день 1929 года не о себе, не о своем, не о том, что видел он час назад в этом городе, не о том, что видел дней десять назад в своем северном городе, — он думал о голландском городе Гарлеме, где в 1664 году умирала от легочной чумы возлюбленная художника Корнелия Бега (ученика Ван-Остада),

певца и музыканта, человека скромного, робкого, преданного. Он представлял, как в этом патриархальном Гарлеме по ночам ходили: с факелами могильщики в черных масках и просмоленных плащах и крючьями на длинных шестах выволакивали из домов тела умерших. И осязательно, гораздо живее и яснее, чем это кладбище около него, видел он сейчас улицу Гарлема, небольшой дом с низко над землей расположенными окнами и около одного из окон, за которым лежала она, обреченная неизбежной и скорой ужасной смерти, самого Корнелия, длинноволосого, в бархатном синем берете, с небольшой курчавящейся, светлой бородкой. Он обезумел от горя; он хочет влезть к ней в окно; едва удерживают его, раньше такого кроткого, два дюжих друга... Но вот он всовывает через окно к ней палку свою, умоляя: «Поцелуй хоть палку эту так же крепко и любяще, как меня целовала!» И когда друзья выхватили палку, конец ее был уже заражен умирающей, а он, Бега, покрывал его поцелуями. И через три дня он умер, и труп его вытащили смолеными крючьями люди в просмоленных плащах.

Случайно вызванное из памяти это маленькое событие в маленьком Гарлеме, совершившееся 265 лет назад, занимало его теперь неизвестно почему: потому ли, что самому ему, как и Корнелию Бега, шел сорок третий год, потому ли, что сам он был скромен и робок, потому ли, что месяца три назад у него умерла жена, с которой вдвоем перенес он много за последние двенадцать лет, когда перестало уж казаться кому-нибудь нужным его умение владеть красками.

Сложения он был некрупного, в плечах не широк, в поясе тонок. Когда он зарисовывал памятники и купы деревьев, он делал это тщательно, остро вглядываясь во все очертания, но в то же время держалась в мозгу, никуда не выпадала узкая улица Гарлема, и он думал, что, придя в гостиницу «Франция», набросает ее в другой большой альбом.

Он знал, что это будет никому решительно не нужно, кроме него, так же, как никому не нужен и этот рисунок кладбища, но рука привычно чертила в альбоме, а мысль еще деятельнее чертила в мозгу.

Он приходил на это кладбище еще два раза раньше, и ему нравилось, что оно так пустынно. В первый раз он увидел на нем только двух девочек— чернуюголовую побольше и белоголовую поменьше, которые резали серпами густую и высокую траву и раскладывали ее рядами для просушки, а во второй раз он прошел мимо двух парней, которые копали могилу и из которых бросился в глаза особенно один, очень широколобый. Теперь, обойдя все кладбище, он никого не встретил. Такое равнодушие живых к покойникам объяснил он бурным темпом нашего времени, исключаящим заботы о прахе предков.

Ему нравились здесь могучие осокори с почти березово-белыми стволами и белой изнанкой листьев; чтобы лучше вобрать их слегка смолистый запах, он старался шире раздуть ноздри узкого носа. Белые акации здесь уже отцвели, и опали венчики их цветов, устилая

могилы, но слабый запах от этих опавших, нагретых солнцем венчиков еще оставался в воздухе. Серенькие пеночки болтали в густейшей сирени негромко уже, не по-весеннему, и эта болтовня их тоже как-то была ему необходима, чтобы дополнить настроение грусти, отрешенной и деятельной в одно и то же время.

Он заметил, что дорожки на кладбище были чисто подметены и посыпаны желтым песочком, а где росли за оградами могил цветы, они были густы, сочны, душисты,— видимо никто не рвал их зря целыми охапками, за ними был уход, их поливали. Над цветами гудели облепленные золотой пылью пчелы, а гуденье пчел художник так же любил, как болтовню пеночек.

В этот день на кладбище особенно привлекла его небольшая церковь над склепом редкостно найденным соотношением линий. Как будто простая с виду, она была очень тонко обдумана в каждом повороте карнизов, в наклоне крыши, сделанной из четырехугольной аспидной гладкой черепицы, в небольшой колоколенке над этой крышей с празднично висящими тремя маленькими колоколами, от которых вниз не тянулась даже веревка. На фронте очень естественно был вылеплен голубь, распростерший крылья так, что, казалось, вот сейчас он, белый, сядет на круг из пышно сплетенных белых лилий.

Художник обошел всю церковку кругом, пытался заглянуть внутрь ее через окно с железной решеткой в середине, но окно было чрезвычайно запылено, и едва мерцал сквозь него иконостас. Тогда, стоя на сколько было нужно, он начал зарисовывать и эту церковь и успел уже набросать ее до половины, когда сбоку его, в кустах, послышалось густое покашливание, похожее на львиный рык, и к нему вышел человек лет сорока трех-четыре, рослый, плотный, выпуклый, в белой длинной рубахе под ремешок, которые зовутся толстовками, в коричневой соломенной шляпе, с густой рыжей длинной бородою и с волосами, подстриженными в кружок на уровне прижатых ушей.

Художник прикрыл альбом, как делал это всегда, когда к нему подходили: он был скромн и даже, пожалуй, застенчив, а подошедший остановился не больше как в трех шагах, кашлянул и спросил глухо, но очень серьезно:

— Чем могу вам служить?

Художник удивленно поднял редкие бровки, почесал впалую щеку карандашом, ответил:

— Немножко не понимаю вашего вопроса, прстите...

— Не понимаете?

Подошедший уставился в его глаза немигающими круглыми странно-желтыми глазами, поднял волосатую кисть руки до ремешка на рубахе и добавил, ткнув в ремешок пальцем:

— Я—арендатор этого кладбища!

Художник слегка дотронулся до панамы, протянув неопределенно:

— Во-от как!.. А у вас, я заметил, большой тут порядок...

— Что?.. Порядок?.. Да, конечно, порядок... А какая вам надобность во мне?

— Помилуйте, какая же может быть мне в вас надобность? — удивился художник.— Умирать я еще не собираюсь...

И в голосе его — он был слабогрудого тенорового тембра — были и оторопь и веселость; художник даже улыбнулся одним краем рта.

— А если никакой нет надобности и даже смешно это вам как будто, то зачем же вы сюда вошли, скажите?.. Сюда посторонним вход воспрещен!..

— Неужели?.. Почему же так строго?

— Не полагается, и все!.. Об этом сказано в объявлении,— висит на воротах...

— Не обратил внимания...

— Это как же так не обратили внимания, когда вы списывали его, когда в первый раз сюда явились?

И одутловатое, тугое лицо арендатора кладбища стало строгим.

— Да, верно, я что-то там списывал,— вспомнил художник.— А вы откуда же это знаете?

— Обязан знать все, что касается моего кладбища!

— Ага... Гм... Вот, кстати, скажите же мне, давно построена эта церковь? — беспечно кивнул бородкой художник на дверь, обитую железом, покрашенным в серый цвет.

Но этого вопроса как будто ждал арендатор, чтобы оглядеть очень зорко всего художника, начиная от черной ленты на панаме и до кончиков его парусиновых туфель, и ответил расстановисто и чуть сузив глаза:

— Это совсем не церковь... Это — часовня...

— Вот как?.. Часовня?.. А как же я видел в окно иконостас, а за ним — алтарь?.. Правда, алтарь маленький...

— А я вам говорю, что часовня!

Тут арендатор подбросил голову и засопел коротким, но тугим, ноздреватым носом, добавив:

— Что касается церкви, то она тут одна, при входе на кладбище.

— Ту я видел, конечно, но эта, признаться, мне нравится гораздо больше,— беспечно сказал художник и улыбнулся.

— Это я вижу! — очень зло ответил арендатор, и глаза его теперь — неподвижные, круглые, янтарного оттенка — показались художнику знакомыми: он видел именно такие у подбитого охотником там, у себя на севере, этой весной ястреба-тетеревиатника.

Он сказал арендатору:

— Мне не только архитектура нравится... Я воображаю, какая там должна быть интересная живопись, в этой церковке!

Тогда арендатор протиснул сквозь зубы:

— Я вам говорю, что часовня это!.. Хотя говорить с вами зря я не обязан...

И добавил в полный голос:

— А вот попросить вас времени у меня не отнимать,—это я могу!

— Не я к вам, ведь вы ко мне подошли,— удивился этому полному и густому голосу художник.

— Я — хозяин этого кладбища, я и подошел, а вы мне тут... очки втираете!.. Вот пожалуйста с моего кладбища, так как мне надо занереть калитку!

— Как так с вашего? — обиделся художник.

— С арендуемого мною, да-с!.. Вот и пожалуйста!

И арендатор придвинулся вплотную к художнику, выпятив по-лебяжьей грудью, а художник отступил на шаг, выдохнув:

— Вот так дичь!

— У вас в голове! — крикнул арендатор, наступая.— В голове у вас — дичь!

Художник оглянулся мельком, куда можно ему отступить еще, и спросил тихо, но совершенно серьезно:

— А вы... не сумасшедший?

Тогда плотный, рослый человек с рыжей бородой и в белой толстовке еще заметнее уярчил глаза и, тоже понизив голос, сказал выразительно:

— Я т-тебе т-такого сумасшедшего покажу, что т-ты до города будешь лететь, как... шар воздушный!

Он сжал добела туго оба кулака, и, убедясь, что перед ним действительно сумасшедший, художник быстро повернулся и пошел в направлении к воротам, все убыстряя шаги и предусмотрительно повернув голову кзади, а сзади еще слышался какой-то неразборчивый, однако, нелестный для него густой рык.

Когда он проходил в калитку, то мельком заметил на дворе слева, в открытом сарае, двух ребят, похожих на тех, которые рыли могилу, только один из них строгал рубанком, другой бил молотком по глыбе камня, а дальше, около церкви, он наткнулся на бабу в желтом платке, по виду — казачку из пригородной слободы, стоявшую рядом с другой бабой, простоволосой, приземистой, черной, похожей на армянку.

Эта, в синем нескладном платье, полоскала кучу белья около водопроводного крана, и художник заметил ее в подробностях потому, что уже видел ее здесь же в первый свой приход, и потому еще, что она сама очень пристально тогда на него поглядела.

Между кладбищем и ближними домами было пустое поле минут на двадцать ходьбы, да и то это был еще не город, а пригородная слобода казачья.

Художник, часто в недоумении подымая плечи и брови, остановился на полдороге к слободе, очень закудрявленной частыми садами, а когда обернулся назад, то увидел, что странный человек, назвавшийся арендатором кладбища, стоит уже без шляпы на паперти церкви, напяливая на толстовку черную рясу, а рядом с ним, одергивая эту рясу, торчит совсем маленький, белоголовый мальчик в ро-

зовой куцой рубашонке без пояса и тут же казачка в желтом платочке стоит и держит в руках коричневую соломенную шляпу. Потом все они трое вошли в церковь.

Это так заняло художника, что он, забыв обиду, подвинулся к церкви и сам и вошел на паперть.

В церкви он увидел попа с круглой лысиной на темени, в епитрахили поверх рясы. Он служил панихиду очень быстро, но отчетливо читая наизусть все, что полагается, казачка, истово крестилась, а мальчуган, такой маленький, не больше, как лет семи, босой и распоясый, совсем не по-детски серьезно раздувал в уголку кадило, делая при этом страшные глаза, потом спеша понес его попу.

Художник достоял почти до конца панихиды, устроившись около дверей, видел, как баба чмокнула серебряный крест, потом толстую руку арендатора кладбища и сунула в эту руку рублевую бумажку, но, заметив спрашивающий издали и открыто ненавидящий уже знакомый, обращенный к нему взгляд круглых желтых глаз, вышел. Спешить ему было некуда, — он шел медленно, и казачка в желтом платке, задевая припадающей левой ногой пыльную дорогу, догнала его — загорелая, с крупными морщинами около рта.

Она сознательно забрала в сторону, обходя его, но он спросил, обернувшись:

— Это кто, поп служил вам панихиду?

И только тогда понял, что вопрос получился совсем нелепый, когда казачка, скосив на него строгие, белесые глаза, ответила вопросом же:

— Ну, а как же не поп?

— Гм... Конечно... Как-то он все-таки... И кто же он такой? — несвязно забормотал художник.

— Как это кто такой?.. Отец Лука! — еще строже ответила женщина и яростно пошла вперед, заметно пыля левой ногой при каждом танцующем втором шаге.

## II

В этот день за обедом рыжебородый Лука был более, чем обычно, строг к своему выводку, плотно обсевшему круглый обеденный стол.

Отправляя в полнозубый рот, отлично приспособленный для речей, пения и обедов, ложку за ложкой, он взглядывал исподлобья то на одного, то на другого из детей и говорил, выбирая из своего голосового богатства только средние, глухо рокочущие ноты:

— Почему, Степан, не подвинешь ты солонки Евфалии, чтобы не тянулась она через весь стол?.. Не-ве-жа!.. Вы живете, как на острове, и должны все держаться друг за друга зубами и помогать... а ты даже соли сестре подать не хочешь!

Степан, старший, лет шестнадцати, очень широколобый и плотный больше, чем все остальные, похожий на отца и с такими же круглыми, желтыми глазами, отозвался, чуть усмехнувшись:

— Нужно же понять, что она за солью тянется!.. Зачем ей соль? Разве борщ несоленый?

— Для меня — несоленый, да! — отозвалась Евфалия, откачнув черноволосую голову, выпятив острый подбородок и в то же время заострив кпереди плечи, что означает у девочек-подростков по четырнадцатому году недоумение, обиду и вызов.

Тебе соль не нужна, мне вот тоже не нужна, а ей понадобилась после того, как половину тарелки съела... почему это?

Так как Лука глядел в это время на среднего сына, пятнадцатилетнего Евтихия, то он, подумав, ответил:

— Ясно: соляной кислоты в желудке мало.

Он был горбоносый, похож на армянина, как мать, сухощав и дупоглаз.

— Петр! Утри нос! — свирепо поглядел в это время Лука на младшего, белоголового, лет семи, вытер усы салфеткой и заговорил:

— Вот ты понимаешь, Евтихий, насчет кислот, — меня этому не учили, — и мог бы из тебя доктор выйти, а ты исключен из школы за мое поповство и должен кресты строгать... Однако, не пеняй, — живешь ты на свежем воздухе и ешь вволю... Цени это!.. Между прочим займись механикой... И ты тоже, Степан... У вас есть свои деньги, купите книги... И говорить! Механике и говорить!.. Два эти искусства — основа у нас всего!.. В сарае работаете вместе, — говори друг с другом, говори, — понимаете? — а не молчи!.. Только дураки молчат, потому им сказать нечего, а вы — споры!.. И не в два слова спорь, а целой речью... Также могилы когда копаете... А когда отдыхаете, сломанные часы почини, примус поправь, — вот какой должен быть ваш отдых... Дарья! Сиди прилично!

Дарья, лет десяти, такая же белобрысая, как Петр, и сидевшая с ним рядом, в это время вздумала ущипнуть братишку за голую коленку, и он пискнул.

— Дом у нас кладбищенский: арендатору полагается жилплощадь... Уплотнять его здесь некем, — от этого мы избавлены... А церковь, из которой я ушел сюда, говорят, не сегодня-завтра закроют: хор имели, а певчих не страховали!.. Теперь из страхкасы иск предъявляют в пять тысяч, а?!.. Где им такую сумму собрать! Ни за что не соберут!.. Значит, прикроют... Теперь вопрос: куда оттуда о. Афанасий пойдет?.. А мне аренда дана на пять лет!.. Еще, значит, вам обещено четыре года... четыре же года — это срок!.. Через четыре года даже и Петру будет одиннадцать!.. Петру одиннадцать, Дарье четырнадцать, а тебе, Степан, двадцать! Ка-ко-во?..

Так как приземистая, в синем, попадья собирала в это время тарелки от борца и устанавливала гору их на кастрюле, чтобы отнести в кухню, Лука подмигнул ей как-будто даже несколько удивленно:

— Каково? Двадцать!.. Тогда пусть женится, если хочет, и—на свои хлеба... Евфалия — замуж выйдет... Евтихий — он тоже со счетов долой через четыре года... Останутся, стало быть, двое с нами: Дарья и Петр... Та-ак!.. Покупайте книги, какие нужно, Степан и Евтихий, я тоже буду вместе с вами механике учиться!

Попадья сказала только:

— А у прежнего арендатора на сколько лет бумажка была составлена? — и пошла на кухню с тарелками.

Лука подобросил было голову, кинув ей вслед:

— Под меня не подроются, нет! — однако, очень внимательно стал разглядывать всех своих пятерых и только коротко чмыхал носом, а те тоже молчали, занимаясь каждый своим: Степан щупал немалый уже бицепс на правой руке, Евтихий обгрызал заусеницы, Евфалия растегивала рукавчики блузы и закатывала их выше локтей; Дарья заплетала распутившуюся льняную косичку, укрепляя в ней голубую ленту, а Петр проворной горстью ловил мух над куском своего хлеба.

Комната, в которой обедали, была большая, но стены голые, на окнах — сетки от мух, потому что окна выходили на двор, откуда тянуло запахом сухого кизяка.

Когда принесла попадья из кухни огромную сковороду жареной картошки с коричневыми кусками печенки посередине и сама принялась накладывать всем на тарелки, Лука сказал ей небрежно:

— А этого, в панаме, я с кладбища, конечно, прогнал!.. Наш брат — живец, разумеется, но-о хитро-сти непомерной!..

— Прогнал?.. А он что?.. Пошел?.. — забеспокоилась попадья.

— Да ведь ехать ему было не на чем... пошел, конечно... Я его на месте застал: подробную опись всему кладбищу делал и.. плани-ровал!...

— Что?.. Ведь говорила я!

У попадья застыла ложка в руке, глаза стали, как из черного стекла, и побелел загнутый нос.

— Твоя правда!.. Очень расспрашивал насчет церковушки... Для меня ясно: полкладбища, подлец, хочет оттяпать!

— Если не все! — вставила Евфалия.

Лука посмотрел на дочь, и голос его стал торжественным и важным:

— И несмотря, что я его с кладбища погнал, чуть только панихиду я начал служить бабе этой, он, понимаешь ли, тут же, в церковь, и стоит!.. Вот Петр его видел.

— Видел, мама! Я видел! Видел!..

Выпустив зажатую в кулак муху, Петр засиял, заболтал ногами, наконец, поднял колени и уткнулся в них подбородком.

Попадья тянулась в это время с ложкой картофеля к тарелке Евтихия, но от беспокойства и оттого, что не могла отвести глаз



с лица мужа, высыпала картофель прямо на белую клеенку стола, беззвучно прошептав при этом:

— И что же он в церкви?

— Конечно, все осмотрел пристально, однако, в конце-концов, смылся... Теперь он, разумеется, в отдел местного хозяйства пойдет: я мысль его понял!

Лука нанизал на вилку сразу несколько кружочков картошки, выбирая самую поджаристую, и, когда она захрустела у него на зубах, добавил:

— А мысль эта та, чтоб за аренду полкладбища хо-ро-шую цену им предложить,— вот эта мысль!

— Если не всего кладбища! — сказала Дарья, протягивая тарелку матери.

— Вот тебе и четвертый за один год!.. Сколько же будет их за пять лет? — спросила попадья испуганно-тихо.

Петр стал на стул и старался свою тарелку протянуть к матери ближе, чем сестра.

— Сядь! — крикнул на него Лука и добавил. — Этот четвертый — он самый хитрый... Те трое прямо ко мне приходили, не приму ли я их в долю, потому что деваться им некуда, а э-тот... Этот окольным путем действовать хочет!.. Не иначе у него в местхозе знакомство есть... Сиди ровно, Евфалия, а то горб наживешь!.. Этот по-хозяйски плани-ро-вал!..

— Чепуха! — сказал Степан, дожевывая реченку. — Договор пишется, чтобы его соблюдали... Раз арендный договор есть...

— То его найдут невыгодным,— досказал Евтихий, а Евфалия добавила:

— Кольев набьют, колючую проволоку натянут, и все.

— Петр! — крикнул Лука на младшего, все еще не получившего картофеля и опять вскочившего на стул.

— И размножится кладбище наше делением, как инфузория,— угрюмо буркнул Евтихий.

— Поди сам в местхоз, а не жди! Узнай, какие у него такие планы,— сказала попадья, леденя мужа черными стеклами глаз.

Но Лука отозвался бурно:

— Планы его?.. На его планы у меня свои контрпланы есть!.. И контрпланы эти я скорее его, подлеца, могу в дело пустить!.. Пусть он знает: захочу — и в два счета сделаю!.. По-ду-ма-ешь, какая явилась зеленая гля!.. Дарья! Сиди смирно, тебе говорят, а то выгоню из комнаты вон!

### III

Год с небольшим назад на прежнего арендатора кладбища поступил донос, что он в девятнадцатом помогал белым. Донос был за подписью Луки Суховерова, служителя культа, и не позже как через месяц сам Лука Суховеров, подписав еще и другую нужную бу-

магу, договор с местхозом, перевез сюда свою большую и дружную семью.

Уволенный из школы, Степан начал учиться каменотесному делу и теперь довольно исправно владел нужными инструментами; Евтихий выполнял заказы на деревянные кресты из дубовых пластины; Евфалию пока еще не исключали из школы, и на ее обязанности было делать в городе те или иные необходимые мелкие покупки; Дарья училась дома и помогала матери на кухне, а теперь, летом, должна была еще поливать цветы на могилах и посыпать дорожки песком. Петр обязан был помогать отцу в церкви, и если отец служил заупокойные обедни, то Петру, даже и летом, полагалось надевать новые ботинки.

Так как со старыми могильщиками выходили частые споры, то Степан и Евтихий взялись рыть и могилы сами, но с тем, чтобы с каждой отчислялось в их личную пользу по рублю на брата. Лука подумал и согласился, и этим их деньгам, которые у него же хранились, велся особый счет.

Кладбище было обширное. Город основался еще при Александре I, и с тех пор все везли и везли на это кладбище покойников знатных, сановных, чиновных и совсем незнатных, совсем нечиновных. Однако, нечиновные с течением времени покрылись одними чиновными, и могил без памятников и чугунных или железных оград в середине кладбища уже не было, а ближе к церкви памятники были исключительно из мрамора белого, черного, серого, больших размеров и очень дорогой работы.

Нужно было разобраться в своем новом хозяйстве, и Лука все семейно обошел кладбище, найдя на нем много примечательного.

Об одном вместительном склепе, в котором не было никаких признаков гробов, за то в несколько примятых кучек разложена была прелая солома, он сказал, присвистнув:

— Эге!.. Да здесь, кажется, босячня ночует!.. Выходит, что это—отель «Босяк»!..

О другом, где солома была посвежее и даже полуприкрыта не особенно грязными полосатыми тряпками, он выразился:

— А это уж отель «Комфорт»!.. Тут ночуют, должно быть, воры...

В одном месте тесно друг около друга покоились четыре доктора медицины: Фатюшин, Колесов, Редько и Козловский. Можно было подумать, что они умерли во время борьбы с какою-нибудь эпидемией, но нет,—года на крестах стояли разные. Лука посопел тугим носом и сказал задумчиво:

— Что же это тут такое у них, у этих докторов медицины?.. Консилиум для всех покойников?..

Так разные участки кладбища стали называться у них в доме: отель «Босяк», отель «Комфорт», «Косилиум»...

Кроме того, в одном глухом углу, где был третий разряд мо-

гил, буйно возросшийся осокорь поднял подгнивший снизу утлый деревянный крест толстою веткой, пошедшей от корня; ветка росла, тянулась кверху и поднимала легкий, источенный крест. Теперь крест этот виднелся саженях в четырех от земли. О нем Лука тоже сказал проникновенно:

— Вот так воздвижение честного животворящего креста!..

Этот участок стал называться «Воздвиженьем».

Чтобы разные темные личности все-таки не ночевали в склепах, Лука вздумал-было поправить там двери и навесить на двери замки. Это оказалось ошибкой: замки исчезли, а у него на дверях появилась записка, приклеенная хлебом и составленная из одних только сильных выражений по его адресу.

Лука думал-было итти жаловаться в милицию, но попадье показало, что будет еще хуже. Тогда на всякий случай Лука купил по очень сходной цене двустволку — курковую с расстрелами и сильной отдачей — и повесил у себя над кроватью. Подсыпая под пистоны пороку на ночь, чтобы не было осечки, он говорил иногда старшим — Степану и Евтихию:

— Мы здесь, как на острове: за две версты, в случае чего — не добежишь, не скажешь... Мы на себя надеяться должны...

Казалось бы, что с памятников, рассчитанных на вечность, трудно что-нибудь унести человеку, да еще ночью, однако, уносили железо с оград и вывинчивали большие медные винты, которыми были привинчены мраморные доски к памятникам из гранита.

Лука сделал объявление в местной газетке, чтобы все, имеющие склепы и памятники на могилах своих родных, в кратчайший срок заявили ему, арендатору кладбища, о своем желании их поддерживать и за ними следить. Он ждал неделю, две, три — никаких заявлений к нему не пришло, никто к нему не явился.

Тогда Лука углубился в изучение арендного договора и однажды за вечерним чаем сказал торжественно своему дружному семейству:

— Итак, чье же это бесхозное имущество? Чьи все эти склепы, памятники, плиты и ограды?.. Живых владельцев не оказалось, мертвые — не в счет... Местхоза? Разумеется... Однако, опиши на все это нет...

И, сделав желтые круглые глаза почти веселыми, закончил:

— Так недолго дойти до мысли, что имущество это — наше!

Сделав этот вывод как бы в шутку, он в ту же ночь (это было в середине октября) взял свою двустволку и двух старших и пошел окарауливать кладбище.

Не доходя до отеля «Босьяк», он сделал выстрел и потом долго растирал правую ключицу.

Евтихию показалось, что зашуршало в дальних кустах, что бегут с кладбища к ограде не меньше, чем в десять ног. Степану показалось тоже, что бегут двое или трое. Отцу их ничего не казалось, —

так был он занят потерпевшей ключицей, но все-таки он закричал грозно:

— Сто-ой, сукины сыны! Стрелять буду!

И выстрелил сгоряча из другого ствола, после чего бросил свой дробовик наземь и забормотал испуганно:

Кажется, перешиб пополам кость!

На утро оказалось, что с этого самого отеля «Босяк» сняли и унесли железную дверь.

Без досок с полным обозначением имен, отчеств и фамилий, чинов, титулов и строгих дат рождения и смерти памятники на кладбище потеряли вложенный в них смысл, стояли под деревьями, как украшения в парке, и кто бы мог запретить Луке Суховерову перемещать их на свежие могилы, если они не были громоздки, или оставлять на прежних местах, но с новыми покойниками под ними, если передвинуть их было трудно? К ним только прикрепляли старые мраморные доски (воры брали только медные винты, а не доски), на оборотной стороне которых выбивал Степан новые надписи и даже бронзировал их, чтобы они имели вполне богатый вид.

Так движимое имущество кладбища передвигалось, или в него вкладывался новый, современный смысл: новизна всегда победоносна.

Правда, памятники шли очень дешево, но все-таки за них хоть что-нибудь давали. Когда же один из мавзолеев, представлявший глыбу красного гранита с очень удачно сделанными античными герельефами, хотели вывезти отсюда для украшения соседнего курорта, Лука этого не позволил сделать, и довольно сложная переписка по этому поводу между курупром, местхозом и Лукою так пока и кончилась для курупра ничем.

На воротах кладбища это именно Лука, а не его предшественник, укрепил расценок мест и список правил, обративший на себя внимание художника. Довольно длинная, черная железная таблица белыми четкими буквами и цифрами предупреждала, что место в первом разряде стоит десять рублей, во втором — семь с половиной, в третьем — пять; что вырыть могилу стоит четыре рубля; что посетители могил своих родственников должны обращаться за пропуском к арендатору кладбища; что посторонним лицам вход на кладбище воспрещается; что перелезть через ограду, рвать цветы, ломать деревья, ночевать в кладбищенских склепах воспрещается под угрозой штрафа, а расхитителей кладбищенского имущества ждет, строгая кара по такой-то статье уголовного кодекса.

#### IV

Когда художник почувствовал, что ему недостает этой маленькой кладбищенской церковки, что она ему очень необходима, она показалась ему истинным чудом архитектурного искусства. Рисунок

его был не закончен,— нужно было сделать другой и взять для этого другую точку, левее, ближе к окну с запыленными стеклами.

Об арендаторе кладбища теперь — это было через два дня — он думал, что тот был просто сильно выпивши, и когда увидит его на кладбище, то извинится, конечно.

Смотря на картины старых мастеров, видишь не только краски, в большинстве очень потускневшие, постаревшие, часто потерявшие даже соотношения, о которых можно только догадываться,— нет, видишь еще за каждой и самого мастера и прослеживаешь, как именно клал он свои краски, но для этого нужно всмотреться и вдуматься.

Так и художнику хотелось именно теперь, после знакомства с охранителем редкостной церковки, присмотреться уже по-настоящему, вдумчиво к ее архитектуре и к старой живописи ее икон, хотя бы через окно, затянутое пыльной железной решеткой.

Ему даже начинало казаться, что он сделал какое-то открытие.

Бывает, что валяется между мусором, хламом и голубиными гнездами на чердаке, среди калеких венских стульев и двуногих табуреток какой-нибудь старинный, весь скульптурно-резной дубовый стул, привезенный еще при Петре Великом из Италии каким-нибудь из его «денщиков», уже разошедшийся, но еще такой массивный, что с трудом можно его поднять, и такой непобедимой крепости, что даже жуки-точильщики ломают на нем свои челюсти.

Восторг любителя и знатока при находке на чердаке в захолустье такого стула бывает безмерен. Так и художник с севера убеждался все больше и больше, глядя на свой рисунок и вспоминая, что какой-то большой мастер, лет сто назад, делал чертеж этой церковки, а, может быть, и сам наблюдал за ее постройкой.

В тот день, когда художник пошел снова на кладбище, с утра был дождь, и он надел свою необычайного покроя куртку из темно-зеленого манчестера и, подходя к воротам, глядел направо, на этот одноэтажный каменный, весьма таинственный дом с высоким крыльцом и тощим палисадником, присевший тут же, за большой церковью,— не покажется ли оттуда снова желтоглазый человек в толстовке, в коричневой соломенной шляпе. Но показалась в деревянных воротах сарая, примкнувшего к самой кладбищенской ограде, знакомая уже, приземистая, черноволосая женщина в синем, подошла к калитке железных ворот кладбища, потопталась около них немного и тут же скрылась во двор.

Художник понял, что это она запирала калитку, заметив его издали. Подойдя, он подумал, что должно быть принято тут платить за вход и, чтобы найти, кому уплатить, вошел в ворота сарая и стал, потому что синее платье очень проворно мелькнуло куда-то в темный угол, откуда выдвинулась широколобая, широкоплечая, мрачная фигура парня с молотком в руке. Парень этот (художник принял его за кузнеца) переложил молоток из левой руки в правую и глянул на него очень недоброжелательно, потом ушел куда-то. Двухмесячный,

не больше, но очень сытый, чистенький, короткомордый поросенок пробегал по двору, скуля, но вдруг, увидя его, чужого, остановился, крутя хвостиком, поднял на него пяточок и хрюкнул вопросительно; потом боком отбросился на шаг и хрюкнул недоуменно, а когда загремела железная толстая цепь у конуры, хрюкнул неодобрительно и кинулся со всех ног, тонко визжа.

Из-за конуры подняла большую лохматую голову песочного цвета и с мутными глазами собака, лежавшая там в тени, и ударила, как в колокол, несколько раз под ряд, с ровными промежутками, не спеша, выжидая, однако, и не обещая напрасных надежд.

Сильно пахло коровой, рылись в навозе куры,— люди явно спрятались, и художник счел за лучшее ключа от калитки не спрашивать: в нем пробудилась вся присущая ему застенчивость и скромность. Он пошел вдоль кладбищенской стены, над которой нависали густые деревья, уже не думая попасть к той маленькой церкви в этот день, а только желая остыть в тени, так как день после дождя утром неожиданно оказался жарким.

Он замечал в степи за кладбищем на самом горизонте даже журавли колодцев на казачьих хуторах, до такой степени прозрачен стал после дождя воздух, а с другой стороны, вправо от города, синели небольшие, отдельно стоящие горы, похожие на исторические курганы, а к югу будто задержались близко к земле белесые извилистые облака и остановились: это, он знал, блистали снежные верхушки Кавказского хребта.

В нескольких местах заметил художник идя, каменная из плодного известняка стена кладбища была разобрана, но потом заделана снова, и эти заплатки издали бросались в глаза.

Но совсем уже неожиданно для себя в одном из таких проломов вверху он увидел арендатора кладбища, который орудовал широкой лопаткой каменщика, накладывая из ведра известь и умащивая тяжелый камень в пролом.

Правда, он был уже не в коричневой шляпе, а в серой рабочей кепке, не в белой толстовке, а в какой-то дырявой на плечах казине-товой блузе, и с первого взгляда даже не узнал его художник и прошел бы мимо, пожалуй, если бы не ожег его тот огнем незабываемых желтых, круглых глаз.

Он не успел посторониться, как комок извести, ловко брошенный с лопатки, упал на его темнозеленую куртку.

— Это... что такое, а?.. Вы... Ты как это смеешь? — крикнул художник, так как этим он был возмущен донельзя.

Но Лука,— он стоял с той стороны высокой ограды,— заорал и сам во весь свой могучий голос:

— Что-о? «Смею»?.. Я смею тебе и шею свернуть!.. Ты видишь— человек работает? Чего под стенку лезешь?

И он схватил большой кусок щебня и поднял его над головой

с явным желанием запустить им в человека, намеренья которого были для него ясны.

Художник оглянулся кругом, ища защиты, но никого не увидел и попятился от стены в поле. Он пятился долго, боясь оборачиваться, чтобы успеть уклониться от камня, если этот совершенно умалишенный, неслыханный поп вздумает действительно его бросить, и, только отойдя так на большое расстояние, потряс в сторону стены тощим кулаком и принялся очищать от извести свой манчестер.

На другой день он выехал из этого города дальше к югу, где белели горы. Во Владикавказе они были уже — рукой подать, и по Военно-Грузинской дороге он ехал к ним на легковой машине, угорело мчавшейся. Ингуши на двуколках попадались навстречу (день был базарный). Шофер, рядом с которым сидел художник, вертел свое колесо и, должно быть, очень был замучен зубною болью, потому что был обвязан платком и то и дело плевал на дорогу. Однажды кто-то сидевший сзади сказал громко: «Вон «замок Тамары!»—но художник так и не разглядел на склонах гор никакого замка. Терек, так воспетый поэтами, оказался очень мелкой и чрезвычайно мутной речонкой. Кудлатые буйволы, с ног до головы вымазанные илом, стояли на его островках или заходили по грудь в воду. Высоко и далеко от воды торчали вдоль шоссе плетневые дамбы и фашины. Развалины бывших военных постов кое-где торчали... Художник жадно впивал то темную хвойную зелень на горах, то светлую, яркую зелень горных лугов, наконец, проехали Дарс, и открылся Казбек, ослепляюще белый с сахарно-синими тенями, и на станции Казбек шофер сделал остановку на час, чтобы полечить больные зубы водкой. Толпа грузинят облепила художника и вперебой совала ему куски горного хрусталя и серного колчедана: «Купи!.. Денег не хочешь давать,— дай карандаш...» Грузинки — почему-то все очень некрасивые — носили здесь воду в древних горлатых темномедных кувшинах, держа их на широких плечах очень устойчиво. В ресторане он ел форель и пил фруктовую воду, а когда хозяин, грузин, подал ему счет, сказал ему удивленно:

— Однако, и дерете же вы, почтенный! Что же это за цены?

— За-де-ре-ешь! — ответил грузин спокойно. — Не то что цены, и ноги задерешь, когда шесть тысяч одной аренды платишь!

Пообедавши, он пошел было через мост на другой берег Терека, чтобы дойти до Нарзана, но оказалось, что не успеет, и, только полюбовавшись необычайной зеленью долины, вернулся. Монастырь отчетливо рисовался на горе, но к нему подняться тоже не было времени. Зато маленькая церковь в самом селении Казбек до того напомнила ему другую недавнюю маленькую церковь, что он ахнул. Те же почти (но только художники знают, что значит «почти» в искусстве) были линии стен и карнизов, такая же четырехугольная аспидная черепица, неплохо и тут была прилеплена крошечная колоколенка, только от колокольчиков вниз тут тянулась веревка, а на фронте не голубь в

кругу из лилий,— пара львиц или барсов, очень грубо, но энергично сделанных, разрывали зубами и не могли разорвать круглую железную цепь. Тут же была и надпись: «Александр I»—у хвоста одной львицы и «1821»—у хвоста другой.

Эта церковка оказалась вполне доступной для осмотра.

Очень ветхий старик в рыжей овчинной шапке, церковный сторож, отпер ему двери, и художник мог досыта налюбоваться творениями прихотливой кисти какого-то давно истлевшего в земле своего собрата, у которого женщины на иконостасе все вышли краснощеки и очень далеки от целомудрия, мужчины в тогах и хитонах искрились неподдельной веселостью, ангелы имели вид шаловливый. Старик, шмурыгая по каменному полу тяжелыми опорками, зажигал на подсвечниках огарочки очень тоненьких свечек, должно быть, желая создать настроение для молитвы, но художнику не хотелось молиться. С большим любопытством разглядывал он на хоругви белого коня под Георгием-Победоносцем. Конь этот с очень тонкими, не знающими устали ногами имел густой хвост, чудесно закрученный в три яруса, и из ноздрей его пыщало пламя.

Когда же художник заглянул в алтарь, то первое, что там он увидел, была крыса, попавшая в огромную стоявшую на полу крысоловку.

Художник знал о бедности церковных мышей, но не мог понять, как и чем могли питаться большие крысы в такой маленькой и сплошь каменной церкви. Он хотел узнать это от старика, но старик с такой жадностью и такими дрожащими руками припал к крысоловке, что ничего ему не ответил. Должно быть, она грызла иконостас, потому что он был холщевый.

## V

В тот день, когда художник в последний раз был на кладбище, Лука Суховеров сказал о нем за обедом зло и торжественно:

— Как во-olk голодный около стада ходит, — так и он!.. И даже стену шагами меряет подлец.

И, бросив тут же круглый взгляд на старшую дочь, добавил раскатисто, в средних нотах:

— Ев-фа-лия! Убери плечи!

Вечером Степан и Евтихий собрали свои кирки и лопаты (Степан на всякий случай взял еще молоток и зубило) и пошли вместе с отцом, который нес фонарь, работать в усыпальнице, а не больше, как через неделю, Лука стоял около маленькой церкви в своей выходной толстовке, снявши шляпу и вытирая толстую красную шею платком, рядом с ним, наблюдательно переломившись в поясице, стоял молодой (или не так уж и молодой — трудно было понять) человек из местхоза, маленький, весь бритый, щуплый, с аккуратно обточенной головой, голой и загорелой, так как, следуя твердым убеждениям, ходил он без шапки, и портфель он держал скатан-



ным в трубочку, потому что была в нем всего одна бумажка, набросанная им еще там, в городе,—здесь ее нужно было только подписать после осмотра осевшей и треснувшей церкви.

Прельстившая художника церковка треснула во всю вышину, как от землетрясения; даже аспидная черепица ссунулась вниз, а несколько штук упало.

— Гм... вот как!.. — сказал загорелоголовый, задумчиво побарабанив по гладкому темени костлявыми пальцами. — Отчего же она все-таки? Какая причина?

— О-че-видно, действие почвенных вод,—вдохнул Лука,—почвенные воды подмыли фундамент... как я и докладывал в местхозе.

— Да, это у меня записано... Там что — подвал внизу?

— Называется — склеп, а не подвал, но, разумеется, подвал, а то что же? Лежат там преподобные генеральские мощи... спрятаны от тления (Лука усмехнулся и покачал головой). А наследников никого, похоже, не осталось в нашей советской стране: не иначе, за границей спасаются... Так что поправить некому.

— Как это по-пра-вить?!. Что поправлять?!. Вот это?

Серые небольшие глаза в круглых больших очках поднялись на Луку, а костлявый палец левой руки уперся в трещину на крыше, которая пришлась чуть ниже колоколенки. — Это — прекрасный повод, чтобы разобрать ее до основания, а чтобы по-пра-влять, — шалишь! Поправлять такие капища мы не позволим!..

— А если кто захочет новую такую воздвигнуть? — робко спросил Лука. Но этот вопрос развеселил молодого человека до того, что он даже улыбнулся.

— Мы вам тогда про-пи-шем, как говорится, ка-стор-ки! — протянул он ехидно и начал вынимать бумажку из портфеля.

— Но на чей же, однако, счет ломать? На мой что ли?

— Да уж не на наш, конечно... Вы — арендатор, вы должны и ломать...

Лука покорно пожал плечами и вздохнул, а в тот же день вечером, с помощью двух своих старших, начал снимать черепицу и колокола, а на другой день нанял в городе для разборки стен каменщиков и при них, соблюдая уставную торжественность, облачившись в ризу (Петр помогал ему в этом), перенес алтарь с антиминсом и иконы в большую церковь.

Тесаный камень стен сложили стабелем недалеко, склеп завалили землей, и если бы художник вздумал еще раз заглянуть на кладбище, он нашел бы отель «Босьяк», отель «Комфорт», «Консилиум», «Воздвиженье», но не то, что начал было зарисовывать в свой альбом с таким восхищением и что не удалось ему закончить.

Но художник был уже далеко.

Время, время!.. Оно идет... Оно бесстрастно отсчитывает секунды, а из этих секунд растут года, десятилетия, юбилеи, согбенные спинные хребты, внуки, правнуки.

Когда-то давно, еще перед мировой войной, когда он только что картинами на двух выставках заработал себе имя, на это имя, как на ночной огонь, к нему в жизнь влетела молодая женщина, и они сошлись, чтобы разойтись вскоре. Их общее длилось не больше двух недель. Женщина эта была такая же северянка, как и он, но она имела мужа в Тифлисе, грузина, инженера, и в Петербург, где он жил тогда, приехала выправить какие-то бумаги. Он помнил ее довольно смутно: высокая, русые волосы, округлые щеки, короткий нос... Еще он помнил, что она часто курила и как-то сказала о себе в первый день их знакомства: — Я сквэрная, я куру!.. — Так говорил, должно быть, ее муж, кавказец, а она переняла даже и самый выговор его рабски по-женски.

Он не вспоминал о ней семнадцать лет, но теперь, когда умерла его жена, память его стала искать в прошлом женщину и натолкнулась на эту случайную двухнедельную из Тифлиса. В одном из его старых альбомов уцелела ее визитная карточка и на ней — тифлисский ее адрес. Ее звали Татьяной, а она просила звать Тамарой.

И когда, приехав в Тифлис, художник ходил по улицам, в нем не суета большого южного центра звучала, а только это: «Я сквэрная, я куру!.. Тамара Гоголашвили...»

Художник был бездетен и, дожидаясь в адресном столе справки, он думал, как странно это будет и ново и необычайно, если вдруг у него здесь окажется сын шестнадцати лет... или дочь!.. Ему казалось, что коренным образом должна будет измениться тогда его жизнь, что из этого красивого, шумного города он тогда уж не уедет.

Но приговор времени был суров: не нашлось в Тифлисе ни Татьяны, ни Тамары Гоголашвили. И сразу как-то незачем стало оставаться в нем. Он побывал на горе Давида, постоял на мосту через бешено быструю Куру, еще раз вспомнил те четыре слова, какие остались в памяти, и с ночным поездом поехал в Батум.

Но вот что увидел он здесь перед отъездом на одной узенькой улице: человека средних лет, с белесой бородкой, в серой замасленной блузе, в сбившейся набок синей кепке, которая стала в таком виде похожей на голландский берет середины семнадцатого века, пьяного и буйного, обхватили и тащили куда-то — домой, должно быть, — двое других его собутыльников, более трезвых и рассудительных, из которых один, плотный, чернобородый, напоминал арендатора кладбища, каким он его видел в последний раз на стене, другой же — в кубанке, бритый, но с усами, лихо торчавшими вверх, с бородавчатым, красным, вздутым, лицом, вздернутым носом и маленькими серыми глазками, имел какое-то сходство, пожалуй, с Рембрандтом, — и пять-шесть минут мог он наблюдать их трех, пока они проволоклись мимо и закрыли их другие люди. Это вышло в своем основном так похоже на то, что рисовалось в его мозгу, на то, что набросал он, как эскиз

для картины «Безумие Корнелия Бега», что он усмехнулся грустно: пьяная уличная сценка в Тифлисе 1929 года убила в нем трагическую сцену в Гарлеме 1664 года.

Когда же он ехал к Батуму, за черным окном поезда мелькали прихотливые живые огоньки, цвет которых казался зеленоватым. Он вспомнил, — говорил ему кто-то о летающих светляках, которые, будто бы, водятся на Кавказе, и спросил с живым любопытством своего соседа:

— Это что там?.. Летучие светляки?

Но восточный длинноносый, черный человек в папахе, его сосед, положил на его колено два горячих, тяжелых пальца, ответил:

— Тибете скажем так: э-это искры ад паровоза, — и густо задышал на него чесноком.

Декабрь, 1929 г.

Крым, Алушта.

# Баллада

Евсей ЭРКИН

Сорок пять мотыг, сорок три кирки,  
Да рабочее вдохновенье.  
Электричества вздрагивают пузырьки,  
И грохочут всю ночь камня.

Сон. Весна. Окно. Смятая постель.  
Тишина по домам, по гаражам.  
Лишь тебе звенеть и стучать, артель,  
После музыки Эрмитажа.

Блики потных спин. Взмахи голых рук,  
Все в мерцаньи звезд мостовая.  
До зари гореть и пылать костру,  
На заре—громыхать трамваю.

И десятник среди грохота, как дирижер.  
Все здесь вымерено,—работай!  
Мимо—чей-то шаг. Мимо—разговор,  
Ночь разносит его с заботой.

— Я куплю цветы. Мы пойдем в кино.  
— Вспоминай меня, миленький, часто.  
Но звенит и стучит, как над всей страной:  
— Переделаем каждый участок!

Сорок пять мотыг, сорок три кирки,  
Да рабочее вдохновенье.  
Электричества вздрагивают пузырьки.  
Веет пылью, землей, сиренью.



# Калмак-Аша

АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ

## I.

Как полагается, с Востока  
Заря явилась.  
И за ней—  
Толпа холмов, базар потоков,  
Рябая ярмарка камней.

Скалистый мир бренчит, как жечь,  
Леса летят в лицо вам,—  
Но вы обязаны долезть  
К вершинам образцовым.

Уступы древнего жилья.  
Работа по-старинке—  
Они блестят, как чешуя  
На астраханском рынке.

Они сверкают,—берегись!..  
Но радуя вдвойне,  
В повествование киргиз  
Везжает на коне.

Халат стекает, как вода,  
Веселой желтизной.  
Халат приветствует:—айда,  
Джалдаш, в аул со мной! —

И мы идем, сгибая спины,  
По той странице дневника,  
Где комсомолец Табалдинов  
Играет роль проводника.

Я вниз гляжу; воды рассол  
Среди зеленой суеты.  
Я говорю, что комсомол  
Достиг блестящей высоты.

И вот растут из ничего  
Холмы передвижные юрт,  
Там одеял цветной уют,  
Гостеприимство кочевое.

Там волей Нового Завета,  
Кочует юрта сельсовета.

И облака, летя, дрожали,  
Качался воздух невесом—  
Пока сухие горожане  
Мочили глотки кумысом.

## II

Ущельями израненный,  
Калмак-Аша, прощай!  
Мы жрали тут баранину,  
Зеленый дули чай.

И, как венец с'едобных благ,  
Летел в желудок баурсак.

Но за экзотикой еды,  
Бездарного безделья—  
Где старцев жирные ряды  
На корточках сидели,

Мы разглядели соль земли,  
Прямой, веселой, безбородой,—  
Там Табалдиновы несли  
Вторую молодость народа.

И завершая равновесье,  
Песков и льда, равнин и гор,—  
Иной киргиз—ветров ровесник,  
Переиначивал простор.

Ты сто очков столетьям дашь,  
Мы руку жмем тебе, джалдаш!

Нас пусть зовет, добра желает,  
На воле новых берегов...  
И за последними джайлау  
Идет республика снегов.

# Петр Первый

Повесть  
АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1)</sup>)

10

«Мин хер кениг... Которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, — розданы все по местам... Иван Головин, Плещеев, Крапоткин, Василий Волков, Верещагин, Александро Меньшиков, Алексей Бровкин, по вся дни пьяный поп Битка, при которых и я обретаюсь, отданы — одни в Сардаме, другие на Остиндский двор к корабельному делу... Александр Кикин, Степан Васильев — машты делать; Яким маляр да посольский дьякон Кривосыхин — всяким водяным мельницам; Борисов, Уваров — к ботовому делу; Лукин и Кобылин — блоки делать; Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Синявин — пошли на корабли в разные места в матрозы; Арчилов поехал в Гагу бомбардирству учиться... А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что—все тут... Но мы намерение их переменяли, велели им идти в чернорабочие на остиндскую верфь — еще и ртом посрать...

Господин Яков Брюс приехал сюды и отдал от вашей пресветлости письмо. Показывал раны, кои до сих пор не зажили, жаловался, что получил их у вашей пресветлости на пиру... Зверь! Долго ль тебе людей жечь? И сюды раненные от вас приехали. Перестань знать-ся с Ивашкою Хмельницким... Быть от него роже драной... Питер...»

«... В твоём письме, господине, написано ко мне будто я знаюсь с Ивашкою Хмельницким, и то, господине, неправда... Яков к вам приехал прямой-московской пьяной, да и сказал в беспамятстве своем... Неколи мне с Ивашкой знатся, — всегда в ругательстве и лае, всегда в кровях омываемся... Ваше то дело на досуге держать знакомство с Ивашкою, а нам недосуг... Как я писал тебе, господине, — опять той же шайки воров поймано восемь человек: и те воры из посадских торговых людей, из мясников из извозчиков и из боярских людей, — Петрушка Селезень, да Митка Пичуга, да Попугай, да Кука Зайка, да сын боярский Мишка Тыртов... Пристанище и дуван разбойной рухляди были у них за Тверскими воротами... А что до Брюса али другие приедут жаловаться на меня — так то все спьяну... Челом бью, Фетка Ромодановский...

<sup>1)</sup> См. „Новый Мир“, 1929 г., кн. кн. 7—12 и кн. кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 с. г.

«... Мин хер кениг... Письмо твое государское мне отдано, в котором написано, о иноземце о Томасе Фаденбрахте, — как ему впредь торговать табаком? О том еще зимою указ учинен, что первый год — торговать на себя, другой год — на себя же с пошлинами, в третий год дать торг: кто болши даст, тому и отдать... Паки дивлюсь — разве ваши государевы бояре сами то не могли подумать, а кажется дела посредственны... К службе вашей государской куплено здесь 15.000 ружья, на 10.000 подряжено, так же велено сделать к службе же вашей 8 гаубиц да 14 единорогов. О железных мастерах многожды здесь говорил, но сыскать еще не можем: добрые здесь крепко держатся, а худых нам не надобно... «...Пожалуй поклонись господину моему генералу и побей челом, чтобы не покинул мово домишку...» (Далее симпатическими чернилами...). А вести здесь такие: король французский готовит паки флот в Бресте, а куды — никто не знает... Вчерась получена из Вены ведомость, что король гишпанский умре... А что по смерти его будет, — о том ваша милость сама знаешь... <sup>1)</sup>

Так же пишешь о великих дождях, что у вас ныне. И о том дивимся, что на таких холмах в Москве у вас такая грязь... А мы здесь и ниже воды живем — однако сухо... Питер...»

Василий Волков, по приказу Петра ведя дневник, записал:

«В Амстердаме видел младенца женска пола, полутора года, мохната всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы четверти, — привезена была на ярманку. Видел тут же слона, который играл минуветы, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакою, которая с ним пребывает, — зело дивно преудивительно...

Видел голову, сделанную деревянную человеческую, — говорит! Заводят, как часы, а что будешь говорить, то и она голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе, — садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам... Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды было пальца на четыре, — вода закипела и дерево сожгли.

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разно, — сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут, — как нитки... Зело предивно...

Город Амстердам стоит при море в низких местах, во все улицы пропущены каналы, — так велики, что можно корабли вводить, по сторонам каналов улицы широки, — в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ними — фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах — плезир, или гулянье великое.

<sup>1)</sup> Война за испанское наследство

Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, и народ все живет торговый и вельми богатый. Так споделяются, что — нигде... Биржа, которая вся сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром, — зело пречудна... Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате... И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великой теснотою... И бывает там крик великий... Некоторые люди, — которые из жидов, бедные, — ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, — и тем кормятся...

Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике:

«...Царю не более недели удалось прожить инкогнито, — некоторые бывавшие в Московии, узнали его в лицо. Молва об этом скоро распространилась по всему нашему отечеству. На амстердамской бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад, — действительно ли это великий царь или только один из его послов?.. Господин Гаутман, торгующий с Московией и неоднократно угощавший в Москве царя, приехал в Зандам, чтоб засвидетельствовать царю свое глубокое почтение. Он сказал ему:

— Ваше миропомазанное величество, вы ли это?

На это царь ответил довольно сурово:

— Как видишь...

После сего они долго беседовали о затруднительности северного пути в Московию и о преимуществах балтийских гаваней, при чем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это могло бы рассердить его... Он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо в глаза. Был такой пример: некий Альдертсен Блок посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю в глаза, словом так, будто перед ним было что-то весьма забавное и удивительное. За это царь сильно ударил его рукой по лицу, так что Альдертсен Блок почувствовал боль и пристыженный убежал, между тем как над ним засмеялись гуляющие.

Браво, Альдертсен, ты пожалован в рыцари.

Другой торговец захотел видеть царя за работой и просил мастера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер предупредил, что тот, кому он скажет: «Питер, плотник заандамский, сделай это или то» — и есть царь московитов... Любопытный купец вошел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут тяжелое бревно. Тогда бас, — или мастер, — крикнул:

— Питер, плотник заандамский, что ж ты не подсобишь?

Тогда один из плотников, почти семи футов росту, в запачканной смолою одежде, с кудрями, прилипшими ко лбу, воткнул топор и послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими к немалому удивлению помянутого торговца...

После работы он посещает невзрачную портовую харчевню, где, сидя за кружкой, курит трубку и весело беседует с самыми неотесан-



ными людьми и смеется их шуткам, нисколько в этих случаях не заботясь о почтении к себе. Он часто посещает жен тех рабочих, которые служат в настоящее время в Московии, пьет с женщинами можжевеловую водку, похлопывает их и шутит... О некоторых его странностях говорит следующий случай... Он купил слив, положил их в свою шляпу, взял ее под мышку и ел их на улице, проходя через плотину к Зейдеку. А за ним увязалась толпа мальчишек. Некоторые из детей ему понравились, он сказал:

— Человечки, хотите слив?

И дал им несколько штук. Тогда подошли другие и сказали: «Дай нам тоже слив или чегонибудь». Но он скорчил им гримасу и плюнул косточкой, забавляясь, что раздражил их. Некоторые мальчуганы рассердились так сильно, что стали бросать в него гнилыми яблоками, грушами, травой и разным мусором. Посмеиваясь, он пошел от них. Один из мальчиков попал ему в спину камнем, причинившим боль, и это уже вывело его из терпения... Наконец, у шлюза комок земли попал ему в голову, и он вне себя закричал:

— Что у вас — бургумистров нет, — смотреть за порядком!.. Но и это нисколько не испугало мальчишек..

В праздники он катается по заливу в парусном ботике, купленном у маляра Гарменсена за сорок гульденов и кружку пива. Однажды, когда он катался по Керкраку, к его боту стало подходить пассажирское судно, где на палубе собралось много людей, горевших любопытством поближе рассмотреть царя. Судно подошло почти вплоть, и царь, желая отделаться от назойливости, схватил две пустые бутылки и бросил их одну за другой прямо в толпу пассажиров, но, к счастью, никого не задел..

Он чрезвычайно любознателен, по всякому поводу спрашивает: «Что это такое?» И, когда отвечают, он говорит: «Я хочу это видеть». И рассматривает и спрашивает, пока не поймет. В Утрехте, куда он ездил с частью своих спутников для свидания со штатгальтером голландским, английским королем Вильгельмом Оранским, — пришлось водить его по воспитательным домам, гошпиталиям, различным фабрикам и мастерским. Особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша, — он так восхитился отлично приготовленным трупом ребенка, который улыбался, как живой, что поцеловал его. Когда Рюйш снял простыню с разнятого для анатомии другого трупа, — царь заметил отвращение на лицах своих русских спутников и, гневно закричав на них, приказал им зубами брать и разрывать мускулы трупа..

Все это я записал по рассказам разных людей, но вчера мне удалось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Омеса. Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому топоричу. Это человек высокого роста, статный, крепкого телосложения, подвижный и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На

нем был саржевый кафтан, красная рубашка и войлочная шляпа. Таким его видели сотни людей, собравшиеся на улице, а также моя жена и дочь...

«... Мин хер кениг... Вчерашнего дня прислали из Вены цесарские послы к нашим послам дворянина с такою ведомостью, что господь бог подал победу войскам цезаря Леопольда над турок такую, что турки в трех окопах отсидеться не могли, но из всех выбиты и побиты и побежали через мост, но цесарцы из батарей стрелять стали. Турки стали бросаться в воду, а цесарцы сзади рубить, и так в конец турок побили и обоз взяли. На том бою убито турков 12000, меж которыми великой визирь, а сказывают будто и султан убит... Генералисимусом над цесарскими войски был брат арцуха савойскова, — Евгений, молодой человек, сказывают — 27 лет, и этот бой ему первый...

Сие донесши, оным триумфом вам, государю, поздравляя, просим — дабы всякое веселие при стрельбе пушечной и мушкетной отправлено было... Из Амстердама, сентября в 13 день... Питер...».

## 11

В январе Петр переехал в Англию и поселился верстах в трех от Лондона в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии, — корабельное по всем правилам науки искусство, или геометрическую пропорцию судов. Два с половиной месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри — для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков-англичан уломать не смогли, — сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу, даже кое-что из царской ризницы, — кубки, ожерелья, китайские чашки, но всего этого нехватало на оплату больших заказов и наем людей.

Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен, — предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московской, и за право ввести три тысячи беременных бочек той травы никоцианы — по пятисот фунтов аглицкого веса каждая — уплатил вперед двадцать тысяч фунтов стерлингов... Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания, человека гордого и строптивного, но искусного моряка — Корнелия Крейса; жалованье ему положили 9.000 гульденов, — по нашему, 3.600 ефимков — дом на Москве и полный корм, звание вице-адмирала и право получать три процента с неприятельской добычи, а буде возьмут в плен — выкупить его на счет казны.

Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурмана, боцманы, лекаря, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по

дворянским и купеческим дворам, — в Москве начиналась великая теснота. Бояре не знали, что им и делать с такой тучей иноземцев.

Тянулись обозы с оружием, парусным полотном, разными инструментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной бумагой, пробкой, якорями, бокаутом и ясенем, кусками мрамора, ящиками с младенцами и уродами в спирту, — сушеные крокодилы, птичьи чучела... Народ перебивается с хлеба на квас, нищих полна Москва, разбойнички, и те с голоду пухнут, а тут везут!.. А тут гладкие, дерзкие иноземцы насакаивают... Да уж не зашел ли у царя ум за разум?

С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что царь Петр за морем утонул (иные говорили, что забит в бочку), и Лефорт-де нашел немца одного похожего и выдает его за Петра, именем его теперь будет править и мучить и веру православную искоренять. Ярыжки хватили таких крикунов, тащили в Преображенский приказ, Ромодановский сам их допрашивал под кнутом и огнем, но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое гнездо. Усилили караул в Новодевичьем, чтобы не было каких пересылок от царевны Софьи. Ромодановский зазывал к себе пировать бояр и больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкетеров, чтобы гости сидели крепко, и так пировали по суткам и более, карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры, ходил меж пьяными ученый медведь, протягивал в лапах кубок с вином, чтобы гость пил, а кто пить не хотел, медведь, бросив кубок, драл его когтями и, наваливаясь, норовил сосать лицо. Князь-кесарь, тучный и усталый, дремал сполупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, но гости и во хмелю не говорили лишнего, хоть он и знал про многих, что только и ждут, затаясь, когда под Петром с товарищи земля зашатается...

Враг вскорости сам обнаружился открыто. В Москве появилось человек полтора ста стрельцов, убежавших из войска из-под литовского рубежа. Туда были посланы на подкрепление воеводе, князю Михайле Ромодановскому, четыре стрелецких полка полковников — Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Черногого. Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в Азове и Таганроге и позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать, как Стенька Разин. Им хуже редьки надоела тяжелая служба, хотелось вернуться в Москву к стрельчихам, к спокойной торговлишке и ремеслам, — вместо отдыха погнали на литовский рубеж, в сырые места, на голодный корм.

Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сразу пошла (через дворцовую бабу) в Кремль, в девичий терем, где не крепко запертая жила Софьиная сестра царевна Марфа. Через ту же бабу от Марфы был скорый ответ:

«У нас на верху позамялось: некоторые бояре, что на Кукуй часто ездят и с иноземцами кумяются, хотят царевича Алексея заду-

шить... Да мы его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам... Что будет — не знаем... А государь — неведомо жив, неведомо мертв... Коли вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем, про вас уж указ написан...»

С этим письмом стрельцы бегали по площадям и, где нужно, кричали: «Бывало, царевна Софья кормила по восьми раз в году по триста человек, и сестры ее царевны, кормили ж,—давали в мясоед простым людям языки говяжьи и студень, полотки гусиные, куры в кашах и пироги с говядиной с яйцами, а в мясоед давали соленую белужину и тешки, и снятки, и вина вдоволь двойного, меду цыженого... Вот какие цари-то у нас были... А ныне хорошо жрут одни иноземцы, а вам всем с голоду помереть, на ваш-то сытный кусок крокодилов за морем покупают...» Приходили они шуметь к Стрелецкому приказу, не испугались и боярина Ивана Борисовича Троекурова, а когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму, — отбили товарищей...

Князь-кесарь вызвал генералов Гордона и Автонома Головина и порешили незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали сто человек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. Ночью, без шума, пошли в слободу, по стрелецким дворам, начали ломать ворота, выбивать стрельцов поодиночке. Но никто из них не сопротивлялся: «Ай, это вы, семеновцы... Чего шумите, мы и так уйдем...» Брали мешок с пирогами, ружье, завернутое в тряпицу, уходили, посмеиваясь, будто сделали то, зачем были в Москве...

Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье в постном пироге стрелецкую челобитную. Софья через карлицу передала ответ:

«Стрельцы... Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число... И вам быть к Москве всем четверем полкам, и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне, чтоб итти мне к Москве против прежнего на державство... А если солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать бы не стали,— с ними вам управиться, их побить и к Москве нам быть... А кто б не стал пускать,— с людьми, али с солдаты,— и вам чинить с ними бой...»

Сие был приказ брать Москву с бою. Когда беглые вернулись с царевниным письмом на литовский рубеж в полки,— там начался мятеж.

И Петр и великие послы не дюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило: охранить степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю.

Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей. Знали, что французский король с турецким султаном заодно и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру подсоблять в войне с турками. И вдруг,— снег на голову,— приходит непонятная весть (привез ее из Польши от Августа шляхтич): австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками, и об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков.

А все недавние уверения его в ревности к успехам христианского оружия против врагов гроба господня? Это что ж такое? Яхту Петру подарил... Называл братом... Пировали вместе... Это как же теперь думать?

Было еще понятно, что цезарь Леопольд разговаривает с турками о мире,— между ним и французским королем начиналась война за испанское наследство, то-есть (как понимали послы), кто из них посадит сына в Мадрид королем... Дело великое, конечно, но при чем здесь Англия и Голландия?

Петру и великим послам трудно было усвоить то, что английские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кровно озабочены в войне за сокрушение торгового и военного господства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море, что испанское наследство — не трон для того или иного королевского сына, не драгоценная корона Карла Великого, а пенные борозды от кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее воевать не самим, а втравить других...

И еще мудренее казалось, что англичане и голландцы, стремясь развязать руки австрийскому цезарю для войны с Францией, настоятельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном... Сие есть двоясмысленный и великий европейский политик...

Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Так же уклонялись они и от другого важного для московитов дела... В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда... Виниус писал Петру:

«...Лучше той руды быть не возможно и во всем мире не бывало, — так богата, что из ста фунтов руды выходит сорок фунтов чугуна... Пожалуйста, подкучай послам, чтоб нашли железных мастеров добрых, умеющих сталь делать...».

Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но, когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, — мялись, виляли, говорили, что-де вам самим с такими заводами не справиться, с'ездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся... Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии...

Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что-де и здесь уж знают об этом, — какой-то ксендз болтает по городу, будто в Москве бунт, князь Василий Голицын вернут из ссылки, царица Софья возведена на престол, и народ присягнул ей в верности...

«...Мин хер кениг... В письме вашем государском объявлено бунт от стрельцоф, и что вашим правительством и службою солдат усмирен.... Зело радуется... Только мне зело досадно на тебя, — для чего ты в сем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж... Бох тебя судит... Не так было говорено на загородном дворе в сенях...

А буде думаете, что мы пропали, для того что почты отсюда задержались, — только слава богу у нас ни один человек не умер, все живы... Я не знаю откуда на вас такой страх бабей... Пожалуй, не осердись: воистину от болезни сердца пишу... Мы отсель поедем на сей недели в Вену... Там только и разговоров, что о нашей пропаже... Питер...»

## 13

В Троицын ясный и тихий день на всех улицах было подметено. У ворот и калиток вяли березовые ветки. Если и виднелся человек, — то сторож с дубиной или копьём у запертых на пудовые замки лавок. Вся Москва стояла обедню. Жаркий ладанный воздух плыл из низеньких дверей, убранных березами. Толпы нищих, и те разомлели в такой синий день на папертях под колокольный звон, — праздничное солнце пекло вз'ерошенные головы, тело под рубищами... Попахивало вином...

В тихую эту благодать ворвался треск колес, — по Никольской бешено подпрыгивала по бревнам хорошая тележка на железном ходу, сытый конь, в мыле, несся скоком, в тележке подскакивал купчина без шапки, в запыленном синем кафтане, — выпучив глаза, хлестал коня... Все узнали Ивана Артемича Бровкина. На Красной площади он бросил раздувающего боками коня подскочившим нищим и кинулся, — горячий, медный, — в Казанский собор, где обедню стояли верхние бояре... Распихивая таких людей, до кого в мыслях дотронуться страшно, увидел коренастую парчевую спину князя-кесаря: Ромодановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими воротами, желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном воротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю-кесарю поклон в пояс и смело взглянул в мутноватые глаза его, страшные от гневно припухших век...

— Государь, всю ночь я гнал из Сычевки, — деревенька моя под Новым Иерусалимом... Страшные вести...

— Из Сычевки? — не понимая, Ромодановский тяжело уставился на Ивана Артемича. — Ты что — пьян, чина не знаешь? — Гнев начал

раздувать ему шею, зашевелились всякие усы. Бровкин, не страшась, присунул к его уху:

— Четырмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима днях в двух пути... Идут медленно, с обозами... Уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести...

Прислонив к себе посох, Ромодановский схватил Ивана Артемича за руку, сжал и с надтугой, багровея, оглянулся на пышно одетых бояр, на их любопытствующие лица... Все глаза опустились перед князем-кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексеича Голицына.

— Ко мне — после обедни... Поторопи-ка архимандрита со службой... Автоному скажи да Виниусу, чтоб — ко мне, не мешкая...

И снова, чувствуя шопот боярский за спиной, обернулся в полтела, муть отошла от глаз... Люди от страха забыли и креститься... Слышно было, как позвякивало кадило, да голубь забил крыльями над сводом в пыльном окошечке.

## 14

Четыре полка — Гундертмарка, Чубарова, Калзакова и Чермного — стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенчатой вавилонской колокольней мигала звезда. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса, — в ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу.

Задержались они под монастырем и в деревне Сычевке из-за корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там — сметение великое, бояре и большое купечество бегут в деревни и вотчины. В слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти, — побьют стражу у ворот и впустят полки в город. Генералиссимус Шеин собрал тысячи три потешных, бутырцев, лефортовцев и будет биться, но, — думать надо, — весь народ подсобит стрельцам, а стрельчихи уж и сейчас пики и топоры точат, как полоумные бегают по слободе, ждут мужей, сыновей, братьев...

Весь день в полках спорили, — одни хотели прямо ломиться в Москву, другие говорили, что надобно Москву обойти и сесть в Серпухове или в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные города, — звать казаков и стрельцов на помощь.

— Зачем — в Серпухов!.. Домой, в слободу!..

— Не хотим в осаду садиться... Что нам Шеин... Всю Москву подыдем!..

— Один раз не подняли... Дело опасное...

— У них с войском — Гордон да полковник Краге... Эти не пошутят...

— А мы устали... И зелья мало... Лучше в осаду сесть...

На телегу влез Овсей Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще в Торопце, откуда зачался бунт, выкинули всех офицеров и полковников, Тихон Гундертмарк только и спасся, что на лошади, Колзаков с разбитой головой едва ушел за реку по мостовинам. Тогда же созвали круг и выбрали стрелецких голов... Овсей, надсаживая голос, закричал:

— У кого рубашка на теле? У меня—сгнила, с прошлого году бороду не чесал, в бане не был... У кого рубашка,— садись в осаду... А у нас одна дума—домой...

— Домой, домой! — закричали стрельцы, влезая на воза...

— Забыли, что Софья нам отписала? Как можно скорее итти выручать. А не поторопимся—наше дело погибло... Франчишку Лефорта по гроб себе накачаем на шею... Лучше нам сейчас биться, да успеть Софью посадить царицей... Будет нам и жалованье, и корм, и вольности. Столб опять на Красной площади поставим. Бояр с колокольни покидаем, дома их разделим, продуваным, царица все нам отдаст... А немецкая слобода,— люди забудут, где и стояла...

На телегу к Овсею вскочили стрельцы, заводчики, Тума, Проскураков, Зорин, Ерш... Застучали саблями о ножны...

— Ребята, начинай переправу...

— Кто к Москве не пойдет—сажать тех на копья...

Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей. Обоз и толпы стрельцов двинулись к дымящейся реке... Но на том берегу в неясных кустах замахали чем-то,—будто значком, и надрывный голос протянул:

— Стой, стой...

Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона. Стало тихо...

— Стрельцы!..—услышали его голос.—Со мной четыре тысячи войск, верных своему государю... Мы заняли прекрасную позицию для бою... Но мне очень не хочется проливать братскую кровь!.. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?

— В Москву... Домой... Оголодали... Ободрались...

— Зачем вы нас в сырые леса загнали?..

— Мало нас побито под Азовом... Мало мы мертвечины ели, когда из Азова шли...

— Изломались на крепостных работах...

— Пустите нас в Москву... Дня три поживем дома, потом покримся...

Когда откричались, Гордон приставил ладони ко рту:

— Очень карашо... Но только дураки переправляются ночью через реку. Истра глубокая река,—потопите обозы... Лучше подождите на том берегу, а мы—на этом, а завтра поговорим...

Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы помялись, пошумели и стали разводить костры, варить кашу...



Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их — двенадцать медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стояли пять сотен драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилями;—остальные войска...

Стрельцы подняли крик, торопливо впрягли лошадей, ставили телеги четырехугольником по-казацки... С холма шагом спустился Гордон с шестью драгунами, под'ехал к реке, вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на ту сторону. Стрельцы окружили генерала...

— Слышайте... (Он поднял руку в железной перчатке)... Вы добрые и разумные люди... Зачем нам биться. Выдайте нам заводчиков, всех воров, кто бегал в Москву.

Овсей рванулся к его коню, — борода клочьями, красные глаза:

— У нас нет воров!.. Это вы русских людей ворами крестите, сволочи! У нас у всех крест на шее... Франчишке Лефорту что ли этот крест не ндравится?

Надвинулись, загудели. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на коне, не шевелясь:

— В Москву вас не пустим... Послушайте старого воина,— бросьте бунтовать, будет плёхо...

Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Рослый, темноволосый, соколиноглазый Тума, взлезши на пушку, размахивал бумагой:

— Все наши обиды записаны... Пустите нас за реку хоть троих, мы прочтем челобитную в большом полку...

— Пусть сейчас читает... Гордон, слушай...

— Запинаясь, рубя воздух стиснутым кулаком, Тума читал:

«...будучи под Азовым, еретик Франчишко Лефорт, чтоб русскому благочестию препятствие великое учинить, подвел он, Франчишко, лучших московских стрельцов под стену безвременно и, ставя в самых нужных к крови местах, побил их множество... Да его ж умышлением делан подкоп и тем подкопом побил он стрельцов с триста, и более...»

Гордон тронул шпорами коня, хотел схватить грамоту. Тума отшатнулся. Стрельцы бешено закричали. Тума читал:

«...Его ж, Франчишки, умышлением всему народу чинится наглость, и брадобритие, и курение табаку во всесовершенное ниспровержение древнего благочестия...»

Не надеясь более перекричать стрельцов, Гордон поднял коня на дыбы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как он соскочил у палатки генералиссимуса. Вскоре там загорелись под косым солнцем поповские ризы. Тогда и стрельцы стали звать своих полковых попов, Леонтьева, Самсонова и Кобякова, велели служить молебен перед боем. Поповой накрыли лафет у пушки, поставили

конское ведро с водой — кропить. Сняли шапки. Босые, оборванные попы истово начали службу... «Даруй, господи, одоление на агарян и филистимлян, иноверных языцев...»

На той стороне, у палатки Шеина, уже подходили к кресту, а стрельцы все еще стояли на коленях, подпевали. Крестьясь, шли за ружьями, скусывали патроны, заряжали. Попы свернули потрепанные епитрахили и ушли за телеги. Тогда с холма враз ударили все двенадцать пушек... Ядра, шипя, понеслись над обозом и стали рваться у монастырских стен, вскидывая вороха земли...

Овсей Ржов, Тума, Зорин, Ерш размахивали саблями:

— Братцы, пойдем грудью на пролом...

— Добудем Москву грудью...

— Стройся в роты...

— Пушки, пушки откатывай...

Сбегаясь в нестройные роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный ясак:

— Сергиев! Сергиев!

Полковник Граге велел понизить прицел, и батарея ударила ядрами по обозу.— полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из четырех пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилям, но там их встретили бутырцы и лефортовцы. Четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки— стадо, назад в обоз.

В тот же день генералиссимус Шеин перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Ни один из стрельцов не выдал Софьи, не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли рубищами, говорили, что к Москве шли страшною, неурядною яростью, а теперь опомнились и сами видят, что повинны.

Тума, висая на дыбе, со спиной изодранной кнутом в клочья, не сказал ни слова, глядел только в глаза допросчикам нехорошим взглядом. Туму, Проскурякова и пятьдесят самых злых стрельцов повесили на московской дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу...

Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видали отроду... Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз и на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией со всем соглашался, ничего не отрицал, все обещал, но, когда доходило до решения,—увертывался, как намыленный. Петр говорил ему: «Англичане и голланд-

ны хлопчут лишь из-за прибылей торговых, не во всяком деле надобно их слушать... А нам писал иерусалимский патриарх, чтоб гроб господен оберегли... Так неужто цезарю гроб господен не дорог?..» Канцлер отвечал: «Цезарь вполне присоединяется к сим высоким и достопочтенным мыслям, но на пятнадцатилетнюю войну истрачены столь несметные суммы, что единственным достойным деянием является мир в настоящее время...»

«Мир, мир, — говорил Петр, — а с французами собираетесь воевать, как же сие?»

Но канцлер в ответ только глядел веселыми водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керч, и пусть-де цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керч для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором, но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя...

Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Послы уже соглашались идти через кавалерские комнаты без шляп и ограничиться сорока восемью простыми гражданами для переноса подарков, но упорно настаивали, чтобы при входе в зал обер-камергер громогласно провозгласил царский титул, хотя бы малый, и чтоб царские подарки на ковер к ногам цезаря кладены не были... «Мы-де не чуваша и цезарю не данники, а народ равновеликий...» Министр двора улыбался, разводил руками: «Сих неслыханных претензий удовлетворить никак не возможно...»

Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский политик. С горя ездили в оперу, дивились. Посетили загородные замки. Были на великом придворном машкераде. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Ромодановского и Винниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом...

«...Мин хер кениг... Письмо твое, июня 17 дня писанное, мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, — в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем сей огонь угасить немочно...»

Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако, сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете... Питер...»

## 16

За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кресту, взошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты:

— Великий государь, Петр Алексеевич, изволит быть на пути в Москву.

И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя саженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве.

Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию... Принесло ясна сокола! Прощай, значит, сон да дрема, опять надевай машкеру! А отвечать за стрелецкие бунты? за нешибкую войну с татарами? за пустую казну? за все дела, кои — вот-вот — собирались начать, да как-то еще не собрались? Батюшки, беда!

Не до отдыха стало, не до неги. Два раза в день сходилась большая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, итти в приказ Большой Казны — считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать!.. Призвали приказных дьяков, христом богом просили: буди какие непорядки в приказах — как-нибудь навести порядок, мелких под'ячих и писцов в эти дни домой на ночь не отпускать, строптивых привязывать к столам за ногу...

Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылое немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни на есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра—Натальей — спешно вернулась из Троицы.

Четвертого сентября под вечер у железных ворот дома князя-кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефор, Головин и Меньшиков. Постучали. На дворе завывали страшные кобели. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому, на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Ромодановский, — опухшее лицо его задрожало радостью.

## 17

От Ромодановского царь поехал в Кремль. Евдокия уже знала о прибытии и ожидала мужа, прибранная, разумянившаяся. Воробьяха в нарядной душегрее, хмурия глаза, улыбаясь, стояли на-страже на боковом царицыном крыльчке. Евдокия поминутно взглядывала в окошко на Воробьяху, освещенную сквозь дверную щель, — ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню:

— Приехал... Да прямо у царевнина крыльца вылез... Побегу, узнаю...

У Евдокии сразу опустела голова, почувствовала недоброе. Обессилев, присела. За окном — звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмаца. Приехав, сразу к Наталье кинулся... Хрустнула пальцами... «Жили, были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел мучить!».

Вскочила... «Где ж Алешенька? Бежать с ним к отцу!..» В двери столкнулась с Воробьиной... Баба громко зашептала:

— Своими глазами видела... Вошел он к Наталье... Обнял ее,— та как заплачет... А у него лик—суровый... Щеки дрожат... Усы кверху закручены. Кафтан заморской, серый, из кармана платок да трубка торчит, сапоги громадные, не нашей работы...

— Дура, дура, говори что было то...

— И говорит он ей: дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного... И, как это она повернулась?—и тут же выводит Алешеньку...

— Змея, змея, Наташка, — дрожа губами шептала Евдокия.

— И он схватил Алешеньку, прижал к груди, и ну его целовать, миловать... Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучил: «Спать, говорит, поеду в Преображенское...»

— И уехал? (Схватила за голову).

— Уехал, царица-матушка, ангел кротости, уехал, уехал, не то спать поехал, не то в немецкую слободу...

## 18

Еще на утренней заре потянулись в Преображенское кареты, колымаги, верхоконные... Бояре, генералы, полковники, вся вотчинная знать, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Протискиваясь через набитые народом сени, спрашивали с тревогой: «Ну, что? ну, как государь?...» Им отвечали со странными усмешками: «Государь весел...»

Он принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами, кружками и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость; тонкого сукна иноземный кафтан, на шее — женские кружева, похудевший, со вздернутыми темными усиками, в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул.

В длинных шубах, бородою вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину, — в ноги или в пояс, и тут только замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томоса и Секу, с овечьими ножницами.

Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело:

— Ишь, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются... Уж одолжи ее мне на радостях...

Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава... Томос и Сека тянулись на ципочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные, холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. Окроманный боярин молча закрывал лицо

рукой, тряся, но царь сам подносил ему немалый стакан тройной церцовой:

— Выпей наше здоровье на многие лета... И Самсону власы режали... (Оглядывался блестящим взором на придворных, поднимал палец)... Откуда брадобритие пошло? Женской породе оно любезнее, — сие из Парижа. Ха-ха (два раза — деревянным смехом)... А бороду — жаль, в гроб вели положить, — на том свете пристанет...

Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды. грози чем угодно, — не был бы столь страшен... Непонятный, весь чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватывало холодом...

В конце стола суетился полячок-цирульник, намазывая отстриженные бороды, брил... Зеркало подставлял, проклятый, чтоб изуверченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное лицо свое... Тут же, за столом, плакали пьяные из обритых... Только по платью и узнавали — генералиссимуса Шеина, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских... Царь двумя перстами брал обритых за щеку:

— Теперь хоть и к цесарскому двору не стыдно...

19

Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной и солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хлопотали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутили карл и карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюший, дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр. Прижал Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало:

— Не розыск был у них, преступное поущение и баловство... Шеин рассказал сейчас, — и сам, дурак, не понимает, — что нить в руках держал... Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: «Щуку-де вы с'ели, а зубы остались...»

В зеркале дикие глаза Петра потемнели. Лефорт, обернувшись, приказал людям выйти...

— Франц... Жало не вырвано! Сегодня бояр брил, — вся внутренность во мне кипела... Помыслию о сей кровожаждущей саранче!.. Знают, всё знают, — молчат, затаились... Не простой был бунт, не к стрельчихам шли... Здесь страшные дела готовились... Гангреной все государство поражено... Гниющие члены железом надо отсечь... А бояр, бородачей, всех связать кровавой порукой... Семя Милославского... Франц, сегодня ж послать указы, — из тюрем, монастырей везти стрельцов в Преображенское...

За обедом он опять как-будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность, — темный, пристальный взгляд: среди беседы и шуток вдруг, замолкнув, уставится на того или другого, непроницаемо, пытливо, нечеловечным взглядом... Дернет ноздрей и снова усмехается, пьет, хохочет деревянно...

Иноземцы — военные, моряки, инженеры — сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков нет-нет да и поглядывал на руки Петра, лежавшие на скатерти, — они сжимались, разжимались. Лефорт рассказывал различные курьезы о любовницах французского короля. Становилось шумнее. Вдруг высоко вскрикнув петушиным горлом, Петр вскочил, бешено перегнулся через стол к Шеину:

— Вор, вор!

Отшвырнул стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. Лефорт кидаясь ко всем, успокаивая. Музыка гремела с хор. В сенях появились первые дамы, оправляли парики и платья... Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными волосами, — красные шелковые, с золотыми кружевами юбки ее были необъятны, голые плечи и руки были белы и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно по-ученому присела и так стояла, глядя вверх, в руке — роза.

Иноземцы торопливо спрашивали: «Кто эта?» Оказалось — дочь богатейшего купчины Бровкина — Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь. И снова замешательство: дыша ноздрями, вернулся Петр, — зрачки его нашли Шеина, — выхватил шпагу и с размаху рубанул ею по столу перед лицом отшатнувшегося генералиссимуса. Полетели осколки стекла. Подскочил Лефорт, Петр ударил его локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по Шеину:

— Весь твой полк, тебя, всех твоих полковников изрублю, вор, бл...ий сын, дурак...

Алексашка бросил даму, смело подошел к Петру, не берегась шпаги, обнял его, зашептал на ухо. Шпага упала, Петр задышал в алексашкин парик:

— Сволочи, ах сволочи... Он полковничьими званиями торговал...

— Ничего, мин херц, обойдется, выпей венгерского...

Обошлось. Выпил венгерского, после сего погрозил пальцем Шеину. Подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос:

— А где Анна? Справлялся? Здорова? (Перекосив сжатый рот, взглянул на оранжевый закат за высокими окнами)... Постой, сам схожу за ней...

В домике вдовы Монс бегали со свечами, хлопали дверями, и

вдова и сенные девки сбились с ног, — беда: Анхен разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки, пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху, в напудренном парике, но не одетая, в пудромантеле, зашивала чулок. Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок.

Анхен поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.

## 21

Закованных стрельцов отовсюду свозили в Преображенскую слободу, сажали под караул по избам и подвалам. В конце сентября начался розыск. Допрашивали Петра, Ромодановский, Тихон Стрешнев и Лев Кириллович. Костры горели всю ночь в слободе перед избами, где происходили пытки. В четырнадцати застенках стрельцов поднимали на дыбу, били кнутом, сняв — волочили на двор и держали над горящей соломой. Давали пить водку, чтобы человек ожил, и опять вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных заводчиков.

Недели через две удалось напасть на след... Овсей Ржов, не вытерпев боли и жалости к себе, когда докрасна раскаленными клещами стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи, — по ее-де приказу они и шли в Новодевичье — сажать ее на царство. Константин, брат Овсея с третьей крови, сказал, что письмо они, стрельцы, затоптали в навоз под средней башней Нового Иерусалима. Вскрылось участие царевны Марфы, карлицы Авдотьи и Верки — ближней к Софье женщины...

Но тех, кто говорил с пыток, было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах... В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него...

Ночи он проводил в застенках. Днем — в делах с иноземными инженерами и мастерами, на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, к какому-либо послу, или генералу — обедать. Часу в десятом среди смеха, музыки, дурачества князь-папы вставал, — прямой, со втиснутой в плечи головой, — шагал из пиршественной залы на темный двор и в таратайке по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское, издали видное по тусклому зареву костров...

. . . . . , . . . . .

Один из секретарей цезарского посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали...

«...Чиновники датского посланника, — писал он, — пошли из любопытства в Преображенское. Они обходили разные темничные помещения, направляясь туда, где жесточайшие крики указывали место наиболее грустной трагедии... Уже не успели осмотреть, содрогаясь от ужаса, три избы, где на полу и даже в сенях виднелись дужи



крови, когда крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе...

Но — лишь вошли туда — как в страхе поспешили вон, ибо на-  
ткнулись на царя и бояр. Царь, стоявший перед голым, подвешенным  
к потолку человеком, обернулся к вошедшим, видимо, крайне недо-  
вольный, что иностранцы застали его при таком занятии. Нарышкин,  
выскочив за ними, спросил: «Вы кто такие? Зачем пришли?..» И, так  
как они молчали, объявил, чтобы немедленно отправились в дом князя  
Ромодановского... Но чиновники, чувствуя себя неприкосновенными,  
пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако, в погоню  
за ними пустился офицер, намереваясь обскákat и остановить их ло-  
шадь. Но сила была на стороне чиновников, — их было много, и они  
были бодрее духом... Заметив все же, что офицер намеревается при-  
менить решительные меры, они убежали в безопасное место... Впо-  
следствии я узнал фамилию этого офицера, — Алексашка — царский  
любимец и очень опасен...»

«...Определен новый денежный налог: на каждого служащего в  
приказах чиновника наложена подать — соразмерно должности, кото-  
рую он исправляет...

Вечером даны были во дворце Лефорта, с царского пышностью,  
разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем потешных огней.  
Царь, как некий огненный дух, бегал по обнаженному от листвы саду  
и поджигал транспаранты и фонтаны, мечущие искры. Царевич Але-  
ксей и царевна Наталья были также зрителями сих огней, но из осо-  
бой комнаты... На состоявшемся балу единодушно красивейшей  
из дам была признана Анна Монс, говорят, заменившую царю  
законную супругу, которую он собирается сослать в отдаленный  
монастырь...».

«...Десятого октября, приступая к исполнению казни, царь при-  
гласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преобра-  
женской слободе прилегает возвышенная площадь. Это место казни:  
там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами  
казненных. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооруже-  
нии. Много было москвитян, взлезших на крыши и ворота. Иностран-  
цев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко  
к месту казни.

Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех  
замерзли ноги, приходилось долго ждать... Наконец, его царское ве-  
личество под'ехал в карете вместе с известным Александром и, выле-  
зя, остановился около плах. Между тем толпа осужденных наполни-  
ла злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади  
на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор  
на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело.

Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно... На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти. Я не считаю мужеством подобное бесчувствие, оно проистекало у них не от твердости духа, а единственно от того, что, вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой, — жизнь им опротивела.

Одного из них провожала до плахи жена с детьми, — они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху.

Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко:

«Посторонись-ка, государь, я здесь лягу...»

Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на упорство и упрямство стрельцов, — даже под топором они не желают сознавать своей вины. Действительно, русские чрезвычайно упрямы...»

«У Новодевичьего монастыря поставлено тридцать виселиц четырехугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене монастыря под самыми окнами Софьиной кельи. Висевший посредине держал привязанную к мертвым рукам челобитную».

«Его царское величество присутствовал при казни попов, участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, и затем они живыми были привязаны к колесу, третий обезглавлен. Еще живые, попы зловещим шопотом негодовали, что третий из них отделался столь быстрым родом смерти...»

«...Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, священны и негрикосновенны, царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в этот день более двухсот человек... Едва ли столь необыкновенный частокол ограждал какой-либо другой город, каковой изобразили собой стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы».

«...27 октября... Эта казнь резко отличается от предыдущих. Она совершена различными способами и почти невероятными... Триста тридцать человек зараз обагрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской думы, дьяки — по повелению царя — должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена, кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр... Все эти высокородные господа явились на площадь, заранее дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый

должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осужденного.

Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он нездоров, — от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палачей, трясутся руки...

Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязанность палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. Триста тридцать человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно; Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине; стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Алексашка, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день двадцать голов. Князь-кесарь собственной рукой умертвил четверых. Некоторых из бояр пришлось уводить под руки, — так они были бледны и обессилены».

Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивала выюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилося по темным углам. Кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями паруса торговых кораблей.

*(Конец второй части)*

12 мая 1930 г,  
Детское Село.

---

# Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение<sup>1)</sup>)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Гора Кошка

1

Рыжий спал на спине, подложив руку под затылок. Проснувшись, он не сделал никакого движенья, а только открыл глаза: его часто будили таким образом на ранней заре, когда приходил тифлисский поезд, потому что он все еще жил в комнате для приезжих.

Человек, приехавший сегодня, не обратил на рыжего никакого внимания,—он разматывался. Стоя посреди комнаты, он методично обеими руками раскручивал вязаный шарфик с шеи. На нем была кожаная светло-коричневая куртка, вязаные гетры, тирольские, подбитые гвоздями ботинки и ушастая шапка. У стены прислонил он бамбуковую трость, на стол положил чемодан и портфель. Размотавшись, приезжий взял стул, сел посреди комнаты и, пыхтя, стал стаскивать гетры.

Разглядывая его, рыжий вспомнил, что произошло вчера. Прежде чем началось таинственное совещание в квартире Левона Давыдовича, прежде чем секретарь ячейки снял с вешалки нарядную клетчатую кепку, итти на собрание,—весь участок знал и на все лады пересуживал новость о том, что проект Мизингэса забракован в центре. Рыжий представил себе весь этот вечер в клубе с первой минуты, с неистового стука нард. В этот вечер рабочие взбесились: нарды пропиты-гали стены барака, сухой трескотней сыпались они на зрителей, и зрителей набилось в барак множество. Стук был, в сущности, главным удовольствием игры. Среди рабочих находились виртуозы,—закрыв глаза, по одному стуку они могли определить, кто и как бросил кость.

Играющие сидели по-двое за маленькими столами перед длинной, гладко отполированной доской. Тут были и русские, они тоже

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир», кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, с. г.

научились играть. Эти долго, прежде чем бросить, бренчали костями в кулаке, потрясая им в воздухе, а потом вдруг бросали всей пятерней на доску, бестолково растопырив пальцы. Настоящих нардистов это оскорбляло, тихие рабочие-тиорки в бараньих высоких шапках с мелкими чертами лица, изрытыми морщиночками, тонко улыбались; невежливые армяне супили на резкий стук брови. Настоящий игрок—он мог с ума свести зрителя, душу вымотать зрителю законченным совершенством игры. Настоящий игрок кончиком пальцев знал число очков на костях. Бросал он не сразу: медленно скатывал кость по ладони к самому концу пальцев и как бы капал ею на доску с острия последнего ногтя. Обласканная длинной лаской, нагретая кость падала особенно: как женщина на спину; казалось, она обращает к игроку свое шестиглазое лицо.

«Тридцать девять лет играй, чтоб бросить кость хорошо»—говорили опытные игроки и нагибались вкусно, стопочкой, забрать камень, стукнуть им и через всю доску одним только вытянутым концом третьего пальца переслать, куда следует. Камень, треща, вкатывался в ямку. Ни одна игра в мире не знала подобной пластики. И через весь восток, от Нила до Каспия, нардистов роднили одни и те же арабские восклицанья, произносимые с особенным гортанным шиком:

— Дубэш! Пянчучар! Дубо́ра!

Ну где же было шахматисту и его жалкому лексикону, из «ну-те-с» или «ну-ка» и песенке, застрявшей в зубах, как хрящ от обеда,—где соперничать с нардами?

Степанос огорченно наблюдал за рабочими, охваченными магией жеста. Это был в сущности сидячий танец,—азарт их становился с каждой минутой сильнее. Сюда набились все, кого собрал и кормил Мизингэс, за исключением работавшей смены. Даже частники напозвели сюда. Частником на участке считался сапожник, построивший себе особнячок из сырца и монополюно чинивший обувь; цырульник, располагавший всю музыку за неимением закрытого помещенья прямо на воздухе: венский стул, тазик, кисть, коробочку с мыльным порошком; гребни он держал в собственной шевелюре. Также частниками считались торговцы луком, носившие свой товар в мешках со станции. Но эти, как и деревенские торговцы, за пазухой державшие яйца, а в бутылках от боржома—густое, грязное, буйволиное молоко, пропитанное запахом дыма,—уже вытеснялись по всей линии местным кооперативом. Так вот, в самый разгар игры, заглушая и стук нард, и гортанные арабские восклицанья, и закричал вдруг тоненько на русском языке Михаил Самсонов, прибежавший с моста:

— Братцы! Старики-то ведь правы, старики-то. Напакостила гора Кошка. Проект-то в Москве... провалили ведь!

Здесь рыжий опять открыл глаза, потому что, вспоминая, успел даже и вздремнуть слегка. Человек в светло-коричневой кожаной

куртке стоял у самой его постели, нетерпеливо глядя на него желтоватыми козлиными глазами. Он что-то жевал.

— Проснулись? Доброе утро. Вы здешний? Ага! Я геолог Иван Борисыч Лазутин.

Рыжий мгновенно, мячиком, поднялся с кровати. Покуда он натягивал носки и штаны, приезжий деликатно повернул ему спину, барабая пальцами по столу. Когда же рыжий в рубашке поверх штанов пошел умываться, он тоже вынул из чемодана складной баульчик, где были в футляриках мыло, зубная щетка, паста, грешок и прочие туалетные принадлежности, перекинул мохнатое полотенце через плечо и пошел за рыжим. Нетерпеливо перебирал он ногами, покуда Арно Арэвьян, не спеша, мылил свою белую шею. Приезжий глядел на стройную спину, на европейскую линию затылка, на длинный череп долихоцефала (череп—одобрил приезжий), на эти ноги акробата и загадывал, где работает этот великолепный экземпляр человека. Но когда рыжий, умывшись, вернулся в комнату, геолог забыл о своем нетерпенье умыться, едва помочил руки под краном, брызнул на нос и тотчас побежал в комнату, еще с порога окликнув: «Да вы сидите, не торопитесь, будем чай пить».

Торопиться рыжему было некуда. Сегодня он отдыхал. Да и час слишком ранний,—еще очень бледный горный рассвет стоял за окном, делая предметы тусклыми.

Геолог между тем продолжал суетиться, все поглядывая на рыжего и на легкие движения его спокойной белой руки. Он достал холодные пирожки с фаршем и выкладывал их на тарелку. За дверями Марьянка-уборщица, щеголяя короткой юбкой и городскими туфельками на босу ногу, раздувала для приезжего самовар. Она, как и все женщины на участке, была стрижена по моде, и ее синеватые щеки, втянутые голодом, были густо намазаны кармином. Неся поднос, она распустила в ухмылке губы на рыжего, ей, как и всем женщинам на участке, рыжий непреодолимо нравился. Геолог шутил с ней, продолжая жевать что-то. Со стороны казалось, будто приезжий держит за щекой вечную карамельку. Слова выходили у него изо рта, сопровождаемые мелкими брызгами. Но эта особенность Ивана Борисовича Лазутина происходила не от конфетки. В далекую пору детства кормилица не отучила геолога жевать и сосать свой собственный язык.

— Я мученик своего языка, он длинный у меня, — длинее нормы,—признавался Лазутин.

Сейчас в муках уязвленного самолюбия он не мог оставаться наедине с собой. Фраза, разжеванная вместо с языком, душила ему горло. Подождав, когда Марьянка, без надобности покрутившись в комнате, ушла, наконец, он устремил свои желтоватые глаза на рыжего:

— Слышали, а? Москвичи утверждают, неправильная экспертиза: фельзитовых туфов нет. А наши, как водится, перед москвичами на животе. На участке что говорят? Кроют Лазутина?

Не скрывая любопытства, рыжий глядел на коротенького человека. Он знал, что перед ним крупнейший геолог Закавказья. О маленьком домике на Авлабаре, собственности геолога, рассказывали чудеса. Холостяк, человек со странностями. Лазутин попал в Закавказье задолго до революции и прочно обосновался там, работая на богатых заказчиков,—промышленников, концессионеров, солидные фирмы. У него был нюх на «полезные ископаемые», он физиологически чувствовал близость руды. Как-то, читая Гете, он набрел на таинственную страницу в Вильгельме Мейстере о подобном чутье земных недр и отчеркнул место карандашом. «Вы мне не верите, так верьте, пожалуйста, Гете,—говорил он с тех пор.—Это есть материал для науки, подобная связь. Минеральные ключи я чувствую за пятьсот саженей, у меня чешется кожа. (Жуя свой язык, геолог растягивал гласные: ко-о-жа). Медь причиняет мне спазму. Марганец... гм, насчет марганца... дам в обществе нету? Поработав на марганце, я, черт возьми, еду к девочкам, выкутиться».

Но Лазутин злоупотреблял оригинальностью. Она подвела его, как некоторых модных врачей. Постепенно, шопотом стали говорить про Лазутина: «Да, конечно, но знаете—он дилетант все-таки». «Научность хромает у нашего Ивана Борисовича»—добавляли самые верные лазутинцы. Он долгое время нес свою кличку, как дребедень на подошве, не замечая. Но, узнав, уже не мог от нее отвязаться. И подмоченная репутация сделала его суетливым, желание оправдаться душило его, один в своем удивительном домике, среди собранных драгоценностей, знаток Закавказья, исходивший его вдоль и поперек. Лазутин чудаковато и вспышками переходил от яростного самоунижения к горчайшему самоунижению. Только показывая свои коллекции и переживая их сызнова, он обретал внутреннюю уверенность и спокойствие.

## 2

Коллекции были, действительно, великолепны. Пять, шесть часов проведя в домике, вы узнавали страну. Длинные боковые коридоры, где узкие окна бросали полосатый свет, хранили сокровища Азербайджана. Почти каждое было найдено, открыто, исследовано Лазутиным,— в шкафах за стеклом дашкесанские железные руды, медь Кедабека, серебро-свинцовые залежи. Мехманы, колчедан Чирагидзора, отдел минеральных источников Исти-Су, нефтяное богатство Баку. Обойдя их, проникали в квадратики Грузии с сетью ее республик,—здесь были отдельные маленькие комнаты, свет падал с застекленного потолка. Лиловые стены марганцевой комнаты давали гол. Все разнообразие Чиатуры было представлено здесь от блестящих, круглых оолитовых зерен марганца до жирных кусков руды. Тонкая пыль пачкала пальцы. Черная рука шахтера—несмываемая перчатка—вознесена была над шкафом. Стекла хранили превосходные модели шахт, изогипс показывал залеганье марганцевого пласта, диаграммы.

украшали стены. На полках была собрана лучшая литература по марганцу на французском языке. Любитель, не побоявшийся красноречия Лазутина, бывал здесь приятно вознаграждаем. Обойдя комнату, геолог, жуя свой язык, подводил его к изящному умывальнику: фиолетовое душистое мыло к его услугам. В этом углу маленький музей практически разъяснял пользу марганца; косметика, профилактика, гигиена—красивое сочетание фиолетовых оттенков; восковая распухшая рука,—змеиный укус,—и лечение рядом: шприц, пузырек с раствором марганцевого калия. Химия занимала отдельную полку. Рельсы на подоконнике, сталь с марганцем и без марганца, процент их изнашиваемости. Все это Лазутин готовил мелочь за мелочью сам, наслаждаясь растущим количеством предметов. У него в кабинете среди множества расписаний были столбики календарных дней, и к каждому приписывал геолог карандашом, что приобретено или сделано для музея.

От марганца вы проходили к углю. Здесь соперничали два «т»,—Тквибули и Ткварчели. Хитрый Лазутин в каждой комнате разнообразил свои методы. В комнате «грузинского угля» он путеводителем сделал экономику. Посетителю предлагалось углубиться во взаимоотношения цен, в сложные комбинации стоимостей и качеств. Лазутин дал тощий тквибульский уголь во всей его невзрачности. Но рядом с тквибульским углем геолог, превращаясь в инженера и в экономиста, поставил во всей остроте проблему угольной пыли. Зритель сперва только узнавал о ней из надписей и картинок, видел ее образцы, знакомился с опытами брикетирования. Потом маленькие модели печей, детские игрушки демонстрировали работу на пыли. Потом широким сводом вырезок, иностранных журналов, фотографий, надписей в уголь вмешивалась «заграница», здесь зрителю давалась экономическая перспектива: какой выгоды, какой дешевизны, какого огромного сохранения угля можно достичь употреблением угольной пыли. И в свете этих новых знаний тквибульский уголь с его плохим качеством, так презрительно неуважаемый у себя на родине, получал особое значение. На другой стороне комнаты раскрывала свою замечательную, полосатую колоннаду работа ткварчельских буровых скважин. И здесь опять Лазутин превзошел сам себя. Впервые, быть может, в геологическом музее был показан по вертикалям опыт нескольких буровых скважин, он расположился рядами, и эти колонки, соответственно масштабу комнаты уменьшенные, красивым букетом своих стеблей раскрывали все тайны залегания угольных ткварчельских пластов. Между ними большие черные цифры указывали на расстояние одной буровой от другой. Сбоку эlegantный, как альбом для стихов, в наряднейшем кожаном переплете образец идеального «журнала» бурового мастера. Переходя взглядом от одного столбика к другому, вы ясно видели сечение осадочных пород, характернейший разрез «каменноугольной системы». Вверху шел нанос, за ним красная полоса глины, за глиной—семья серых сланцев,



глинистых и песчаных, за сланцами, точнее—между особым грязным слоем углистых сланцев, неизменно чернела густая полоска угля, потом в пестром хороводе семейство сланцев с многочисленными сородичами—сланец песчаный кудрявчик, сланец известковый, сланец глинистый, песчаник, опять сланец углистый и новый, мощный слой угля,—захотите—и, взглянув на масштаб и на продольные полосы сеченья, вы легко определите толщину угольного пласта,—3,75 метра. Внизу под сланцами и углем красиво и пестро стоят крепкие столбики туфогенного песчаника, подпочвенных залегающих. Эти гладкие, словно отполированные столбы вынуты из настоящей штанги. Лазутин сам пропорционально уменьшил их масштаб. Вся угленосная площадь Ткварчел—у меня под рукой,—гордился он. И показывал тем, кто понимал толк в деле, образцы пробного ткварчельского кокса из печей Макеевки.

Если посетителем музея была женщина, Лазутин быстро вел ее в «дамскую комнату»—очаровательную бело-розовую комнатку ку-таисского барита. Здесь прохладные, блестящие кристаллы красивого камня разрешалось приласкать рукой. Здесь был и маленький «Ausflug», как говорят немцы, маленький пикник в промышленность. Картонная модель баритового завода, последовательные стадии превращения барита в суррогат краски и белый, легкий дамский столик со стулом, для отдыха в комнате, крашенный грузинским баритом.

В отдел Армении вела красивая витая лестница. Отдел помещался наверху. Маленькие чердачные ниши, складчатые, подобно телу гармоники, шли вокруг центральной, стеклянным куполом увенчанной большой залы,—залы «синтеза», по слову хозяина. В каждой нише собраны были редчайшие, музейные экспонаты сокровищ Армении,—зангезурской и аллавердской меди, пемзы, серного колчедана, железистого хромита с берегов Севанского озера, пегматитовых жил лорийского гранита, великолепных строительных материалов, начиная с арктического туфа и кончая гаммой цветных мраморов. Опьяненный увиденным, переполненный новыми знаниями, усталый, замученный, сохраняя в ладонях приятную прохладу камня, в глазах—оранжевое сияние спектра от бесчисленных красок и оттенков, зритель подвигался, наконец, Лазутиным к огромному полотну, на экране растянутому в самой середине залы под сияющим куполом. Взяв в руки легкую бамбуковую палочку, геолог обнимал здесь зрителя от избытка чувств за плечи и, нескончаемо растягивая гласные, прожевывая свой язык, тянул, почти не находя слов:

— Ка-а-рта! Литологическая карта Закавказья. Первый опыт в Союзе. Что? Диллетант Лазутин? Фокусник Лазутин? Приглашайте, приглашайте своих генералов, охотьтесь за профессорами. Ползайте на животе перед всяким, кто с вас запросит. Нашинская, закавказская манера—уважать дорогостоящего человека. Ну, а скажите-ка мне, кто из генералов сделал там у себя, в центре-то, литологическую карту? Ась?

На полотне была подробнейшая карта распространения минерального сырья в Закавказье. Каждое ископаемое имело свой цвет, знак мощности, качества, применения. Это была замечательная работа. Кто умел быть геологом,—так говорил Лазутин,—для того подобная карта служила почти таблицей Менделеева: умственным оком восполняя пробелы, тектонически путешествуя по недрам, схватывая в стройной связи как-будто случайные нити месторождений, вы научились разгадывать покровы земли, населять пустоты, правильно предполагать...

«Правильно предполагать—вот талант нашего брата»—здесь, задыхаясь слегка, волшебник своего феерического музея вел гостя вниз, в первый этаж домика на Авлабаре, где молчаливая армянка-стряпуха, не спеша, ставила на скромную клеенку стола грубый фаянс тарелок: травки пахучие, жирный суп из молочной сыворотки, грузинское гоми, перченый, красномясый люля-кябаб.

И этот диковинный человек, на четвереньках опробовавший камни и тропки всего Закавказья, ошибся в пустом вопросе, ошибся так грубо, так невероятно.

— Ай!—вскрикнул вдруг геолог и хлопнул себя по башке ладонью, словно бил муху,—да ведь быть этого не может, быть не может. В шесть часов получил телеграмму, в девять выехал. Молодой человек, у вас хороший череп, где вы работаете? Прошу вас, молодой человек, запомнить: я докажу им, что ерунда, чистейшая ерунда. Как? Наносы, осадочные породы, речное ущелье? Идемте. Одевайтесь. Нечего терять время.

За окном уже рассвело, и самовар, внесенный уборщицей Марьянкой, давно перестал петь. От пирожков остался лишь жирный след на тарелке. Рыжий, вставая, изо всех сил вытянулся—он каждое утро укреплял эдак свой позвоночник—и, выпустив глубокое дыхание, ответил Лазутину:

— Я готов.

### 3

Совещание у Левона Давыдовича затянулось глубоко за ночь. Секретный пакет, как всегда бывает с секретами, принес вести, гораздо менее страшные, нежели те, что разнеслись по участку. Правда, проект был забракован. Правда, правление предписывало замедлить темп, перейти с трех смен на одну, остановить капитальное строительство и не делать никаких новых трат на подсобное, включая сюда и жилые бараки и все по договору обещанные меры благоустройства участка. Но тут же были и совсем другие распоряжения. Именно они-то и делали задачу Левона Давыдовича невыносимо сложной. Роняя щукастый профиль в бумаги, начальник участка в десятый раз читал: «Сохранить рабочую готовность участка, помешать уходу квалифицированных и кадровых...

(Помешать их уходу, сбавя заработок!)

...ни в какой мере не допустить паники на участке...

(здесь делал «гм» начканц, Захар Петрович, и помечал у себя в блокноте карандашом).

...Иметь в виду, что по пересмотре и переработке проекта строительство должно пойти ударным порядком, для какой-то цели совершенно необходимо держать, так сказать, рабочую силу «под парами».

Держать ее под парами! Александр Александрович представил себе артель Шибко. Держите ее под парами, уменьшив сдельщину! Холодным потом покрылся позвоночник Александра Александровича. Даже сосед, Аллавердский завод, сманивал у них слесарей, повышая им категорию. При остром-то закавказском голоде на рабочего? Вот именно! Он тысячу раз согласен с Левоном Давыдовичем, что наше правленье...

Крепкое словцо удержал начканц, крикнув в самое ухо Александра Александровича:

— Да не об этом сейчас!

Начальник участка, действительно, говорил не об этом. Едва сдерживая истерику, он вспоминал Бельгию. Там не жалели денег на изысканья. Тысячи, сотни тысяч тратились на буровые,—к проекту приступали, изучив природные данные до ниточки. Он испытывал горчайшую, глубокую обиду, как породистый пес, которого заставляют стеречь гусей. Один начканц упорно переводил —и в этом была его всегдашняя роль—совещанье на практические рельсы. «Я так понимаю,—говорил начканц, для видимости заглядывая в блокнот,—одним ударом двух зайцев. Под сокращенье мы подведем, Левон Давыдович, беспокойных личностей».

По его мнению, в панике на участке были повинны беспокойные личности. Разглаживая пятерней кудреватые с проседью волосы, начканц читал список:

...Мастер Лайтис,—благо с буровыми теперича на аминь идет.

...Бурильщик Заргарьян,—у его жилплощади нет, дак не строить же!

...Самсонов, Михаил,—и всю артель сезонников за ненадобностью. Эх, хорошо бы и Аристиды зараз.—Но Аристиды Самсонова отстоял Александр Александрович. Чернявый мог навредить.

Пока под знаком конспирации шло это совещанье на квартире начальника участка, в клубе заседало бюро. Члены бюро, счетом восемь человек, сидели вокруг стола, крытого красной суконкой. Председательствовал секретарь ячейки, про которого говорили: «Секретарь у нас подготовленный», а в конторе добавляли: «Безвредный».

Он сидел, свесив ноги в коротковатых брюках, отчего жарко начищенные желтые штиблеты были видны до самых носков. От секретаря пахло едким запахом цветочного мыла. Ворсинки сукна указывали стремительное направление щетки,—синий френч секретаря был почти полосат от чистки. Супя очень густые, в два пальца толщиной брови, он басистым, низким голосом докладывал бюро:

— Товарищи,—говорил секретарь,—в наших местах Мизингэс—очаг социализма. Первый враг, с которым борется рабочая масса, это есть отсталость. Наш отсталый элемент—для него Мизингэс не дорог, Мизингэс ему хлеб, дает, а он рад каждой неудаче, он будет нам тормозить каждый шаг. Но не так страшен этот враг, товарищи, как прямые наши враги, кулачье и попы, вот кто стоит за нашими несознательными рабочими. Старик Месроп распространяет бабьи сказки на работах, конечно, с Месропа много не спросишь, но вот, между прочим, о горе Кошке были вчера росказни среди комсомольцев.

На этом месте я почти слышу голос собрания «позор». Я вижу «безвредного», качающего под столом штиблетами. Но не следует увлекаться: нельзя описать того, чего не видел и не слышал сам. Автор сидит у запертой двери, размазывая пальцем краски на палитре: натура ему недоступна. Конечно, он знает, что за дверью идет доклад, составленный книжно,—книга ушибла слабую голову секретаря, он кидается в жизнь, как иные купальщики в море, на спасательном поясе книги. Автор знает, что тут повторяются сызнава и приказ правленья и ссылка на пересмотр проекта, на ошибку геологического анализа,—и что все эти вопросы, повторяясь сызнава в каком-то совсем другом освещении ставят перед бюро ту же самую задачу: не допустить паники на участке. А дальше? Любовь к аналогиям мучит меня. Я вижу карандашик начканца и монгольские глаза его над списком «неспокойных личностей». Он подкрадывается к беспокойным личностям сзади. И я вижу старика Месропа с его красноватыми глазками и козлиной ножкой в цынготном рту,—он насмешливо стоит перед бюро, а за ним стоят тысячи Месропов деревни, красноглазых, цынготных и с вонючими козлиными ножками. Сплюнув, они утопили бы клубный барак,—в какие списочки вносит их—интересно—докладчик?

Но, здесь, нашибая подслушивателю шишку, со скрипом распахнулась клубная дверь, и члены бюро, один за другим, проследовали с заседания. Они были довольны,—потные и веселые лица говорили об этом. Они переговаривались, показывая сверканье зубов,—два имени «Вартан» и «Гурген» звучали одобрительно вперемежку со смехом. И что там ни говори о секретаре, как ни критикуй его, а секретарь был тоже доволен, из-под нарядной клетчатой кепочки армянский нос его морщился от смеха, и было видно сейчас, что секретарь очень молод, моложе, чем кажется,—он тоже трубил своим низким басом эти два имени «Вартан» и «Гурген».

Среди восьми человек, присутствовавших на бюро, ни один так не назывался. Вартан и Гурген, два комсомольца, были — и с этим решительно все согласились бж—две беспокойнейших личности на участке. Гурген, огромный парень со вломанным носом, рябой, стоял в кузнечном цеху. На свадьбах он напивался, а напившись — плакал о том, что вот, сирота — Гурген, отца-матери у Гургена нет,

и, если в эту минуту чорт дергал шутника какого-нибудь хихикнуть или даже попросту, кашлянув, отворотиться, тяжелый, кровью налитый, бычий взгляд Гургена прицеплялся к несчастному и предвещал много неприятностей. А так в мирное время Гурген был инструктором по физкультуре. Что до Вартана, всегдашнего закадыки Гургена,—то Вартан был красавчик, поэт и рабкор. Это его заметки о скандальном происшествии с арматурой появились в центральной газете. Это он соперничал с Володей-конторщиком по части сердечных дел. И что более важно, — два года уже Вартан готовил сценарий для кинематографа из эпохи дашнаков, показывая товарищам адресованное ему и на машинке выстуканное письмо. Работал Вартан в механической мастерской. Нельзя не прибавить, что тут и было слабое или, как говорили в комсомоле, «узкое» место Вартана: спеша кончить дневную работу, Вартан делал не очень уж много и не очень охотно. Вечерами, набирая сдельщину, он стоял у станка вовсе другим человеком: ни зевоты, ни почесыванья, ни разговоров, — хорошие, чистые, толковые вещи вырабатывал тот же Вартан посдельно. Вся механическая отличалась таким двоедушием. «Смотри, дойдет до тебя» — говорили Вартану товарищи из дизельной. Но, пока на участке был волчий голод на слесарей, до механической «не доходило».

Вот эти-то две беспокойных личности рассердили вчера секретаря ячейки, проходившего мимо, — простительно Месропу какому-нибудь рассуждать о злом глазе горы, о живущем на горе дэве, о камнях, швыряемых восьмируким дэвом на шоссе на дорогу. Подвыпивший Гурген сам чуть было не швырнул камень в голову секретаря. Чтoб он да верил рассказям Месропа!

Это и было прелюдией к необычному делу, затеянному Вартаном и Гургеном, делу, о котором желающий мог, между прочим, вычитать из протоколов бюро. Выходившие с заседания члены бюро, усмехаясь, оттого-то и поминали их — «Вартан» и «Гурген».

Герои необычайной затеи, внесенной ими в письменной форме, как предложение, на бюро, жили в одном бараке вместе с двадцатью двумя холостыми рабочими. В эту ночь им почти не пришлось спать. Усталые соседи, равнодушно сказав «да ну-у», — в протяжном ну-у было недоверие и формальное сочувствие, — заваливались под грязные одеяла. Но Гурген и Вартан, радостно хохоча, до утра представляли себе, что за рожа будет у старого Месропа, когда вместо восьмирукого дэва... И что за рожи будут у всех вообще на участке. И каждый чигдымец... чигдымец-то или молоканин, ночью дремлющий на возу, — ведь они, проезжая наверху по шоссе, непременно увидят в глубине каньона ярчайшее красное пламя. Пора нам сказать, что Гурген и Вартан в целях решительной победы над местными суевериями, предложили самолично воодрузить на вершине горы Кошки, считавшейся до сих пор неприступной, огромную красную звезду и, проведя туда электрические провода, прикрепить на пяти ее концах лампочки.

Гора Кошка, если глядеть на нее сверху, с Чигдымского шоссе, чернела у входа в ущелье пригорком, глубоко под ногами проезжих. Но для того, кто находится на дне каньона, этот осколок порфирита вздымался огромной и почти отвесной скадой, не имеющей никаких покатостей, и увидеть ее вершину можно было, лишь запрокинув назад голову, сколько позволяет шея. Лисицы, впрочем, взбирались на нее. Местные охотники, по крайней мере, таинственно рассказывали об одиноком лисьем самце, чьи следы они замечали в расщелинах по свежему снегу. Утром, не доспав ночь, Гурген и Вартан собрали снаряжение. Для начала переобулись,—сапоги и ботинки были заменены буйволиными сандалиями сезонников, брюки до самых колен завернуты обмотками. Местный альпинизм менее всего походил на европейский,—никаких гвоздей. Подошвы должны были брать высоту, как голые пятки,—лепиться к камню. И никаких палок,—их заменяла живая пятерня. Впрочем, шесток для проводов Гурген понес на плече, как и мешок со всеми необходимыми принадлежностями.

## 4

В это же самое время старик Месроп, обтянув над цынготной челюстью желтые птичьи губы, стоял возле кузницы, обеими ладонями опершись на пастушью палку, и с недоброй улыбкой смотрел, как кривой костоправ,—русский человек Павло, пришедший с артелью, но спившийся на вольной армянской водке и застрявший на стройке лошадиным костоправом,—как русский человек, Павло, орудует стальной пилкой в окровавленной лошадиной ноге. Под брюхо у лошади, подпирая ей заднюю ногу, врезался ремень и такой же обтягивает переднюю часть брюха. Оба браслета прищиплены наверху, на деревянной перекладине, и лошадь свисает в них, четко подогнув ногу, как при скачке. Глаз у нее зашелся, круп мелко дрожит,—вся она без крика и ржання, так и передает острое ощущение боли, и мальчишка-конюх усиленно дует в ноздри, чтоб не обмерла лошадь. Милиционер Авак, стоя тут же, рассказывал, как было дело: ехал он, значит, к мосту под горой Кошкой по новой дороге, в темноте, не видно было, мячиком камень и прямо в кобылу; возьми он чуть влево, неизвестно, был ли бы еще цел сам Авак! В этих местах, чуть дождь или роса, обязательно камни прут, на честном слове держатся. Месяца не проходит без несчастного случая...

— Это как кого,—знающе сказал Месроп. Желтая протабаченная слюна собралась у него в уголках рта,—как кого, а крестьян камень не обижает. Наш скот ничего, проходит.

В иное время не дал бы Авак спуску на Месропову контрреволюцию. Но сегодня не хотел и связываться. Он чуть не плакал на раненую кобылку, клонившую свой детский профиль с приподнятым, как бы курносый носом на бок,—так иной раз, замлев, усталый человек склоняет на ладонь щеку. Рваная рана на крупе,—зашить

ее можно было, но милиционер Авак знал, что останется хромота. Лошадь была казенная, резвунья, из породы дурашных, хорошая лошадь.

— А чего-й там на счет проекта? Слух ходит, инженеры местом ошиблись? — совершеннейшим дурачком, но еще ехидней Месропа спросил костоправ.

И этот, ей богу! Кормится, ест, пьет, квалификацию пропил, а туда же, за выжившим из ума дедкой... Авак вспомнил, как они вчера на бюро крыли подобных личностей, и, разгорячась, даже про лошадь забыв, сунулся с готовой речью на ехидного человека. Честное, красное лицо Авака так и горело потребностью высказаться, и быть бы «поверженной линии», — как про себя определял Авак, — быть бы поверженной линии и поднятой и выпрямленной к чести местных партийных сил, если б в эту минуту не опустилась на плечо Авака серенькая, тряпичная, фильдекосовая рука и грозный голос начальника участка не крикнул пронзительно:

— В чем дело? Кто лошадь брал без наряда? Вы? Вы?!

Начальник участка, разбуженный раньше, чем следовало, стоял сейчас в небольшой группе лиц, которую милиционер в первую минуту не распознал от неожиданности. Начальник участка был простужен, полосатое кашне висело у него с плеча, пальто было туго, по самый нос застегнуто. Он глядел яростными глазами на раненый круп, — конечно, испортили хорошую казенную кобылу! — причина, достаточная для взрыва, хотя в эту минуту она — только предлог. Левон Давыдович был взбешен до крайности. Он был взбешен оттого, что от него требовали деликатности. Геолог — вот кто требовал деликатности. В такую минуту — прорва дела, напряженнейшая ситуация, нервы-во, дали бы человеку выспаться — был бы работоспособен, а тут извольте насильственно деликатничать, вставать чуть свет, итти к шуту-лешему по сырости якобы проверять экспертизу, — масло лить на уязвленное самолюбие, — подумаешь, уязвленное самолюбие, вы мне покажите, у кого сейчас нет уязвленного самолюбия?!

Руша весь свой гнев на безмолвного Авака, начальник участка совершенно забылся. Узкий ботинок его дергался, истоптывая землю, словно был он клыком рывшегося в земле кабана. Щучий нос, бледный до дурноты, устрасил даже Фокина. Отделившись от спутников, техник Фокин подошел к Левону Давыдовичу и негромко сказал:

— Вы его зря. Он, как старший милиционер, имеет право взять лошадь.

— Ах, имеет право! Извините, забыл. Он имеет право взять лошадь, вы имеете право замечанье делать начальнику участка. Кто еще имеет право? Скамья подсудимых, вот вы имеете на что право, калеча лошадь, понимаете вы или не понимаете?

— Садист, — пробормотал Фокин.

Красный от оскорбленного самолюбия, милиционер Авак напряженно глядел на концы сапог: круглые, выпученные глаза его были

немы, как закотившийся взгляд кобылы, и с уходом начальника не прояснились. Даже цынготный старик попятился прочь от кузни, да так, идя спиной, и вскинул два белых глаза на квадратную, ощерившую в странном оскале гигантские каменные усищи, вершину горы Кошки.

Конечно, он это зря разругал милиционера, Левон Давыдович понимает и, даже забегая вперед событиям, видит, чего не видят ни Фокин, ни окружающие: я из него врага себе сделал, а, вероятно, и делу врага,—думает Левон Давыдович, шагая в сторонке от прочих,—скажут — зверь, маньяк, ну и пусть скажут... Простите, Иван Борисович, я несколько задержал вас.

Голос начальника участка звучал сейчас отменной, сердечной вежливостью. Глаза начальника участка смотрели на геолога подкупающе внимательно. Было трудно подумать, что именно геолог и вызвал вспышку. И сам геолог Иван Борисович в отличном настроении, убогаторенный, как бог некий, незримой человеческой жертвой,—оглядываясь вокруг на знакомые места и осуждая в душе излишнюю горячность начальника участка, про которого недаром, значит, поговаривают: бешеный человек,—менее всего считал себя причиной этой горячности. Их в маленькой экскурсии было четверо, и каждому из них, прежде чем тронуться в путь, геолог пощупал подмышки: подмышки не жмут ли: «Первое дело — не потеть, тогда не простудитесь. При ходьбе нельзя простудиться, если только вас не стесняет одежда»—говорливо предупреждал геолог, испытывая необычайный прилив энергии. Чем больше Левон Давыдович чувствовал необходимость быть деликатным, тем самоуверенней и забывчивее становился толстяк. Уже предстоящая прогулка была для него удовольствием, доставляемым не столько ему, сколько им. Старый дйдакт просунулся в нем. Легкая бамбуковая тросточка то и дело взлетала, чертя быстрые дуги в пространстве, и геолог, посасывая язык и брызгая сочной слюной, словно грыз он карамель дюшес и ворочал ее во рту, говорил, приятно затрудняя речь, вкуснейшие вещи обо всем, мимо чего несли их ноги. Легкий взлет палочки описал дугу и вокруг лошади, распятой на своей деревянной гильотине. Они стояли сейчас возле места и, оборотившись, глядели вверх на кузню, где все еще кривой Павло ходил вокруг лошади. Левон Давыдович испытывал жестокую потребность вернуться и загладить чем-нибудь резкость. Лучше всего хлопнул бы он Авака по плечу и сказал по-армянски: «Плюнь, пустяки это». Не в силах справиться с искушением, начальник участка с видом человека, нечто забывшего, вдруг пошел вверх по тропинке, сделав им знак обождать. Тут именно и взлетела легкая тросточка геолога:

— Лошадь, — сказал он, пужло ворочая губами, — дети, рисуя лошадь, делают ее многоногой. Позвольте вам сказать, что геология пеликом оправдывает детей. Знаете ли вы, что родоначалник лошади, фенокодус, — древнейший лошадиный скелет, найденный в



Америке, — имеет вместо копыта пять длинных пальцев, и каждый из пальцев похож на отдельную ножку? Возьмите рисунок ребенка — бегущую лошадь — и вот вам фенакодус.

— У детей — первичное представление о движении, — вступил в разговор рыжий (он только один слушал геолога, потому что четвертый спутник, Фокин, обеспокоенный уходом Левона Давыдовича, глядел ему вслед и думал свое). — Десять ног — это начальная механика и человеческого ума, и машины, и организма. Лошадиные ноги, вероятно, отмирают совершенно так, как лишнее колесо велосипеда, но приходило ли вам в голову сопоставить историю скелета с историей машины?

Геолог ничего не успел ответить. С горы уже спускался Левон Давыдович. И был он красен больше прежнего, и узкий ботинок его дрыгал и нервничал, отбивая пространство, как если б не две ноги были у Левона Давыдовича, а сорок усиков сороконожки. Исканно улыбаясь, подходил к ним Левон Давыдович, совершенно потерянный от того, что случилось: там, наверху, желая примириться с Аваком, он по странной случайности опять накричал на него, накричал острым, простуженным, злым голосом, посылая зачем-то вниз, на станцию (хотел начальник участка дать отпуск Аваку), и никто не услышал в этом голосе бабьих слез о прощенье, а наоборот — прозвучал голос придишкой и приказом. Махнув рукой, не глядя в оступелое от обиды лицо милиционера, страдая невыносимо, начальник участка быстро сбежал с горки и пятипалым каким-то фенакодусом предстал перед спутниками. Фокин, кое-что слышавший, вторично подумал: «Ну и садист же». «Язва сибирская» — сказал наверху Павло. И только один рыжий, внимательно обежав взглядом растерянную фигуру начальника участка и щучьи глаза его, загнанные сейчас, словно головки гвоздей, глубоко внутрь, удивился безмолвно, до чего этот человек нервно издергался. Будь продолжена в эту минуту история рудимента в машине и в организме, сказал бы, должен быть, рыжий: а, когда начнется обратный процесс и организм и машина расхлябаются до распада, тут надобны десятки вставных подставочек, тут оживают, наверное, все рудименты, и совершенное действие превращается у человека и у машины в неожиданнейшую путаницу десятка отростков фенакодуса.

## 5

Пока толстый геолог, вынув большой складной нож, доставал со дна выемки злополучную синюю глину, вкусно вырезывая и принимая на бумажку квадратик, словно это был фунтик нормированного продукта, — рыжий глядел на другой квадратик: белый лист бумаги с геологическим разрезом местности. Он срисовал его для себя из архива, где хранилось подшитое к делу старое исследование геолога, снабженное его подписью. В этом анализе, действительностью не подтвержденном, всякий мог сейчас через плечо рыжего увидеть

две крепких, черных черты, проведенных наклонно, слева направо, понижаясь под русло реки Мизинки, и обозначенных, как пласты «фельзитовых туфов». По первоначальному лазутинскому анализу на дне выемки, где стояли они сейчас, предусмотрительно опираясь ногами на мешки с песком, набросанные рабочими,—по лазутинскому анализу здесь должны бы крепко и сухо выступать фельзитовые туфы; а вместо них по щиколотку в воде рабочие сдабривали влагу мешками и копались в неожиданной синеватого цвета глине.

— Где же фельзитовые туфы? — спросил рыжий, ловко вылезая из выемки, — и откуда, Иван Борисович, взялась здесь глина?

Чтоб понять всю остроту вопроса, следовало отвлечься сейчас от личной неприятности. Целый ряд ошибок случился с определением грунта и на других стройках. Не местные геологи, а москвичи, не «наш брат загруженный работник», а головы кабинетные, профессора, авторитеты наделали кучу глупостей, взять хотя бы Аджарию. Там разве он, Лазутин, экспертизу давал? Его, Лазутина, туда не пригласили. В результате на малоизученной местности стали копать котлован, докопались вместо скалы до воды, просадили миллионы...

— Я вам больше скажу: валун, например. Этакий камище несколько метров в диаметре, — буровая показывает скалу, а начинают работать и вдруг—валун. Вся работа на смарку. С этими валунами не только в Закавказье, спросите хоть Днепрострой, даже там была неприятность. Вопрос о грунте под плотину—вообще чрезвычайно трудный вопрос, имея в виду...

Он хотел сказать очень много о своей излюбленной мысли, — об отсутствии нового геологического исследования страны, об отсутствии той геологии, над которой Лазутин думал весь свой век: он хотел геологии точной, как химия, нашедшей закономерности, неоспоримой, приказывающей явлению из кабинета, подобно тому, как геометрия приказывает из кабинета землемеру. А для этого, — что надо было для этого? Не гонять нас, думающих людей, как собак-треф, разнохивать по местам залежи или грунты, дать нам кабинеты, лаборатории, опытные станции, музеи, книги, время, время, время... Геология еще носа не высунула из средневековья. Ведь стыдно же в такой мировой сокровищнице ископаемых, такой живой, дышащей, вулканирующей, действующей стране, как Закавказье, сидеть все еще на Абихе, поймите — на Абихе, ни шагу вперед в смысле синтеза, общих выводов!

Но даже и четверти не успел высказать Лазутин, так и не передав главной своей мысли. У начальника участка тоже была главная своя мысль. Он презирал геологию практичным европейцем. Он думал сейчас о холеной земле Европы, где каждая пядь изучена, спланирована, занесена десятки и сотни раз на всевозможные карты, где даже техники-изыскатели не существуют уже за ненадобностью, подобно ихтиозаврам. Ведь не анекдот же, что для своих колоний, когда требовалось делать с'емки, приглашала Англия техников из России!

Чтоб узнать грунт, под руслом там проведут штольню, — вот вам и вся геология, как дважды два.

Тут Левон Давыдович, совершенно не подозревая, разделял в сущности затаенное чувство каждого рабочего на стройке, каждого рабочего на рудниках, шахтах, карьерах, промыслах, всюду, где видели рабочие неверные шажки геологов, наезжавших туда с диковинными аппаратами новейшего изобретенья и без всяких аппаратов, ходивших скопом и в одиночку, писавших свои доклады за подписью и без подписи, а после неизменно упрекаемых в ошибке или неточности. Лишняя только графа расходов.

Они покинули место работ и поднимались, миновав реку, на ту сторону ущелья. Подъем стал крутым, и говорить было трудно. Ветер бил им коротким и сильным ударом, словно концом полотенца, по мокрым затылкам. Целью экскурсии был маленький вулкан, Оган-даг, праотец всей здешней местности и ущелья реки Мизинки. Если глядеть с него вниз, можно было увидеть и все Лорийское плато, прямое и странное в своей обрезанности, как несколько биллиардных столов, сдвинутых вместе. Сизым дымком курилась вдалеке беспокойная гора Ляльвар, стягивая к себе облака, словно магнит железные опилки. Мутным химическим заревом голубело пятно в том месте, где находились аллавердские заводы. Остальное расстилалось покойными свежеезелеными полосами, кой-где бугорчатыми, и черные черточки, сеткой делившие пространство, указывали на прорытые реками узкие горные каньоны. Семейством грибов розовели, вспыхивая горсточкой в пяти-шести местах этого необъятного простора, одинокие лорийские деревни, тесно сгруженные дома, крытые розовой черепицей. Их тоже делили ущелья, и часто от деревни к деревне не было ходу. На несколько сот метров вниз от этой семьи деревень шла жизнь речных русел, пробитых водой шибче и крепче пороха; шла жизнь квадратиков по берегам рек, — фруктовых крестьянских садов, огороженных сырцом и щебнем, с выбеленными стволами деревьев; шла жизнь полотна, исчезавшего в черных дырках туннелей и дышавшего пенной полоской дыма по пройденному пути. Взяв бинокль, желающий мог видеть подробности лорийского пейзажа, похожие отсюда на школьные картинки, усаженные множеством предметов с поучительной целью. Каждая деревня имела свой стариннейший монастырь, защитного цвета скалы. Скупые линии конуса, узкие впадины ниш, круглые и неровные окна, неожиданно посаженные под куполом то в виде большого цветка ромашки, то в виде креста или меандра, оживлялись сухой веточкой вереска, тихо покачивавшейся по ветру, или пучком серой травы, седой от солнца и каменной пыли. Пыльной казалась и память здесь, между красноватых могильных плит, выдававших железную окись, — запахом бездонного колодца времени, где глубина убивает звук, пахла память в этих местах, и голько пастух трогал тишину картины неожиданным появлением из-за развалины; за пастухом катились бараны, львиный оскал собаки

входил неожиданно в поле бинокля... Впрочем вряд ли все это можно было разглядеть в бинокль!

Овеваемый ветром, толстяк первый взбежал на самую вершину пригорка, — пригорок и был макушкой вулкана Оган-дага. Большая часть армянских вулканов именно такова, без открытого кратера. Здесь, на Оган-даге, десять лет назад геолог Лазутин, впервые обойдя местность и указав на залежи ажурного кварца, зарыл бутылку. И сейчас он сразу же, как взбежал, ногами узнал под собой знакомое место и стал рыться носком в сухостое и кварце, в то время как глаза его были заняты открывшейся картиной. Стоя так, толстый, круглый, губастый, роющийся носком в земле Лазутин казался кротом, уходящим в норку. Лопасты кожаной куртки взлетали от каждого движенья коленкой. Посасывая язык, круглыми и влажными от блеска глазами бегал Лазутин по раскрывшимся далям, и двойное чувство земли, ощущение ее округлости, близости, собранности делало его хозяином.

— Ну-с, Левон Давыдович, позвольте вас спросить, что вы тут сейчас видите?

Весьма недовольный ветром, начальник участка сел на кусок кварца и тотчас увидел возле себя другой кусок кварца, — его отколотая сердцевинка походила на нежнейшую оборочку из голубовато-белых кружев, собранных розеткой. Голубая полоска вилась попережку с прозрачно-белой, делая самые причудливые узелки и петельки. А в середине камня была пустота, сверкавшая тысячью крупных, чистых, прохладных кристалликов горного хрусталя, так и притягивавших руку, чтобы приласкать их. Разглядев камень, начальник участка увидел и то, что возле камня, — сухую, качающуюся стебелюшку прошлогоднего сорняка, изумительную в своей мертвой красоте: усики ее, разветвленные рисунком, более тонким, нежели бахрома на лапках майского жука, опутанные золотым шарфиком паутины, мерно двигались в воздухе, а под нею шевелились муравьи в земле, пепельно-серой от сухости.

— Разрешите, я вам расскажу, что сейчас вижу, — не дождав-шись ответа, сказал геолог. Он видел тут древнюю трагедию так же ясно, как муж видит на лице у жены любовь к другому человеку. Да, это была страна мелких новейших вулканов во всем ее своеобразии. Бесперывные, перемежающиеся судороги создали тут землю, и первым вступил в работу маленький армянский фаллус, вулкан Оган-даг.

Лазутин сунул в карман руку, вынул и медленно развернул бумажный сверточек, а потом положил его на камень рядом с начальником участка.

— Откуда взялась глина, вот в чем вопрос, — начал геолог, — мы должны были иметь туфы, и вдруг появилась глина. Москвичи говорят: если там глина, значит — неверный анализ и никаких фельзитовых туфов там нет. А я заявляю, — анализ мой верен, фельзитовые туфы есть, и глина именно это и доказывает.

— То - есть как доказывает?

— А так. Что есть туф? Много понимают ваши москвичи в туфе! Вот тут-то, Левон Давыдович, общая геология во всем объеме ее и необходима! Не мне, — вам необходима, строителю необходима. Вулканический строительный камень — знайте его со всех сторон, во всех возможностях, знайте химически, исторически, тектонически, как я землю, как хлеб, который вы кушаете... Туф меняет цвет со временем, слышали вы это? Сионский собор в Тифлисе был построен из красного туфа, а с течением времени стал желтым. Почему? Потому что в красном туфе есть окись железа, а под действием влаги она превращается в гидроокись, в ржавчину. Мало того, туф может не только цвет, он может менять консистенцию. Выходы туфа наружу под влиянием атмосферных агентов обращаются в глину, — вы их можете крошить и мять рукой, обратно пойдём — я покажу на примере. Так вот, зная, что туф способен обращаться в глину и менять цвет, я на этот синеватый кусочек смотрю совсем другими глазами, нежели вы. Я вижу в нем доказательство, что мои фельзитовые туфы лежат, где указано. Я вижу в нем симптом, что с этими фельзитовыми туфами была дислокация, катастрофа, и вот я сейчас эту катастрофу буду искать и узнаю, почему часть этих туфов подверглась действию воды или воздуха или тяжести, отчего она, как видите, стала глиной... А так как я уже прочитал в земле, откуда взялись мои туфы, то последняя глава — ее прочесть ничего не стоит, с закрытыми глазами прочесть можно...

Он помолчал и действительно закрыл глаза, чтобы лучше увидеть прошлое.

Отсюда, сверху вниз, шли уступы гор, разрывавшие плато. На каждом уступе гребешком торчали базальты, их ровные многогранные угадывались тотчас, и возникала мысль, откуда здесь взялся базальт, новейший гость? Вся местность тут образована была первым, кто вступил в игру, древним маленьким Оган-дагом, вулканом типа Стромболи, переменным вулканом, дававшим то взрывы, то спокойные излиянья. От взрывов из недр его летела мелочь, сухая мелочь уплотнялась тысячелетьями; от спокойного излиянья вытекала покровная лава, тысячелетьями затвердевавшая. Мелочь создала туф, лава — кварцевые порфириды, и древнейшие напластовыванья здесь — именно из кварцевых порфиритов и туфов. Обломком кварцевого порфирита торчит внизу Вениамин вулкана Оган-дага, его последний детеныш, гора Кошка. Но Оган-даг постарел, род его прекратился и вымер. Тогда со стороны Мокрых гор двинулись сюда базальты, жидкое семя других вулканов, помоложе и поновее, и с быстротой восемнадцати километров в сутки они залили, выровняли, наполнили выбоины, покрыли потомство Оган-дага и создали ту равнину, что называется нынче «Лорийским плато». За базальтами пришли реки, прорыли каньоны, обнажили стены ущелья, — а за реками пришла катастрофа. То, что здесь произошла тектоническая катастрофа, — ясно на глаз. Равнина лежит, ступенчато понижаясь, расколота, как

студень. Может быть, старик Оган-даг затрясся в могиле и помянул прошлое... А может быть — кто знает вулканический век?

— Эти уступы гор, граббены, — геолог сделал волнистый жест рукой, показывая, как идут книзу опущения, — эти граббены, заканчивающиеся там, внизу, горой Кошкой, вызваны внутренним потрясением, пережитым землей. В результате часть цельных пород осталась, часть опустилась, и это вызвало давление и сдвиг во все стороны, так что местами породы были смяты, нарушены, разломаны, перемещены. Фельзитовые туфы под руслом Мизинки от дислокации тоже, вероятно, приподнялись, верней были выперты над аллювием, и часть их от воды и давления более крепких пород превратилась в глину, — вот и весь секрет, почему мы находим аллювий там, где должна быть скала. Понятно?

Казалось, простор вокруг шевелился, выдавая тысячелетние тайны, словно лоскуток бумажки под квадратиком глины от ветра. Но уязвленный Левон Давыдович встал, чтоб итти обратно. Решительно всем, что здесь делалось и говорилось, — и даже простором вокруг, прелестью сорняка, шелестом газетной бумажки под глиной, уверенным тоном Лазутина, — всем этим недопустимым мажором весны, превратившей обязанность в прогулку, уничтожалась купленная тяжелой жертвой, навязанная ему понапрасну излишняя деликатность. И если она не требовалась, если все люди наступают тут на голову фактам, если уже так, то в конце концов...

Режущим голосом он призвал действительность к порядку:

— Иван Борисович! Ведь можно было и раньше сообразить, что туфы там выперты над аллювием или чем хотите... Раньше, когда экспертизу вы составляли... До отправки эскизного проекта в центр!

*(Продолжение следует)*

---

# Москва

Отрывки из книги „СССР“

Иван ПУЛЬКИН

## I

С ломбардских высот  
Восемнадцати башен  
Кремля,  
Мир, как на ладони  
У ног —  
Красочен и высок,  
Не страшен,  
А глаз тонет.

Не глянешь шире —  
На дно,  
Где единственный в мире  
Распускается город,  
Куда ведут все пути —  
Большой  
Ни об'ехать, ни обойти  
Мимо

Хорошо,  
Но тесно — не разойтись с милой —  
Перейти площадь —  
Руку через стол  
Протянуть.

На глаз, на вкус, на ощупь  
Незаменим, как та,  
Что взглядом проще  
Других с лица.

Как сто  
Ворот закрытых наглухо,  
Сквозь крыш,  
Что поют на ухо  
Московским ветром —  
Он дышит с ней заодно,  
Он дышит ёй одной...

Как ночи мокры,  
Под сенью  
Городских звезд,  
Как плотно накрыт  
Сединой!

Разбегается каруселью  
Концентрических колец...  
(Любимая, одним одна!)  
Расположился в истории  
Из конца в конец  
До дна!

Кремль,  
Китай город,  
Белый город,  
Земляной вал...

Дыша допотопной отрыжкой  
Распространяется Москва  
В тупиках:  
У Николы на Кочерыжках,  
У Троиц на Капельках,  
У Спаса на Болванах,  
У Покрова на крови;

В Садовых  
В Садовниках,  
В Гончарах,  
Швивой горке,  
В Таганке,  
В обоих Басманных, —

Вдоль плавных,  
Как небо отрогов реки...

## II

Еще только позавчера  
Провожали Донского в поход,  
Не дольше, как только вчера,  
Город закован  
В двойной  
Огненный бой  
Башен Фиоравенти!

Еще пятнадцатый век вохнет у кардегардий,  
Шестнадцатый толчется на площадях;  
За тысячу верст несет цеховщиной:

Палаши,  
Кадаши,  
Хамовники,



Бронники,  
Гончары,  
Басменники,  
Кожевники,  
Стольники,  
Чашники,  
Каменщики,  
Сокольники...

Еще Козьим болотом,  
Да Коровьим Бродом —  
Время замашивает мосты,  
Еще вокруг застав хороводом  
Бродят мятели, не успела остыть  
Кровь Стеньки на Лобном,  
Еще не выветрился запах  
Двадцати холер и одной чумы...

Еще в отдаленных приходах  
Великомучеников Косьмы  
И Демьяна,  
Выкрикивают анафему Пугачеву,  
А за ектеньей молятся сугубо:  
— И от нашествия галлов  
Нас охрани!

Замоскворечье — приходо —  
Расходными книгами обогревается  
Зарядье по веснам, от нашествия галок  
Никудá

Не девается!

И также до крови нацелованы губы  
По подворотням,  
Как тысячу лет назад,  
Так же смотрят в глаза  
Любимых

Бесповоротно!..

### III

Когда вдоль опрокинутых витрин,  
Навстречу медленно текущим тротуарам  
Живая кровь предместий, тупиков, окраин, заводских  
и фабричных поселков хлынула  
Пой, зевай и смотри  
На всю эту прелесть.

Рослые великороссы,  
Расшитые украинцы,  
Марийцы,  
Евреи,

Чуваши,  
 Раскрашенные под скульптуру узбеки,  
 Казаки,  
 Белоруссы,  
 Татары —

С Пресни,  
 Хамовников,  
 С улицы Баумана,  
 Трехгорной,  
 Мимо Николая Хлынова —  
 Пошатывая мосты,  
 Сквозь говор горнов  
 Дома раскачивая,  
 Опрокидывая небеса

От: Ротационок,  
**Форсунок,**  
 Мартенов,  
 Вагранок,  
 Ткацких станок,  
 Кузнечных горнов,  
 Сверлильных,  
 Строгальных,  
 Долбежных,  
 Фрезерных

И прочих, и прочих, и прочих  
 Станков.

С утра, спозаранок  
 Заполняя озера площадей, улиц артерии  
 Песнями,  
 Взглядами,  
 Скрежетом подошв,  
 Топотом каблуков

Пролетариат, стиснутый с боков  
 Домами.

— С праздником, Москва, —  
 С Первым Маем!  
 Здоров — живешь  
 Кого жмешь,  
 Кого жалуешь?!

Так трудовую копоть смывая,  
 Ежегодно выходишь из берегов, как кто-то обмолвился  
 на прошлой неделе:

— Даже и Москва-река подумала, что она река на  
 самом деле!

Речушка,

Пухлая, что в ростепель купчиха



# Люди и факты

1. ДАН. ФИБИХ. Стальная лихорадка. — 2. Д. ГАТУЕВ. Осада Наифата. — 3. И. ГРОНСКИЙ. Борьба за хлеб

## 1. СТАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА

Очерки

Д а н . Ф и б и х

Се — изб бревенчатый живот  
Трясет стальная лихорадка.

С. Е с е н и н

Д о

Статья тов. Сталина «Головокружение от успехов» и последующее за ней известное постановление ЦК от 15 марта разрубили жизнь деревни на два отдельных, обособленных куска. Историческое значение этой статьи вряд ли уступает первым декретам молодого Совнаркома, гремящим из Смольного, и ленинскому закону о замене продразверстки продналогом, которым начались страницы напа.

Это — грань. Деревня так и определяет даты:

— Это было до статьи.

— Это — после статьи.

В крутую деревенскую гущу знаменательное постановление, открывающее новую эпоху коллективизации сельского хозяйства, проникло сразу же, разлетелось мгновенно. Помог в этом отчасти и кулак, с его тонким нюхом, пытавшийся было на первых порах нажить политический капитал. В ряде сел Среднего Поволжья, о котором идет речь, кулаки раскупали нарасхват газеты, где была помещена сталинская статья, платили за номер по три рубля. И пока растерявшиеся местные работники топтались на ме-

сте, обсуждали, как быть, — дожидаться ли инструкции райкома или же самим начать выправлять допущенные перегибы, — по селам и весям катилась кулацкая агитация:

— Крышка колхозам! Видите, ребята, коммунисты обратно гнут! Выходи из колхоза!..

Казалось, кулак брал реванш за недавнее так хлестнувшее его раскулачивание. Усердно помогали ему в этом и союзники его — поп и сектант. Агитация имела успех. Начался массовый выход из колхозов: мужики уходили сотнями дворов, колхозы и коммуну трещали, разваливались.

А было от чего растеряться! У многих средне-волжских работников закружились головы. Коллективизация сельского хозяйства была понята здесь, как режим ежовых рукавиц и бараньего рога.

В двадцать четыре часа создавались колхозы-гиганты, объединяющие сотни и тысячи дворов. Села вступали поголовно. В краевой центре летели телеграммы о новых и новых процентах коллективизации такого-то района. Цифры перегоняли одна другую. 60%!.. 70!.. 75!.. 85!.. Один район старался перешепнуть другой более увесистой цифрой — не беда, что все эти проценты были липовые. Лихие наездники, подстегивая замысленные, задыхавшиеся цифры, очертя голову дули в финишу.

В Микушкинском районе местные работники заявляли на собрании:

— Кто в колхоз не войдет, тот осенью на птичьих правах. Хлеба не дадим.

— Кто не с нами, тот против нас.

На собрании в Н.-Алексеевке уполномоченный Козлов объявил:

— Кто не в колхоз, — ищите такое государство, где нет колхозов. Сейте на потолок! Выгоним вас за пятнадцать верст!

Много впоследствии пришлось поработать местной прокуратуре.

### На переломе

Предоставим сначала слово секретарю крайкома тов. Хатаевичу. Несколько цитат из речи его на собрании Самарского партактива.

— ...Там, где было меньше всего бюрократического командования, там, где постановление ЦК от 15 марта, новый устав с.-х. артели проводили быстро и решительно, там было совсем мало выходов, и колхозы сумели быстро перестроиться.

— ...Основной тормоз колхозного движения сейчас — это перегибы и извращения партийной политики...

— ...На сегодняшний день (9 апреля), надо полагать, у нас осталось в колхозах около 400 тысяч хозяйств, или около одной трети всех крестьянских хозяйств края... В левобережных округах, где база и почва для коллективизации более прочная и широкая, в колхозах осталось около половины хозяйств. Так, в Оренбургском и Самарском округах, где было свыше 70% коллективизации, сейчас около 50%. В Бугурусланском округе осталось около 45%.

В Правобережье картина иная. Там осталось 17—20%, а, может быть, и меньше. Например, в Сызранском округе считалось в колхозах 80%, а сейчас не больше 20. В Ульяновском округе было 53%, сейчас 18%. В Мордовской области было 49%, а сейчас осталось приблизительно 10%. В Пензенском округе было 37%, сейчас около 15.

— ...Как видим, отлив массовый. Конечно, одна треть коллективизированных крестьянских хозяйств, на

чем мы, повидимому, закрепились, — это большое завоевание. Оно свидетельствует о массовой тяге мелких крестьян к коллективизации...

Волна отлива из колхозов расхлестнула широко, захватила тысячи хозяйств и откатилась далеко назад. Уцелевший от раскулачивания деревенский глот — а таких не мало — топ и сектант всеми силами опосредствовали этому.

Произошел естественный отбор. В колхозах остались наиболее крепкие, энергичные, связавшие свою судьбу с революцией, полные желания строить новое по-новому. Уходили колеблющиеся, не понимающие значения колхоза, индивидуалисты-практики, привыкшие семь раз примеривать, прежде чем отрезать навверняка. Они отходили в сторону с тем, чтобы исподволь приглядеться, как работает колхоз, как живет, есть ли расчет вступать в колхоз.

Хуже всего то, что и после постановления ЦК зачастую низовые работники пытались действовать попрежнему. И даже оскорблялись. Когда в Семилеев рик предложил возвратить имущество раскулаченных середняков, семилейские коммунисты объявили:

— Если вернете им имущество, уйдем из партии. Вы подрываете наш авторитет.

Теренгульские работники, выселявшие бывших партизан, красноармейцев, раскулачившие 60 середняков, возмущались проверкой:

— Какой-то прокурор будет нас проверять! Недоверие к активу, к бедноте!..

В этой же Тереньге предрика Дегтярев такого мнения:

— В газеты нужно вообще поменьше заглядывать. Это для вида пишут, для заграницы... А мы по директивам действуем. Ясно, постановление ЦК и статья Сталина печатались не для нас.

В Кочкурове предрика недоволен краевыми работниками:

— Приедут — и только срывают дело. Разъясняют, что колхозное движение добровольное. Разве нужно это крестьянам говорить? Тут нужны административные меры.

Уполномоченный по Кирюшинскому району (Бугурусланский округ), с которым я познакомился, очень сочно и вкусно выговаривавший «административное воздействие», со спокойной горделивостью рассказывавший, как он вызвал конных милиционеров сгонять крестьян на собрание, откровенничал со мной:

— Конечно, статья тов. Сталина очень нужная статья... Что и говорить!..

Тут он, после короткой паузы, нагнув ко мне острое, худое лицо, с светлыми на выкате глазами, добавил:

— Только—преждевременная. Не вовремя она. Нужно было сначала сколотить, организовать, а потом бы и статья можно.

И вот пока на местах по инерции продолжалось еще судорожное цепляние за проценты коллективизации, растерянное топтание, попытки сдерживать стихию,—с тем сильнейшим размахом катилась волна отлива.

400.000 коллективизированных крестьянских хозяйств, стойко выдержавших шквал массового отхода, треть средне-волжского крестьянства, объединенного сейчас в колхозах, — цифры увесистые, многозначительные. А те, что вышли, рано или поздно неизбежно под влиянием ряда экономических и психологических причин вернутся обратно. Дайте им только оглядеться, присмотреться, убедиться в жизненности и выгоде колхоза.

Убедите в этом и на словах и на деле. История идет тяжелой поступью трактора, на-нет стирающего межи. Деревня наших дней пахнет не только соломой, прелой овчиной и навозом, но и сладковатой гарью бензина и машинным маслом.

Те мужики, что вот-вот хватались за ножи, за колья, как в деревне Казанке, те бабы, которые истерично, захлебываясь слезами и отчаянием, вопили, что приведут ребятишек, посадят их на своих полосках,—пусть боронуют через ребят,—выслушав человека, толково, спокойно и дельно раз'ясняющего сущность коллективизации, говорят с изумленно-радостными, со смущенно-озадаченными лицами:

— Да нешто мы против колхоза? Нешто желаем вражды? Дайте только срок, все в колхозах будем.

И они уже возвращаются. Ежедневно вступают группами, по восемь, по десять, по двадцать дворов.

Не буду приводить цифр, ибо эти цифры через несколько дней уже устареют. Новые сдвиги, подобные сдвигам геологических пластов, происходят как в социально-экономической жизни деревни, так и в мозгу крестьянина. Чем скорее сумели переключиться на новый лад местные работники, чем шире и глубже проводят они раз'яснительную массовую работу, тем лучше и теоретически и практически воспринимает бедняцко-средняцкая деревня идею колхоза и тем выше процент возвращающихся и вновь поступающих. Обратное движение это—не стихийное. Но тем оно крепче, прочнее. Отхлынула волна, откатилась назад и теперь стекает обратно, на прежнее место, бесчисленными, мелкими ручейками, струйками...

Колхозы строятся наново. Теми методами, которыми только и должны они создаваться.

Колхозы сдают государственный экзамен перед лицом всей страны, перед миллионами зорко следящих, все подмечающих мужицких глаз. И чем успешнее сдадут они этот великий экзамен,—весенний сев,—тем скорее крестьянин-единоличник вернется обратно в колхоз. Жить по-старому нельзя. Путь к свободному развитию индивидуального крестьянского хозяйства, превращение его сначала в зажиточное, а потом в кулацкое,—сейчас закрыт. Это деревня поняла. И вот почему вышедшие из коллектива сами, по своему почину, объединяются в артели, в супруги, в товарищества по совместной обработке земли. Они еще косятя на колхоз, они враждебно настроены по отношению членов его, но на поле выезжают сообща, работают артелью и даже местами поговаривают о введении табельщиков.

Изнутри, снизу, из растревоженного эпохой сознания крестьянина растет идея коллективизации. Пусть сегодня он говорит:

— Сами по себе хотим работать, а в колхоз не пойдем.

Завтра он скажет другое.

### Железные агитаторы

Необычайное совершается просто.

В серый, тусклый, как олово, зимний день, когда по деревенской улице метет колючая поземка, уныло скрипят журавль, баба, обмотанная теплым влатком, ярко желтея нагольным полубубком, вешает на коромысле ведра, роняющие тяжелые капли, а по унавоженной рыжей дороге трусит, пофыркивая, шершавая лошаденка, при чем сани, на которых лениво развалился закутаный в тулуп бородач, сползают на раскатах в сторону, чертя разводом сугроб,—в такой вот будничной не приметный день происходит прорыв в будущее.

В такой день мужики, не спеша, скрипя валенками, идут в сельсовет, чтобы, просидев несколько часов под ряд, кто на скамье, а больше на полу, застлав низенькую комнатенку синей пеленой махорочного дыма, всласть погалдевать и поматюкавшись (для большей убедительности),—порешить вступить в колхоз и подписать договор с директором машинотракторной станции на обработку их полей тракторами.

Может быть, сегодня они еще и не подпишут. Может быть, проорут и промахают руками весь короткий зимний день, и директор МТС, нахлобучив на взмокший лоб драповую городскую кепку и зло засунув в портфель важные бумаги, уйдет, тоже матюкнувшись на пороге вполголоса осипшей, садящей глоткой.

Но если даже и так,—завтра будет то же самое. Опять сход, махорка, часовые разговоры, доказывания, разъяснения. Рано или поздно тугой, с подковыркой, с оглядкой, мужицкий мозг поймет, уяснит, взвесит и, наконец, примет идею, новизна и оглушительность которой так велики, что в первую минуту даже не совсем ощутимы: уничтожение своего хозяйства, своего узкого, личного благополучия и создание общего хозяйства. Труд для всех, а значит и для себя. Земля—общая, следовательно, и своя.

И вот договор подписан. И через несколько месяцев, когда в канавах бурлит быстро обсыхающая снеговая вода, а под весенним солнцем курится теплым парком рыхлая, обнажившаяся из-под сугробов земля,—первые тракторы готовятся выступить на обобщественное крестьянское поле.

В эти дни двор машинотракторной станции—скажем, хотя бы Бугурусланской—полон суеты, слешки и гудящих, трясущихся машин.

Утро летит в свежем, чуть колючем ветерке, в розовом и косом тепле низкого, еще заспанного солнца. «Интернационалы» стоят склоном, гулко рычачат, дымят синеватым, едким дымком, бьющим из выхлопных труб. На них накинута с осмотров, проверкой, обкаткой. Теперь МТС сможет бросить на поле сорок тракторов. Около них рулевые, механики... Свежий, краснотатый загар молодых, сосредоточенных лиц, автомобильные окуляры, поднятые на малахаи собачьего меха, черные, коричневые, маслянистые руки.

В воронки льется вода для радиаторов, бензин, темнозеленое, густое, как сироп, масло. «Интера» сбились неподвижные, горделиво-нарядные, сверкающие темносиним лаком панцыря, малиновой алостью новеньких еще колес, снисходительно покорные людям. А те озабоченно копошатся вокруг них, стоя, сидя, растянувшись на животе, присев на корточки. И вдруг машины оживают в густом, сильном рокоте, в завесе дыма, косо отлетающего в сторону. Мелко и учащенно колотятся, трепещут и вздрагивая, точно в пароксизме жесточайшей лихорадки, они наполняют утреннюю рань прерывистым, рваным, трубным гулом. Какие неумные силы бесятся сейчас внутри, бунтуют, брызжут наружу!..

Птицы-ящеры. Амфибии. Странное, почти фантастическое и вместе с тем гармоническое сочетание.

Настороженно вытянутая шея страуса, куцы, сложенные крылья, грузное тело, темное, воронова отлива, оперенье, но опираются они на четыре лапы-колеса, но дышат, как земноводные, жабрами, с обеих сторон прорезанными в их металлических покрывках.

Люди тормошатся, подвинчивая гайки и шурупы, смазывая, заправляя, копясь в обнаженных откинутым капотом внутренностях чудо-зверя, в анатомическом разрезе его кишечника, отличного из темного металла.

— Если такая безобразия да в поле, — басит кто-то.

Двор заполнен машинами, наивноркими, как детские игрушки, лазерные трехкорпусные плуги на лимонно-желтых колесах, темновिशневые, узкие ящики буккеров, которые одновременно пахнут и сеют, и сеялок — дисковых, сошниковых.

За гаражем, на широком, скучном пустыре ползают, заворачивают, кружатся в неуклюжем вальсе тракторы. Во семь «Интеров». Новичков обкатывают, знакомятся с их поступью, повадкой, норовом. Ведь сегодня же двинутся они в колхозы, на поля.

И тут я чувствую, как холодок восторга вдруг разливается вдоль позвоночника, вскипая и покаяывая кожу пузьями сельтерской воды.

За рулем крестьянка.

Теплым платком окутана голова, бьется на ветру прядь волос, таких же бурых от степного солнца, как и щеки ее. Не спеша, упрямо ворочаются колеса. Комья земли валяются на рыхлую землю со стальных шпор, которыми усажены широкие ободья колес. И руки трактористки — те, что испокон века месили вязкое тесто в квашне, нянчили сопливых и рахитичных младенцев, сажали в пламенный зев тяжелые чугуны, складывались в щепоть, поднесенную к покорному лбу, — деревенские, смиренные, бабьи руки эти сейчас привычно лежат на руле, с силой, сторожко поворачивая его.

\* \* \*

Межселенные машинотракторные станции, МТС, — энергетические базы деревни. Они заключают договоры с колхозами и артелями на обработку земли. Они практически коллективизируют деревню. Они на своих курсах, полутора- и трехмесячных, готовят из колхозников рулевых.

Они индустриализируют, преобразуют деревню.

Сейчас Бугурусланская МТС имеет сорок тракторов. Кинель-Черкасская

столько же. Безенчукская — свыше шестидесяти. Большей частью это темно-синие, элегантные «Интернационалы», наиболее пригодные для тяжелых степных почв. Есть и «Джон-Диры», ядовито-зеленые, как ящерицы-медянки. Через год вырастут новые, каждая станция будет располагать стальными эскадронами в несколько сот штук. Таковы темпы.

За пахоту МТС берет 5 р. 50 коп. с гектара, за бороньбу — 60 коп., за сев — 1 р. 30 к. Сначала цифры эти кажутся колхознику не по карману, — пожалуй, дешевле пахать на лошадях или быках. На сцену появляются клочок бумажки, карандаш и арифметика. И тогда выясняется, — ничего подобного, гораздо выгоднее! Ведь лошадь надо кормить круглый год. Во что это обходится? А трактор «кормишь» горючим только во время работы. Отработал — и в гараж, больше нет заботы.

Трактор сперва удивляет, затем поражает и, наконец, покоряет крестьянина. Скептицизм, недоверчивая ухмылка разбиты. Мужик, торопясь, нагадет рядом с машиной, глядит, как ходко и папористо прет она, трудолюбиво ворча, по полю, как из-под лемехов, шурша разрезанными былинками, покорно изгибаясь, валяясь навзничь толстые, крутые ломти залежи и обнажается глубокая, сизо-черная, рыхлая борозда. Мужик сплевывает скрипящую на зубах черную бьющую в глаза пыль и ликует:

— Мотри, мотри, как кроет! Ах-х-ты, едрена вошь!..

А ночная пахотьба под серебряным просом звезд, которыми засеяна тьма, при тусклом свете «летучих мышей», что прыгает и мигает, выхватывая из мрака клочки почвы. Было ли это когда?.. Ночь расплывается, как китайская тушь, ночь лежит на заволжской степи, где проходили детские годы Багрова внука, и на запыленном лице рулевого, который качается на металлическом лопухе сидения, не снимая рук с заолодевшего руля. Давно ли тут, именно тут, гудела земля от скака казачьих лав, и били из пшеницы колчаковские пулеметы, и цохлали по ночам зарева?.. Отшумела свирепая гражданская



война, как и межи, перепаханы остатки окопов, рассыпались под землей кости безвестных покойников. И все это для того, чтобы рокотала степь ночью, чтобы цвела движущимися созвездиями огоньков и чтобы качался, попыхивая махрой, бессонный водитель машины.

Лирическое это отступление только дополняет простодушное удивление крестьянина:

— Что за чудо, скажи на милость! Встал утром, погнал корову, — глядя, где трава была, за ночь все распахали!.. Прямо, как в сказке.

\* \* \*

А вот как их встречают.

В село Завьяловку, входящую в колхоз «Ильич», шли из Бугурусланской МТС четыре «Интера». Первые в этом районе трактора. Был какой-то праздник. Село толпилось около церкви. Но едва ворчанье приближавшихся «Интеров» долетело из-за околицы, едва только разнеслась новость, — все село, и стар, и мал, хлынуло встречать. Даже ветхие бабки, усердно молившиеся в церкви, поплелись к выходу. В несколько минут опустела церковь. Попику ничего не оставалось делать, как прекратить богослужение и повесить замок на церковных дверях.

Дер. Скрыпники, Кинель Черкасского района. Встреча тракторов. Мужики, бабы, ребятишки, парни, девки, старичье — все высыпали на хлипкий мост, перекинутый через речонку. Спуск к мосту кругой, обрывистый, почва неверная, мягкая. Трактор зарылся в песок, кренится, колеса буксуют, беспомощно вертятся на месте. Того и гляди — опрокинется. И тут:

— Давай, давай, ребята! Поддерживай!..

Мужики бросаются на выручку. Общей порыв объединил всех и колхозников, и единоличников, ждавших машины с радостным нетерпением, и тех, что поджидали с насмешливой ежигцей. Хватаются, подставляют спины, плечи, — почти на руках снесли трактор с опасного участка.

### Люди у руля

Примечательнее всего в деревне наших дней затейливый переплет старого, привычного, убогого с властно втор-

гающимся новым, идущим от города, от машины, от индустрии. Вот раскиданные по косоугору соломенные мазанки, вот лапти и дремучие бороды, иконы в грошевой оправе из фольги, украшенные бумажными цветками, белолобый теленок, живущий в избе, около кровати, на которую брошены полосатая дерюга и тулуп... При Петре так было, может быть, при Грозном Иване...

А бок о бок с этим — гараж, где ворчат и ползают тракторы, брезентовые штаны тракториста, вываленные в масле и керосине, «наряд», который дается бригаде на нынешний день.

Особенно резок был этот контраст в большом мордовском селе Кириушкино, входящем в колхоз «Стальной Конь». Было уже поздно, когда мы приехали, — часов семь утра. И в Александровке, которая попала по дороге, и в самом Кириушкине тракторы еще стояли, не выезжая в поле. Второй день пасхи. Отзвук праздничных гулянок, не выветрившийся хмель еще бродили в головах бригадников.

— Почему тракторы не в поле? — распекала старших рулевых женщина — директор Бугурусланской МТС, с которой мы приехали. Ходила она, чуть волоча ногу, раненную в годы партизанщины. С трудом сдерживаемое негодование, досада, возмущение, красными пятнами просочились на щеках, звенели в нарочито-спокойном голосе. Видно было, как все кипело в ней: сев, самое горячее время, когда день кормит год, а тут второй день бригадники бездельничали. Кампания срывалась.

— Почему до сих пор тракторы не в поле? Что это такое, товарищи?

Гараж, — крытый железом сарай, слаженный колхозниками из разобранных кулацких построек, — стоял на косоугоре, окруженный тракторами, сеялками, трехкорпусными плугами, по-местному — «цабанами». Рулевые, переговариваясь и переругиваясь, то на русском языке, то на мордовском, мягком и свистящем наречии эрзя, закопошились провернее. Заревел «Интер». Босоногий мальчуган в просторных порточках и пионерском галстуке подошел, держа балалайку, раскрыв рот, прислушивался к спору директора и заведующего экономией.

А напротив гаража и тракторов, на косогоре, стояла деревянная церковь. Тоскливые, высокие кресты убогого деревенского погоста высились на голубой свежести. Только-что отошла ранняя обедня. Разноцветные, как букеты цветов, нарядные бабы толпились у паперти. Старики, библейски степенные, в черных поддевках, расходились, опираясь на палки. Торжествуя, выплясывая, заливались жиденькие дряненькие колокола.

Это был почти символ: гараж и церковь, тракторы и погост, голос работающих моторов и церковный звон.

— Смотри-ка, смотри, — пригляделся к звонарю, усердно работавшему локтями, бывший с нами уполномоченный. — Ведь это он, кажется, недавно подавал заявление в ячейку о вступлении?.. Ах ты, сатана!..

Звонарь старался на совесть. Колокола голосили пронзительным фальцетом.

И пока, подстегнутые приездом и нагоняем директора, возились у машин рулевые, пока один за другим покатали «Интера» под горку, уполномоченный говорил мне, как трудно работать в этом отсталом районе, населенном темной, религиозной мордвой..

— Ну, поп у нас дисциплинированный. Вчера просил разрешения ходить по домам. Позволили.

Потом я сижу в низенькой беленой горнице, где квартирует раз'ездной механик, разговариваю с ним. Жизнь этого старого, сумрачного, темнолицего человека, затянутого в потертую кожанку, неправдоподобна, как роман Стивенсона. Он итальянец. Прошлое его схематически можно обозначить так: Аргентина, раскорчевка джунглей под кофейные плантации. Дезертирство из итальянской армии. Скитанье по заводам и городам Австрии, Румынии. Потом Россия, представляя Одессой, затем Ростовом и другими городами. И, наконец, последние годы в Заволжье, в степях, среди мордвы и чувашей.

Беседу нашу прервала высокая, гренадерского роста, молодая женщина в темнокрасной кофте, ставшая на пороге. Лицо у нее тонконосое и обветренное, на скулах темная пыль. Это была трактористка-мордвинка, дочь хозяйки, только-что вернувшаяся с работы.

Улыбаясь и стягивая с головы платок, она сказала механику:

— На трех свечах нынче работали.

— Почему? — повернулся итальянец. Завязался разговор о тракторе, в чем был дефект и что надо было сделать, чтобы исправить его. Заброшенный из Аргентины горемыка-итальянец и эта мордвинка в широкой деревенской кофте деловито, знаяще, рассуждали о мельчайших деталях двигателя: Дифференциал... Магнето... Насыщенность газа... Число оборотов мотора...

\* \* \*

О трактористах поют девки:

Я надену бело платье,  
Прошивные рукава,  
Неужели я не буду  
Трактористова жена?..

Старая деревня — деревня Льва Толстого, Чехова, Бунина — не знала, да и не могла знать этот любопытнейший образчик пореволюционной человеческой породы.

Молодой деревенский парень, девушка, в прошлом батраки, пастухи, дети бедняка, впервые сталкиваются с машиной. Познают таинственную и сложную жизнь прекрасного сложного механизма. Разделяют на составные элементы процессы, происходящие в карбюраторе. Видят закономерность и четкость движения шатунов, поршней, шестеренок, могучее бешенство газа, взорванного искрой магнето. Впервые сталкиваются с математикой, механикой, физикой. И когда, наконец, освоено все это чудесное, почти живое, одушевленное существо, когда оно становится знакомым и родным, как лошадь, когда в первый раз, замирая, можно оседлать его, дать первую скорость и почувствовать, что все оно — тяжелое, могучее, дрожащее, гудящее — покорно твоей воле, движется туда, куда направляет рука, — разве это не захватывает деревенское сердце?.. И они, как дети, спорят около машины:

— Ну, слезай! Айда!

— Погодь, моя смена еще не кончилась.

— Чего не кончилась? Поработал четыре часа и будя. Давай мне.

Это еще не городской, наторелый в уходе за машиной, по-иному и думающий и чувствующий рабочий. Но это

уже и не прежний тяжкодум-мужик, живущий, как деды, прадеды живали, всю свою философию строящий на «авось», на «как-нибудь».

Это нечто промежуточное, переходная ступень, связующее звено между покоившейся подслеповатой мазанкой и кипучим заводом.

И вот они в поле. Люди и машины.

Солнце Батыя висит над лиловатыми степными горизонтами. Ветер холодной, ранней весны гонит перекаптое поле. Кувыркаясь и прыгая, крупными серыми пауками скачут они то по залежи, проросшей бурой прошлогодней травой, то по глубоким, рыхлым бороздам поднятого массива. Он стелется вдаль, исчерна-фиолетовый, плодороднейший, раскрытый для семян, для новой жизни. И там, на черте горизонта под рдеющими облаками, громадными и сверкающими, ползают взад-вперед крошечные тракторы. Иногда ослепительно сверкает что-то: лемех плуга или окуляры рулевого, куда ударило солнце.

Степь. Тишина. Посвистывают суслики—много их!. Гулкий ветер холодит лицо и гремит в ушах.

В степи стан бригады. Две палатки, самодельных, хлопающих, точно парус, которые не защищают ни от ветра, ни от дождя; сеялки и буксера; бочки с водой и с горячим на распряженных телегах. Кумачевый флажок трепыхается на шесте. В палатках, зарывшись в ворох соломы, натянув на головы овчинные полшубки, одеяла, со своими деревянными сундуками, жестяными кружками и гармониями, каменно спит усталая смена. Весна неприятная, студеная, и утром, на знобком рассвете, когда надо приниматься за работу, люди встают окоченелые, промерзшие до костей. Страшно прикоснуться голой рукой к железу,—оно обжигает, как раскаленное. Разводить костер, греться чайком—некогда. Только, когда задрожит, заревет пушенный в ход «Интер», можно погреть стылые пальцы около горячего мотора.

Но вот ворчанье двигателя слышнее, приближается. Блистая стальными шпорами, катит по проселку «Интер», сворачивает на лужок и, лавируя между раскиданными бочками и сеялка-

ми, подезжает к горячему. На заправку.

У парня, соскочившего с сидения, негритянки сверкают белки и зубы. Черная пыль забила все лицо, забралась в ноздри, в ушные раковины, темной коркой спеклась на обветренных губах.

Он наполнил машину бензином и водой, выкурил ловко свернутую папироску, перекинулся словом-другим с заспанным, вылезшим из шатра товарищем и, снова усевшись между крыльев трактора, покатил обратно.

И опять тишина, степь, древнее, кочевое солнце да неподалеку, в кустарнике, синее болотце снеговой воды, полное диких уток и гусей. Вчера тракторист Захар, веселый пухлогубый парень, плясун и гармонист, плепнул там одного из своей старой одностовки. Поджарый, отошальный за перелет дикий гусь был ошипан и зажарен как раз к 1 мая.

В деревне Галочкино, населенной выселенцами-украинцами, бригада жила в раскулаченной избе. Хозяин, местный торгаш, во-время скрылся куда-то в Туркестан, как и многие из кулаков. Памятью о хозяине остались только медное старинное распятие, прибитое к тесовым украшенным дикарским узором воротам, да иконка богоматери допетровского письма, висящая там же и вся слизанная дождями и непогодами.

Поселились тут человек восемь рулевых, народ рослый, смуглый, здоровый, один другого краше, и с ними молодая трактористка, которая стряпала на всю артель, пекла хлебы и прибира-ла избу.

Ребята ходили по полу в шерстяных, розово-коричневых носках, валялись на нарах, держа гармонию на желудке и наигрывая что-то тягучее, неопределенное или же часами дули желтоватый кипяток, заедаая отвратительной, малиновой, мокрой колбасой из конины. Ни газет, ни книг. Никаких лекций, докладов, кружков. Ни малейшего признака культуры.

Когда я приехал, в избе, кроме ребят, сидели старший полевод и механик, студент-ломосовец. Полевод, поставив на колено трехрядку, бегал уме-

лыми пальцами по ладам, играл «Барыню». Подзадаривал:

— Ну-ка, Захар, спляши! Айда!..

Пухлые, малиновые губы Захара морщились неохотной усмешкой.

— Вот 1 мая в садок пойдем, тогда попляшем... Полеводы, слышь, к 1 мая полдюжинки пивка должны поставить. Поставишь?

— Там поглядим, а ты пока спляши. Ну-ка. Слышь!

«Барыня» становилась все задорней, забирала за живое. Но Захар оставался непреклонным. Иным был полон его мозг.

— Эх, помыться надо к 1 мая,—мечтал он вслух, поудобней развалившись на нарах, — баньку истопить. У тебя есть, кажись, банька? Побреюсь... Мы подводу готовим. С плакатами, с флажками, честь-честью. В Кинель-Черкасы поедем.

Разъездной механик сказал:

— Вот, ребята, с кого пример берите — с женщин. Как работают! Ни одной поломки.

Задетые за живое, рулевые загалдели:

— А где у нас поломки? Это в девятой бригаде.

— Ты завсегда женщин хвалишь.

— Что женщины? Что женщины? — волновался, вскочив с лавки, сухощавый, чубатый парень, — чуть-что с трактором случилось, она и села. «Третьяков, шумит, иди, подсоби». Чуть-что, с сей час Третьякова за бока.

Но Захар, полный первомайскими мечтами, озабоченно перебил Третьякова:

— А, правда, говорят, 1 мая будем работать?

— Не знаю. Говорят,—сказал механик.

— Да, как же работать в такой день?—огорчившись, взмахнул Захар рукой. — Ведь сердце разрываться будет. Города будут звенеть, а мы работать? Ведь мы на пасху пахали—слова никто не сказал, неужто и в такой день? Праздник-то какой! Пролетарский! Советский!.. Э-эх!..

И Захар, нахмурясь, с огорченным и обиженным лицом улегся на черное руно разостланного зипуна.

Действительно, 1 мая бригады вышли в поле. Каждый день был дорог.

— Что ж мало чайку пьете?—угощал по-простецки меня Третьяков.—Вы кушайте, заправляйтесь... (Человек также «заправлялся» пищей, как трактор—горючим).

И подо двинулся, показывая, что собирается говорить о чем-то значительном, требующем долгой и искренней беседы.

— Вот, товарищ, обратите во внимание продовольствие наше. Этой колбасой несчастной только и живем. Как выехали в поле, дали по пуду муки, это на всю семью... и ша!.. Пшеница еще немного. Вот и живи, как знаешь. Теплой одежды нет. Как пришел я из Красной армии, сшил себе этот пиджак, так его все носят, когда на работу заступают... Просили аванс по три рубля, хоть штаны себе купить, — не дали... Вот какое положение!

Он помолчал, точно раздумывая, и добавил просто:

— Ну да, мы, конечно, колхозники, сознательные. Понимаем. Трудно, ничего не поделаешь. Перемогнемся как-нибудь... Одна беда—табаку нет. Ночью работаешь—холодища, в сон тебя клонит, а покурил—в роде и веселей стало и согрелся... Без табаку наше дело совсем никуда...

— Герои,—сказал о них директор Кинель-Черкаской МТС,—прямо геройская работа.

### С к р е п ы

— Богатая у меня жизнь, — вспоминает свое прошлого милый человек Нуждин.

— Богатая. Пятое-десятое, всего было... Нервы у меня спокойные, а то, если на впечатлительного человека, — с винтиков соскочишь. Особенно тут, в этом аду... Война меня таким сделала.

Усы Нуждина рыжеватого оттенка, словно бы подпаленные, глаза ясные, бледно-голубые и так открыто, прямо, точно вшивая каждое слово собеседника, глядит он на вас, кажется, совсем не мигает. И еще особенность невысокого, хлопотливого его тела: чтобы посмотреть, поворачивается как-то всем туловищем.

Вечно на ногах, на бегу, в заботе и спешке. Приходит домой за полночь, а утром, часа в четыре, когда я просыпаюсь, комната уже пуста. Нахлобучив картуз и натянувши черный ватный пиджачишко, давно летает Нуждин по Завьяловке. Всюду нужен хозяйский его глаз, совет, указание.

Был Нуждин когда-то сибирским стрелком. Лежал под ураганным огнем, не раз ходил в штыки, вяз в полесских и мазурских трясинах. Забрали немцы в плен. Здесь пробыл Нуждин пять лет — «посмотрел, как люди культурно живут». Работал на прусской ферме.

— Смеялся я над ними. Такой у них патриотизм, прямо удивительно! Возьмет вилы на плечо, как винтовку, сейчас зашагает и поет: «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»... А я запою своего сочинения:

Дойчланд, Дойчланд, ганц камут,  
Никт картофель, вениг брут.

Как услышит, озверсеет, глаза кровью нальются, пятое-десятое, готов избить... Нет, не нравятся мне немцы... И сколько наций в плену я ни видал, и французов, и англичан, и америкайцев, пятое-десятое, никто не нравится. Все о себе большого мнения. Вот индусы — те ничего... Хороший народ... Простой...

В Германии пробыл Нуждин почти до конца польской войны. Тянуло на родину, о которой долетали смутные и фантастические слухи. Выбрался кое-как, со всякими мытарствами и приключениями, через пограничные немецкие и литовские кордоны, пробрался в Советскую Россию. Пробыл год в Красной армии. Демобилизовавшись, пошел на производство.

Набор двадцати пяти тысяч отборных рабочих, которых разбросала Москва по деревням, вырвал Нуждина из железнодорожных мастерских. Смазчик превратился в заведующего Завьяловской экономией — филиалом Бугурусланской МТС.

— Уж больно мне по душе пришлась коллективизация. Сама идея.

Нуждин — беспартийный.

— Что ж, к одной ведь цели идем... А я скажу вам, кривить душой не умею. Что неправильно — не стесня-

юсь, пятое-десятое, в глаза коммунистам режу. И сами партийцы меня за это уважают.

Целыми днями мы ходим с ним по селу, заглядываем в контору экономики, в сельсовет, на общественный скотный двор, выходим в поле, холодное и ветреное. В низинах и на плечах дальних холмов лоскутами белеет серый, тяжелый, последний снег. Гремит студеный ветер. Бескрайная лежит степь.

Бригада колхозников запахивает под яровое. Тракторов еще нет, — ждут из Бугуруслана, — пашут на лошадях.

— Чего же ты, товарищ Нуждин, барином расхаживаешь? — смеются колхозники. — Ну-ка, попаши. Берись за цабан.

Нуждин не смущается. Рабочими руками, привыкшими к инструменту, немело, но ретиво сжимает он ручки сакковского плужка. Идет за лошадыми, спотыкаясь и утопая по щиколотку в рыхлой бороде. Делает круг и запыхавшийся, но довольный, отряхая ладони, подходит ко мне.

— Вот это дело, — скалят зубы пахари, — к крестьянскому делу приспособился, Нуждин.

— Вы потом поглядите, как бы хомутом лошадям шею не нажгло. Набьет еще...

Пахари задеты:

— Ну, набьет!.. Чай знаем!.. Свое хозяйство имели.

— Мы должны об общем хозяйстве заботиться больше, чем о своем, — веско и учительно возражает Нуждин. — За хозяином столько глаз не следит, сколько за нами. Чуть какую оплошность сделали — пойдут звонить. Кулаку это на-руку.

Возвращаясь в село, Нуждин говорит:

— Адское терпение надо с ними иметь. Чуть отвернулся — сейчас напутали что-нибудь, дурака свалили, пятое-десятое. Как дети!

Ухмыльнулся:

— Но тонкую политику ведет! Ой, политики, мать честная!.. А я, знаете, как с ними? Чуть-что — посоветуюсь: ну, как, ребятки, думаете? Они это любят, чтобы посоветоваться с ними, потолковать, пятое-десятое... Ну, да ведь

и то: первое время в крестьянском деле плохо разбирался.

— Самое главное — подход.

— Вот-вот, — точно обрадовавшись, подхватывает мое замечание Нуждин. — Нельзя же сразу наваливать. Приучать надо. Вот и жеребенок сначала одно бревно таскает, потом два, а потом уже цельный воз... Плохо вот только, что начальства у нас много. Не скоро еще научимся жить без начальства.

Весь день, как пчелы к матке, лова на ходу, тесным, гудящим роем облипают мужики Нуждина. Городской рабочий пиджачок его теряется в гуще пахучих нагольных полшубков, зипунов, бараньих шапок и малахаев, висящие собачьи уши которых обрамляют заросшие деревенские лица. И на все вопросы у Нуждина находится ответ, все недоумения и затруднения разрешает он мягко и осторожно, точно советуясь, точно спрашивая, не упуская случая агитнуть. Мужики вторят удовлетворенно и дружно:

— Чего уж говорить! Раз взялись за работу, надо работать.

— Крестьянин в работе смелый.

— Известно, мужик работы не боится...

Вечером, тонко шипя, желтеет керосиновая лампа, висящая на длинном крюке. В конторе заседание комитета. Коричневая клеенка хромоногого стола завалена вынутыми из папок бумагами, мужики сидят, развалив на ней локти и свесив бороды. На повестке дня вопросы:

1) О самовольном уводе трех лошадей с общественного загона, 2) о назначении табельщика, 3) о племенном быке.

Решили вопросы быстро. Нуждин вел собрание умело, не давал растекаться в бесплодном галдеже.

С мужиков, забравших своих лошадей, решили взыскать всю стоимость прокорма, со дня вступления в колхоз, считая по восьми рублей в месяц (сумма получилась кругленькая). Назначили табельщика. Племенного быка постановили приобрести. По последнему пункту крупный губастый парень в васаленной кепке с околышем желтой кожи сказал сурово:

— Надо разводить скотину... А вместо телят — мышов понаделали. Ежели взялись хозяйствовать, так уж дело делать.

Бригадиры давали отчет о проделанной за день работе. Сколько запахали, сколько заборонили их бригады.

— Нуждин, ты записку мою получил? — высунулся из-за плеч бригадиров-пахарей шустрый и молодой лапотник.

— Получил.

— Он сам принес?.. Ну и как?..

Не дожидаясь ответа, парень покрутил головой, согнулся и стал давиться восхищенным, беззвучным хохотом. Верхняя губа его полезла вверх, оголяя блеклую десну.

Записка содержала просьбу дать нагоняй одному из бригадников, который во время работы погнался за сусликом. Вся колонна остановилась — провинившийся шел первым — и должна была ждать, когда малый кончит гоняться. Колхозники были возмущены.

— Ты его прожучь хорошенько, Нуждин, — заговорил бригадир теперь уже серьезно. — Такой оборот! Двадцать две лошади из-за него стояли!.. Я потом отвел его в сторону — вся колонна проходила мимо и страмила: «Лодыр ты! Безмозглая твоя голова...»

— Я поговорю с ним, — отозвался Нуждин. И забеспокоился, ворочаясь на табурете всем телом, оглядывая комитетчиков ясными широкими своими глазами:

— А что, много сусликов?

— И-и, страсть!

— Ведь это же плохо, ребята. Они хлеб точат, вредители, пятое-десятое. Истреблять надо их. Как думаете, ребятки?

Колхозники дружно подхватили обороненную, словно бы случайно, нуждинскую идею:

— Ясное дело!

— Ребятишек надо запретить. Дело легкое — водой выливать из нор, а за шкуру гривенник платят.

— Бригаду организовать.

Завязался оживленный разговор о мерах борьбы с сусликами.

... Уже живя в другом селе, услышала я о Нуждине:

— Смертный мужик Иван Митрич, — говорил хворающий глазами старый дед-колхозник. — Смерный... Хороший мужик... Сказывали, он совсем хочет остаться жить у деревне.

\* \* \*

Силуэт другого двадцатипятилетнего. Панфилов. Рабочий с подмосковной электростанции. Сейчас заведует экономией в с. Кирюшкине. Он же секретарь местной парт'ячейки.

Просторная, чистая, шестиоконная горница, где живут две семьи: Панфилова и председателя сельсовета, наполнена тоскливым, удушливым полумраком. Тускляя лампочка, висящая на гвозде, чуть-чуть брезжит. Комната, как фонарь, — сквозная, окна без занавесок зияют волчьей, деревенской тьмой. Как удобно целиться сюда, спрятавшись за плетнем!..

— Я всегда, если останавливаюсь, выбираю кулацкую избу, — говорит Панфилов, — по крайней мере гарантия — не тронут. Ответственность чувствую.

Сейчас он, только-что вернувшись с собрания, расхаживает по избе, неумело и любовно укачивая бунтующего младенца, родившегося в глухом этом мордовском селе. Русая и болезненная жена его, приехавшая из Москвы, возится с примусом в соседней комнате, где живут хозяева.

Панфилов так осторожно, будто это хрупкая и драгоценная ваза, прижимает к сердцу пищащий сверток в розовом шелковом одеяльце:

— Ух, ты, перепелка! Червячок! Кдопошится... Ну, чего возишься?.. Чего?.. Детей воспитывать надо, — говорит он, взад-вперед пересекая комнату по диагонали, — наша смена. Вот вырастет — пионером будет. «Всегда готов»... Ух, ты, пупсик!

Этот тихий и чадолюбивый парень, у которого такое задумчиво сосредоточенное выражение лица, будто прислушивается он все время к чему-то неслышному для других, четыре года под ряд во главе отряда мотался по лесным чащам, глухим разбойничьим оврагам, кулацким селам, где все дышало предательством и смертью. Лез под целившиеся обрезы и ржавые

клинки и сам убивал. Ликвидировал бандитизм.

— А ведь если умрет, жалко будет, — задумчиво вглядывается он в крохотное, недовольно сморщенное личико, утонувшее в розовом шелку. — Жалко будет...

Я знаю, почему он так говорит. В один год, чуть ли не в один месяц, смерть унесла у него жену и друг за дружкой трех ребятшек. Осталась четвертая — девочка. Панфилов женился вторично. Мачеха не влюбила падчерицу, обращалась с ребенком сурово. Тогда Панфилов разошелся с женой и до сих пор платит ей алименты.

Примус отгудел, тихая и бледная хозяйка поставила на стол сковородку с жареной картошкой. Панфилов, поковыряв немного вилкой, поднялся.

— Чай уж я пить не буду. Меня сколько рабочего люда дожидается, а я тут рассаживаю. Это, выходит, с моей стороны маленький бюрократизм.

У Панфилова нет той раскрытости, того обаяния, которым незаметно, исподволь, подчиняет недоверчивую и подозрительную деревню Нуждин. Панфилов более замкнут и углублен в себя. Но тем не менее дело, которое вызвался делать, поехав с ударной рабочей бригадой на деревенскую работу, он выполняет.

К февралю Кирюшкино (колхоз «Стальной Коня») было коллективизировано на 85 проц. Когда взмыла волна отлива, процент этот с каждым днем стал убывать. Мужики бежали из колхоза десятками, сотнями дворов (село большое). Колхоз таял, рассыпался, разваливался на глазах. Прежние 85 проц. чуть ли не в несколько дней скатились до 20 проц.

— На волоске висели. Стоял вопрос — быть или не быть колхозу.

И вот Панфилов повел отчаянную борьбу за «Стального Коня». Люди забыли о сне, об отдыхе. Пошла полоса митингов, разъяснения, убеждения, доказывания. Собрания шли непрерывно, одно за другим. Групповое собрание сменялось собранием актива, а за ним следовало общее собрание колхозников, затем пленум президиума сельсовета, потом расширенный пленум.

Собрания начинались в шесть часов вечера, тянулись всю ночь напролет, все утро и заканчивались в двенадцать следующего дня. Новый устав сельскохозяйственной артели разбирался по косточкам, так, что живого места от него не оставалось. Мельчайшие вопросы, возникавшие при этом, обсуждались подробно, обстоятельно, часами. Кулацкая атака встречалась контрударом.

Мужики набивались в низенькое, тесное помещение, сидели на скамьях, на подоконниках, на полу; спертый воздух оседал баннным жаром, кислород заменялся махорочным дымом, запахом лрелой овчины и пота. Усталые, разомлевшие в духоте люди засыпали, скорчившись, положив голову на плечо или колено соседа, а проснувшись, с новым жаром ввязывались в продолжавшееся обсуждение того или другого пункта. Когда Панфилов приходил домой, чтобы, не раздеваясь, брякнуть себя на кровать, в горле у него сипело и саднило: приходилось говорить, не переставая по шесть, по восемь часов.

Шла борьба за влияние, за того или иного домохозяина. Вот, например, Во-лынщиков, зажиточный середняк, мужик умный, уважаемый, к слову которого прислушивается все село. Когда пролетел слух, что Волынщиков хочет уходить из колхоза, за ним потянулись десятки дворов.

— Ежели Волынщиков вышел...

Убедили Волынщикова. Вернулся в колхоз обратно. И следом за ним возвратились пятьдесят домохозяев.

— Ежели Волынщиков в колхозе...

Сейчас колхозников — 50 проц. селз.

Дело более или менее налажено. Но, конечно, преждевременно еще говорить о том, что колхоз вполне окреп, что переделана собственническая, рваческая психология крестьянина.

К Панфилову подходит колхозник:

— Я, товарищ Панфилов, две недели амбары караулил. Заплати!

— Погоди, брат. Да ведь ты только позавчера в колхоз всгунил. Свой амбар караулил, не общественный. Как же ты требуешь?

Мужик смеется:

— А ты умный, оказывается.

— Если б глухой был — гнать меня надо.

\* \* \*

В любом селе, в любом колхозе, в экономии МТС встретите вы Нуждных, Панфиловых, многих из тех двадцати пяти тысяч, которых послала сюда заводская Москва. В мятушуюся, расстроенную, раздраемую социальной враждой, темную, несчастную деревню вносят они свой навык четкой работы, рабочую культуру, безошибочный классовый инстинкт и умение найти общий язык с мужиком-тружеником. Они цементируют громоздкие глыбы великой деревенской стройки.

— Приехали москвичи, хоть языки развязались. Можно говорить, что хошь. А то раньше, чуть скажешь слово: «ГПУ! В Соловки!» — отзываются сельчане.

Я сам слышал от одного крестьянина:

— Надо было раньше слать к нам рабочих. Если б прислали в первые годы — давно бы все были в колхозе.

## 2. ОСАДА НАИФАТА

### Д. Гатуев

Мягкие, волнистые, цепляющиеся одна за одну линии гор незаметно вынесли меня на перевал. Я еще раз посмотрел на зеленые массивы вольной Куртатиг, коронованные прогнившими зубьями разрушающихся башен, и спешился: начался спуск.

Впервые мне пришлось входить в Даргавское ущелье через верховья.

Они суровы и мрачны. Над черными графитовыми утесами круто виснет иссеченная грандиозными трещинами снежная стена Зарриу-хоха. Перед лицом его особенно жалкими кажутся аулы, почти брошенные жителями.

Сегодня канун праздника, и в аулах говорят даже камни. С'ехались гости. На плоских яровьях саклей ри-



туально режут баранов, которые не блеют, помраченные видом своих уже пригнанных собратьев. Их спрятавшие черными рунами тела карежит неумимная судорога. Но беспощадны руки резника, только-что молитвенно простирившиеся к богу богов—Хцаву и богу грома и молнии—Вацилле, — из раненого бараньего горла фонтаном выпрыгивает кровь. И ползет над саклями густой дым, начиненный ароматными запахами мяса, пирогов и паленой шерсти...

На площади в Каккадуре три свежеспромоленных дымом гнезда для живых котлов. В каждом закипело праздничное ячменное пиво, а в каждом можно бы танцевать лезгинку...

Гомера вдохновляли бы осетинские пиры...

Центр праздника — за селением Цагат-Ламардон. Там уютное зеленое ущелье вздыбилось утесом. На нем декоративно высится древняя циклопическая башня, которая священна. К ней прилажены поздние каменные постройки. Плоские кровли их — ступени к святилищу Наифата.

Когда-то, говорит предание, грузинский царь Елечер (Ирлалли?) напал на Осетию. Он угнал в Грузию пленных и стада баранов. И цепь. Цепь бежала от насильников. Они стреляли вдогонку цепи и ранили ее. Она вернулась домой, истекая кровью. Люди перевязали рану.

Тогда царь Елечер смиренно вернулся к цепи и принес ей в жертву двух быков...

Задолго до начала праздника наследственный жрец Наифата Ильяс Гутцев, как и его предки, гаданием на стрелах устанавливает, какой из домов Ламардона должен дать жертвенного ягненка в этом году. Жрец сам идет к стаду, сам отбирает жертву, которую с этого момента окружают необыкновенным в горском быту уходом: приставляют к нему трех маток, холят, купая даже в молоке, до дня праздника скрывают от женских глаз.

В первое после христианской троицы воскресенье приходит конец бараньему счастью...

День за днем кружит земля, отрывая солнцу гладь океанов и морей, поля, леса и пустыни суши, снежные вершины гор, склоны ущелий, утесы, обложённые саклями. Вот тень от Заррия упала на скалу, и жрец вышел из своего очистительного убежища в Наифате. На нем белая одежда—бязавый бешмет, перетянутый ремнем. Он без кинжала. Давно небритое—в очищении—смуглое лицо и низкий, четко очерченный, тяжелый, в морщинах лоб. Медленные карие глаза спрятаны глубоко.

Когда-то, давно—люди говорят, что тому 600 лет,—предка этого жреца, безродного мальчика, похитили кабардинцы. Мальчик пас кабардинское стадо и часто плакал, тоскуя по своей суровой родине.

Однажды к мальчику спустился с поднебесья орел и спросил:

— Ты осетин или кабардинец?

— Осетин.

— Почему ты так много плачешь?

Мальчик рассказал орлу о своей беде. Орел вознес мальчика на гору.

— Узнаешь ли ты эти места?

Мальчик узнал башни Наифата (тогда там жили люди).

— Иди.—Отпустил мальчика орел.— Вспомянай меня. Пусть твои молитвы будут для исцеления людей.

И вот жрец вышел из своего предпраздничного очистительного убежища, Наифата, чтобы совершить восхождение на Тбау-Вацилла, на вершину которого орел вознес мальчика. Вот несут за ним жертвенного ягненка и чашу свежесваренного пива, а люди, жаждущие исцеления, сторожат его. Густой толпой они собрались на Цата-дзуаре (дословно: «местопребывание святого отрубей») и, выждав, пока жрец кончит молитву, передают ему свои жертвенные приношения: щипки ваты, лоскуты материи, мелкие серебряные монеты, икувинагта (молебная еда)—зажаренные на вертеле пять правых ребрышек убитого к празднику барана — и три сырных пирога.

Люди просят жреца помолиться за них.

Многие не успевают к жреческой остановке на Цата-дзуаре. Они пере-

хватывают священную процессию на пути и счастливы, когда удастся вручить приношение кому-либо из Гутцевых, сопровождающих жреца на Тбау-Вацилла,—на вершину ее когда-то вознес орел мальчика, ставшего родоначальником фамилии.

Ночь на понеделник—ночь мистической тишины в пяти аулах ущелья. Утопающие в чаду, усталые хозяйки готовят яства. Мужчины чинно сидят в кунацких, делясь новостями: гости — плоскостыями, хозяева — горскими; праздничное пиво пока отставляется в чанах. Тишина. Кажется, что даже быстрая река умолила. Люди знают, что ушедшие на Тбау-Вацилла достигли пещеры, затерянной в предвершинных скалах, что уже зарезан жертвенный баран, что Ильяс взошел на священную запретную для земных вершину. Люди верят, что не спит жрец и молится за них.

На дальнем склоне ущелья, в аулах, как бедные звезды, светятся окна...

Утром жрец сходит в долину. Он приносит людям пиво, остававшееся на Тбау-Вацилла с прошлого года и разложившуюся икуру прошлогоднего же жертвенного ягннца. И весть об урожае: ведь пиво за год обросло корой—урожай будет в той части Осетии, к которой обращена гуща затвердевшая на поверхности пива пена.

— И на горах и в плоскости будет изобилие в этом году.

Смертные встречают жреца, чтобы услышать эту весть, чтобы получить от него глоток целебного пива или же щипок от прогнившей кожи, предупреждающий эпидемию. Праздничные одежды смертных лохматы и бедны. Протянутые в моленях руки—корявы.

Плоские кровли Наифата, которые—ступени к святилищу, курчавы. На них собрались люди. По крутому каменному желобу в метр ширины, медленным грузным потоком стекает густеющая баранья кровь. Здесь же свежуют баранов, насаживают пять ритуальных ребер на деревянные вертела и зажаривают в нижней сакле. Из входа в нее неиссякаемо пол-

зет дым. Там же лекут треугольные пироги.

На высшей ступени, перед входом в башню, в позах мистериальных,—потупив обнаженные головы, благоговейно держа в руках кувшинок,—стоят болящие: ждут приема, целебного прикосновения к раненой цепи.

Туберкулез и сифилис, ревматизм, подагра и малярия, сумасшествие прибрели сюда. Вот по деревянной лестнице втащили на площадку припадочную. С вечера ее держали в сумраке женского помещения, и снаружи слышно было, как она билась там и кричала вселившимся в нее нечестным:

— Уходите, уходите от меня! Я гостья Вациллы, я гостья Вациллы!

Я не зарезал жертвенного барана, не испек треугольных пирогов, и мне воспрещен вход на верхнюю ступень. Я лишен права видеть целебную цепь. Но в суматохе, порожденной дробным криком больной, я взошел и видел.

Больную положили перед жрецом, и он коснулся ее головы.

— Успокойся, успокойся,—сказал жрец обыденно и тихо.—Вацилла спасет тебя... Вацилла помилует тебя...

— Спасет?

— Спасет, конечно, спасет

Видна ужасающая борьба. Тело больной ломают судороги, и на лице проступают бриллианты, вероятно, холодного пота. Она ослабевает и лежит покорная и немощная, медленно поднимая тяжелые веки, чтобы смотреть на жреца, когда он будет отвечать на тот же ее вопрос:

— Спасет?

— Спасет,—спокойно отвечает жрец и гладит ее густые черные волосы. Потом он тянет ее безвольную руку к цепи, дает ей откусить от священного пирога, от одного из пяти зажаренных ребер. Он дает ей тлотнуть целебного пива, и больная впервые после многих лет узнает мир. Она поднимается, подчиняясь приказанию жреца, и выходит к восхищенным людям, и плачет, и просит простить ее, сама не знает за что. А те, очарованные сифилитики, туберкулезни-

ки, ревматика, вновь застывают в благоговейных позах, заматчиленные шесть беспощадными, кровавыми, жуткими, холодными и голодными веками.

Я — неверующий, но я — гость. Последнее предопределяет отношения ко мне приближенных жреца — бедняка Бакарова и кулака Тосикова. Оба они из плоскостного, замыкающего вход в ущелье селения Гизель. Бакаров мрачный, сутулый человек, за крупными губами которого прячутся немногочисленные остатки крупных зубов — клыки. Он резник три жреца. Он выбран из среды смертных, чтобы подниматься с жрецом до пещеры у вершины Тбау-Вацилла и резать там жертвенного барана: Гутцевы, избранные Богом для исцеления людей, не могут обмывать свои руки в крови.

Щеки Тосикова свежее выбриты, и клинушкой торчит серебряная борода, оставленная для солидности. Он мал ростом, а взгляд его серых глаз надменен.

Оба они распорядились, и расторопный, лет 28 парень позвал меня вниз. Он весело предложил мне сесть «на самый мягкий камень». Со мной уехали Бакаров и Тосиков. Праздник этого года не весел. Какне-то там коммунисты и комсомольцы собираются в соседних аулах и хотят притти сюда, чтобы разогнать приехавших за исцелением. И вот, пока осторожный и надменный Тосиков молчит, простодушный Бакаров раздумывает вслух:

— Ведь Гино (Гино — его племянник, коммунист, областной осветработник и писатель) сам в прошлом году видел, как Ильяс излечил сумасшедшего...

— Ильяс — что!.. Разве мы не знаем, что Ильяс копейки не стоит: он — пьяница, обжора. Мы не к нему приходим, мы в это место приходим, — продолжает он, помолчав.

Я встретил Гино по дороге в Наифат. По поручению областных организаций он руководит землеустройством ущелья. Оно является началом интенсификации хозяйства в Нагорной полосе, которая, коллективизировавшись, должна будет нести определен-

ные хозяйственные функции: пятилетний план переводит Нагорную Осетию на овцеводство.

Гино ходит сейчас по Даргавским аулам, полунаселенным после стихийного выхода горцев на плоскость, и зовет их бросить прокопченные дымом сакли, образовать вместо пяти два поселка с постройками нового стандартного типа.

Глазами старого Бакарова исподлобья следит старая Осетия за работой Гино:

— Людям и на прежних местах хорошо живется.

Наш урдапстаг (стоящий на ногах; так называются в осетинском быту младшие, обслуживающие пирующих), — тот же расторопный парень, зовут его Асаге, — был до революции «временно проживающим» парнем, выселившимся на плоскость, но не принятым в данное сельское общество к потоку лишенным надела. Революция удала ему душевой надел в 0,6 га, — он за революцию и часто восклицает:

— Да здравствует рысысы! — что в его произношении следует понимать — СССР.

На вопрос, почему же он здесь, Асаге весело объясняет:

— Целый год я работаю, как осел. Разве не могу я одну неделю подышать хорошим воздухом, повидать людей, поговорить и полтировать с ними, ни о чем не заботясь...

Я незаконно увидел цепь. Теперь мне хочется увидеть кувандон (молельня, часовня), круг посетителей, которой расширен: туда выпускают и тех, кто не зарезал Вацилле жертвенного барана. Я спросил Бакарова. Он сходил и вернулся от Ильяса с решением.

У входа в молельню — толпа. У всех те же кувинагта. Я удивился встрече с знакомым владикавказским осетином. По моим сведениям, он уехал в Бухару.

— Приехал, вот, — точно сам недоумевая, говорит он. И успевает объяснить, пока мы проталкиваемся в молельню: — У меня родились, но не жили дети. Когда родился этот сын (он показал на трехлетнего парня,

уладившегося на руках матери), я пришел сюда. И ребенок живет.

В густом сумраке молельной единственной источник света, дверь, заделан толпой, — люди потеряли свою конкретность. Слабо мерцают восковые свечи, выравленные метерлинковскими — в ниспадающих платках — женщинами в стену. Когда-то стена была иконостасом. Теперь в ней осталась низкая дверь, ведущая во вторую половину — алтарь. Случайность опять притерла меня к владикавказскому знакомому. Он несет к жрецу свое сокровище — ребенка, и жрец, приняв кувинагта, деловито и спешно молится Вацилла.

— Глотни, мое солнце, — употребляет он обычное обращение к детям, протягивает ребенку чашу пива. — Откуси, — дает он ему пирога и мяса и ритуал причастия закончен.

Полки позади жреца доотказу уставлены разнообразнейшими христианскими иконами, в большинстве современными. Говорят, что это приношение паломников, наслаивающиеся из года в год в течение существования культа. Говорят, что за первым видимым рядом икон хранится множество древних.

В нише, находящейся под боком жреца, таинственная чаша с таинственным пивом. Отец протягивает жрецу порожнюю винную бутылку — жрец через жесткую воронку наливает в нее две маленьких рюмки пива.

Худые и бледные — женские, корявые и твердые — мужские руки с бутылками еще и еще протягиваются к жрецу. Серебряной стопочкой он черпает его и разливает, разливает.

— Табу Вацилла! Табу Вацилла! (молимся, славим тебя, Вацилла!) — шепчут людские губы.

Люди развезут пиво по ущельям и селам, будут хранить его, будут лечиться и лечить.

Преодолев напор толпы, я выбрался в чудесное ущелье Наифата. На дне его говорливо бежал сказочный ручей. Девственной травой зеленели крутые склоны. Тропинки протянулись

по ним в прекрасные, затканые снежным молчанием выси.

Надпологой тропинкой, вытоптанной из Ламардона в Наифат, — единственная в Даргавском ущелье и потому священная роща. В ней вырубается ежегодно палка, которую жрец берет с собою на Тбау-Вацилла. На вершине он натягивает на нее шкуру жертвенного ягненка.

Сейчас пробирается сквозь ветви и ползет над рощей голубоватый дым.

Я поднялся по ступенчатому краю. Неслышны стали людские голоса, и показалось, что нет, не должно быть болей, что мои глаза будут всегда ненасытно смотреть на снежные выси, что я, люди, суровые дальние склоны, выси, что мы прекрасны. Должны быть прекрасны.

Но плоские кровли Наифата густы, как черные гроздья винограда. Корявые пальцы — в складки их в'елась черная земля — держат нищенские кувинагта; в глазах покорная, беззлюбная, беспомощная вера...

Голубой дым ползет по верхушкам деревьев. Небо ясно. В прозрачном воздухе точно выше и выше растут каменные горы. И вот неожиданно родился и побежал по неизбывной горской тишине звон колокола. Мне почудилось некая мистика в медленных ударах, — я стал считать. Ударов было больше, чем 3, 7, 9, 33, 40 и даже 99, освященных исламом и христианством кабалистических цифр. Я свернул в орешник, достигший предельной в заповедной неприкосновенности высоты.

Таинственная тишина рощи. Робко трещат под ногами сучья. Прихваченный листовкой, — сквозь нее видны скалистые куски дальних кражей, — глух колокольный звон. В буйной влажной траве рассыпана рубиновая земляника.

Скрытый кустарниками, я остановился; чтобы не помешать молитве. Группа мужчин полукругом стояла около дерева, к стволу которого прикреплен стационарный колокол. Седобородый патриарх занимал центральное место в полукруге. Деревянная чаша с пивом в правой руке, ребра

и пироги в другой. Он импровизировал молитву, как это умеют только осетины. Старик то понижал голос и говорил шепотом, или был вкрадчив, или убедителен. Порок он почти кричал, приказывая громовержущему Вацилле дать бедной фамилии урожай на полях и в садах, сочные куски мяса, залитые маслом пироги, изобилие в саклях, благополучие в пути, удачу в делах и здоровье.

— Ой, табу Вацилла! — постоянно взлетает в речи старика, скрепляя каждое требование, подтверждаемое хором присутствующих:

— Омен!

Старик умолк и протянул младшему в кругу глотнуть пива и куснуть пирога и мяса. Молельная чаша пошла по рукам и по губам. И тогда фамилия уселась на земле. Урдагстаги расставили деревянные блюда с вареным мясом, сырными пирогами, пашлык. Чаша много раз наполнялась пивом.

Как посол божий («гость — посланник божий», говорится в осетинском приветствии), я сел с ними за вкусную родную еду.

Это был фамильный дзуар. Каждый род, живущий в аулах Даргавского ущелья, имеет своего дзуара-покровителя и сегодня устраивает на месте пребывания его тасло же пиршество... И каждый аул имеет своего покровителя и каждый аул будет пировать завтра около своего дзуара. Превыше всех — Вацилла, бог грома и молнии, следовательно — дождей и плодородия.

Я понял, что праздник, на который стекаются люди со всей Осетии, — грандиозная мистерия, показывающая развитие общественных форм от тотема к богу — от семьи к нации. Не даром же спросил чудесный орел гутцевского мальчика:

— Ты осетин?

Хмельное пиво развязало языки. Шлепались густо вымазанные в салу шутки. Пели. Вечером, перед тем как войти в аул, хороводили на поляне веселое «Чебена», — взявшись под руки кружились, одевив старика, и повторяли это тяжеловатые и наивно хитрые движения.

Вязкой тропинкой между полями овса и ячменя я спустился утром в Даргевс. К партии землеустроителей, возглавляемой Гино, под'ехала другая партия — облесителей, если приемлемо это полуприличное слово. Их задача — согласованно выбрать участки для новых укрупненных поселков, для пахоты, сенокоса, пастбищ и леса.

Медленной сапой идет осада Наифата: ламардонская гроша не будет единственной и священной.

Обрывается каменная скрижаль горской истории. Столетия назад сложили волосатые руки пионеров каменные здания, которые были и жилищами и крепостями во время нашествия врага. В нижних этажах саклей, воспаленных повседневной юпотью, держал осетин худобу и семью. Над очагом висела цепь, с которой отождествлялся патриархальный род, его сила и твердость. Шафер, когда вводил в дом невестку, окончательно закреплял молодую за новой семьей тем, что заставлял ее прикоснуться к надочажной цепи.

Теперь Гино ходит по аулам и зовет людей переселяться в новые дома, в которых не будет надобности в надочажных цепях, не будет стен и потолков, закопченных дымом, и грудей, рвущихся в кашле, и глаз, воспаленных в дыму. И распадется старая семья: оставив отцов доживать старые дни, сыновья уйдут вскоре в новые поселки, расцветенные электричеством.

Верхами и на арбах и пешне догоняют нас — меня и Гино — возвращающиеся на плоскость паломники, начиненные хмельным ливом. Они поют. Пытаются джигитовать. Спорят с Гино, каждый раз ссылаясь на исцеление, виденное Гино в прошлом году. Зовут меня в свидетели нынешнего. Напрасно Гино рассказывал им о великой силе внушения, говорил о неудачах жреца в борьбе с сифилисом: спорщики посмеивались и торопились уехать, точно боялись поверить. Слева от нас высилась Тбау-Вацилла. У подножья его ютились разоренные сакли вовсе покинутого жителями Хуссар-Хинцага. Рядом с брошенными рассыпавшимися сакля-

ми древние белые оцемментированные могильники казались жилыми. На громадном недоступном камне, как остов подбитой птицы, прозрачная в бойницах и входах, лежала старая крепость. Точно подступая к ней со дна ущелья, поднимались рабочие. Шапки и лица их осетинское происхождение: «спитые с претензией на галифе брюки из домочашного сукна, приведенные в бесформенное состояние ботижки. Снабженные кирками и ломом и молотом, они начали только что еще один шурф, — мы вступали на территорию строительства Гизельдонской государственной электрической станции.

Дорога взбегала на Кахта-Сар, мирный с юга, невысокий перевал, уставленный громадными, вросшими в землю скалами. Мирно текущий на долине Гизельдон терялся в прорыве между перевалом и Чижжита-хохом. Когда-то недоступный, загороженный отвесными скалами Гизельдон перехвачен теперь мостками. Двумя черными зеркалами смотрят со склона Кахта-Сара забранные лесами штольни. Через правильные промежутки времени выбрасывает верхняя штольня породу. С глухим рокотом сыплются на дно долины гранитные куски.

Склон Чижжита-хоха изрыт множеством шурфов: определяют место, на которое второй стороной улеглась бы гизельстройская плотина. Похожая на опрокинутый вниз вершиной треугольник, она предполагалась 47 метров вышины в самом глубоком месте и 120 метров длины по гребню. Замкнув Гизельдон, она образует водохранилище в 15.000.000 кубм. Напорная штольня—это из ее жерла выбрасывается сейчас порода в 2,3 клм.—будет подводить воду к башне. Из нее вода почти вертикально с высоты 70 м. упадет по трубам на 3 турбины, установленные в здании силовой станции, рассчитанной на агрегаты мощностью 7500 киловатт каждый. Строенная годовая выработка Гизель ГЭС — 100.000.000 квт. часов.

Я не стал возвращаться на дорогу и, быть может, в последний раз (в

1931 г. должна закончиться постройка станции) начал спуск вдоль оглушительных ревущих каскадов Пурта, водопада, в который превратился Гизельдон, войдя в прорыв. Близкие и сказочно когда-то недосыгаемые склоны его до сих пор сохранили первобытно-девственную, дикую красоту. Нагромождение мшистых скал и нежная, робкая поросль горного папоротника... Сухощавые березки на коричневых осыпях... И Пурт, забрасывающий мириадами брызг.

Насмешливое осетинское преданье сохранило имя Султана Мамсурова. Он был жителем Даргавса, в установленные дни резал жертвенных баранов, ходил в Наифат и мечтал построить на Пурте мельницу, «которая бы молотила кукурузу для всей Осетии».

Давно умер Султан Мамсуров, и в честь его съедены быки во все поминальные осетинские сроки... А Пурт прыгал по уступам скал, густым ревом пугая бедных горских людей. Только теперь посягнул человек на вольный шум его: он ввел часть пуртовской воды в трубопровод, она движет турбины временной силовой установки, которая механизует работы на строительстве.

Пурт кончает самоубийством. Его энергией уже восплазот на Кахта-Сар вагонетки бремсберга, поднимающие невиданные в Наифате осадные машины: камнедробилки, цементомешалки, бревна, доски, насосы, бурава.

Двух прямых колеи бремсберга, точно шнуры венгерской куртки, касаются петли проклятиями прославленного северного колесного подъема на перевал. Когда-то, рассказывают, на Кахта-Сар вела тоже тяжелая выючная тропа. Дед нынешнего жреца, Ильяса Гутцева, пришел однажды на пыхас (так называются в селах Осетии излюбленные для сборищ места) и рассказал:

— Ночью явились ко мне — да будет им слава! — два всадника, белый и черный. Они повели меня на Кахта-Сар, и один сказал: «Проведи здесь дороги!..» — «Как я могу сделать это?» — «Скажи людям». — «А, если они мне не поверят?» — «Ты скажи, а неповинующихся мы отыщем са-

ми. — «Хорошо, я скажу, но по какой линии нам вести дорогу?» — «Ты стой и смотри, как мы проедем. По нашим следам поведешь путь».

Жрец привел горских людей на Кахта-Сар, и они увидели два следа, спускающиеся вниз в ущелье. Выполняя священную волю всадников, люди разбили протяжение следов на участки и распределили их между фамилиями. До 1927 г., когда начались работы на Гизельстрое, каждая фамилия заботилась об участке, сделанном руками ее предков.

Пусть на 38 петлях Кахта-Сара безнадежно изнывали обессилевшие в подеме кони, пусть набухали кровью зрачки подъярменных молчаливых быков, пусть хрипли понукающие людские глотки, — умерший жречествующий дед развернул в свое время производительные силы ущелья. Живой же внук его уже мертв и, мертвый, тянет за собой живых.

Начало (или конец?) Кобанского ущелья мрачно. Узкое, безысходное, оно точно хоронит небольшую столовую ОсЦРК, построенную для рабочих, занятых на головном сооружении, т. е. за перевалом, в двух тяжелых (в гору) километрах от нее или же далеко в высях, на которые уже легли геометрические кружева индустрии — ходы к боковым штольням, пробитым с целью ускорения работ в главной водонапорной.

С запозданием на год станция будет закончена в 1931 г.

Подготовительные к строительству работы велись Севкавказэлектрокраем, который создал грандиозный, рассчитанный на полное использование проект. Поскольку средний ежегодный расход воды в Гизельдоне (3,65 км.) не являлся достаточным для выработки необходимого количества энергии, Электрокрай спроектировал переброску течения реки Геналдона (расход воды 1,2—2 км.) из соседнего Саннибанского ущелья в Даргавское водохранилище ГЭС. Так достигается равномерная мощность станции в течение круглого года, что особенно важно зимой, когда количество воды в Гизельдоне падает до 1,43 км. (5,835 — летом).

Уже кончена водосливная штольня (218,5 м.), которая будет регулировать уровень водохранилища; на 900 метров пройдена штольня водонапорная. Проект Электрокрая осуществляется как бесспорный до момента, когда управление строительством подошло к необходимости закладывать плотину. Оказалось, что Электрокрай составил проект без предварительного испытания грунтов, и строительство пошло «от конца к началу». Уже весной 1928 г. управление заключило с Кавгидростроем договор на разведочное бурение в районе плотины. Склон Чижджита-хоха давал все время сомнительные пробы. Только летом этого года наткнулись на слой ленточной (синей) глины, достаточно водоупорной, по уверению американского экспорта.

Кривая вывезла.

Путь по ней увеличил стоимость строительства с 11 до 18—19 миллионов рублей и стоимость энергии с 0,74 коп. за квт.-час до 1,8 коп.

Рабочий городок строительства расположился на дне благословенной в археологии Кобанской долины. В нем около пяти камедных казарм для технического руководящего состава строительства и для квалифицированных рабочих, и около 10 деревянных — склады материалов, управление и неквалифицированные рабочие, главным образом осетины.

Условия их жизни в грязных, клопами законопаченных бараках могут быть названы идеальными, разве только в результате сравнения с еще более грязными, прокопченными, вшивыми саклями.

В дождь бараки текут. В них скука и одурь.

Конечно, в городке есть клуб, есть читальня. Но они более носят отчетный характер, а клуб даже увеселительный — осетинский отряд, готовясь к штурму Наифата, вооружается не тем оружием, какое для штурма необходимо. Ведь все то, что имеется налицо в данный момент, — «культурный самотек», если так позволено будет выразиться. Это — или минимум общественно-политических представлений, стихийно получаемых в процессе

участия в социалистическом строительстве, или же (в части бытовой) — курс на заимствование у квалифицированной русской группы рабочих методов и форм художественного самообслуживания. Азиатская гармоника, которая так хорошо передавала лирику осетинских мелодий, реконструируется: слышны попытки играть «яблочко» в ритме лезгинки и наоборот. В национальном степенном и до надменности плавном когда-то танце появилась присядка. Национальная песня, имеющая все данные на то, чтобы вдохнуть свежую струю в музыку, приближается к ладу частушек.

Благодарное поле предоставлено самому себе и зарастает бурьяном.

Акт временной краевой контрольной комиссии, обследовавшей строительство, отмечает вопиющие явления: полный хаос в вопросах нормирования труда. Отсюда — постоянная торговля в ТНБ или же на заседаниях РКК — отсутствие нормальной обстановки в работе, — пониженная производительность труда. Плохо поставленная охрана труда — и катастрофы со смертельными исходами или же с тяжелыми ранениями.

Работа стройкома старого состава велась от случая к случаю. Колдоговор не зарегистрирован и вступил в силу механически. Но и это обстоятельство не дало практических результатов: ничего не сделано и не делается в части улучшения бытовых условий.

К примеру — обувь. В специфических условиях горных работ она имеет исключительное значение. А посмотрите на ноги гизельстройских рабочих.

Обычную мотивировку «нет средств» в рассуждении Гизельстроя приходится признать правильной: финансирование строительства при стоимости его по первоначальной смете в 11.000.000 рублей было распределено в 1926/27 г. — 800.000 руб., 1927/28 г. — 3.500.000 руб., 1928/29 г. — 4.400.000 руб., 1929/30 г. — 2.100.000 руб. В процессе работы смета выросла до 13.000.000 рублей, а строительство получило до сентября 1927 г. — 427.000 руб., в 1927/28 г. — 1.467.000 руб и по 1 июля 1929 г. — 1.064.000 руб.

Лишенное твердой финансовой базы строительство во всех его звеньях — управление, постройком, технический руководящий состав — лишено было возможности иметь и осуществлять твердую программу работ.

Ид неверия в завершение строительства отравлял работников сверху до низу.

Потребовалось обновление всего руководящего состава.

— — —

12 лет назад в мокрый ноябрьский вечер осетинской Герострат поджег в Кубанском ущелье Саппат-дзуар. Дзуар этот был рослым деревом, а священные ветви его были обязаны белыми лоскутами. Стоял он на дороге, в версте от селения Кубань и в трех — от начала под'ема на Кахтас-Сар.

Трудны зорявые зигзаги Кахтас-Сара. Одолевая их, надрывно хрипят кони, наливаются кровью бычьи глаза, останавливаются покорные ослики. И Саппат-дзуар почтительно в особенности даргавцами. Возвращаясь с плоскости домой, даргавские люди останавливались около Саппат-дзуара, оставляли под святой охраной его половину кладки и, облегченные, одолевали кахта-сарский под'ем.

На утро они возвращались за оставленную частью кладки, которая под охраною дзуара была неприкосновенна для чужих.

На 12 лет поторопился Герострат. Тогда старики прокляли святого отца, собрали и бережно сложили обуглившиеся останки Саппат-дзуара, а жертвенные лоскуты стали привязывать к густому ореховому кусту, — дорога на Кахта-Сар оставалась по-старому трудной, по-старому они вынуждены были поручать Саппат-дзуару охрану своего достоинства, главным образом хлеба.

Через год-два культурное шоссе победит по склону Кахта-Сара, поспеиваясь над старою трассой, когда-то указанной явившимся к жрецу белым и черным всадниками. Бремберг будет фуникулером, поднимающим по крутому склону освобожденных людей. Надобность в Саппат-дзуаре исчезнет.



Сейчас — буквально, рядом с дзупром — вырыто два шурфа: исследуется грунт для постройки здания лизельдонской ГЭС.

Вечером в городке я сидел в гостях у десятника — Цепу Байматова. В комнате у него железная кровать, юрты байковым одеялом, два некрашеных стола, застланных газетами и установленными книгами и инструментами. Почетное место на полочке около умывальника занимают щетки — зубная и сапожная — и мыло.

Цепу родом из Даргавса. Башня его фамилии, «известной в Даргавском ущелье по своим постоянным выступлениям за общественные интересы», в числе многих других доживает там свои последние дни, разваливается.

Цепу в детстве был общественным пастухом. Теперь у него лучистые глаза, аккуратно закрученные усы и гладко выбритый подбородок. На ногах блестят ярко вычищенные сапоги. Как-то забавно сейчас слушать его рассказы о том, какво приходилось ему в детстве, когда горы завлаживал туман, он терял доверенную ему скотину, безуспешно сзывал ее и, наконец, устало садился на скалу и плакал, представляя ужасы возмездия, которые готовят для него даргавцы.

Школа пастуха научила его искусству лазить по герам — пользоваться любой, непостижимой для степных смертных возможностью взбираться по крутым скалам, недра которых таят круто заваренную руду. Это он, замечательный осетин Цепу Байматов, первый обратил внимание на странную окраску некоторых склонов.

Когда Цепу вышел в мир, он увидел, как на серебро-свинцовых рудниках в Садоне бельгийцы переродили воду в электрическую энергию, как во Владикавказе такая же энергия — электричество — двигала вагоны трамвая.

Цепу вспомнил Пурт и проклятую горскими людьми дорогу на Кахтасар.

Интересующийся может осмотреть архив Цепу, его наивные чертежи, в которые он укладывал свою тогда необыкновенную, дерзкую мечту о Пур-

те. В зимы, когда Пурт мелеет, Цепу прыгал по его освеженным, облещенным скалам, измерял количество воды и углы ее падений. Чтобы научиться этому делу, он в свое время попросился в рабочие к англичанину Стюарту, который до войны добывался концессий на постройку гидростанций на Тереке и на озеро Гюгча. И Цепу вычислил, что если он возьмет воду Пурта в трубы и напустит ее на турбины, то получит за 3 миллиона рублей энергию, равную 5.000 лощ. сил. Гизель ГЭС даст 33.000 лощ. сил — количество, превышающее грузоподъемные качества всех 30.365 лошадей и 9.022 рабочих волов Северо-Осетинской автономной области.

Комитетом по изобретениям закреплены за Цепу две его выдумки: усовершенствование мельничного жернова, дающее увеличение продукции, и новый вид турбинных лопастей. Сейчас в комнате у Цепу лежит кусок трубы, сделанной, точно паркет, из деревянных дощечек, взятых железными обручами. Цепу утверждает, что при такой же, как у металлических труб, прочности его труба легче поддается ремонту и потому выгоднее для подвода воды в малых силовых установках.

— Наверное, в мою кровь вошел Гизельстрой: не могу бросить его, — говорит Цепу, рассказав о своем отказе от приглашения армавирцев перейти работать на их мельницы.

Цепу достает громадный лист воценой бумаги, на котором собственноручно разделана им карта Даргавского ущелья. Там Наифат с Ламардоном и его форты; Даргавс, Каккадур, Джимара, Саниба, Тменикау... Цепу водит по карте спичкой и говорит, останавливаясь на отмеченных своеобразными знаками пунктах:

— После постройки нашей станции мы построим за 10.000 руб. графитную фабрику под Каккадуром. Она будет перерабатывать в день до 6,2 тонн графита, который будет обходиться в 120 руб. за тонну, а теперь он стоит 425 руб за тонну...

— Здесь, около Даргавса, залежи меди, инженер Бушкевич признал их, имеющими промышленное значение.

— А вот джимаринский кварцит. Он выше французского. Употребляется для мельничных жерновов.

— Джимаринские мышьяковистые руды... Разработку их уже начинали, но бросили из-за отсутствия дороти. Теперь вы сами знаете, что можно будет сделать.

— Охра — в 426 метрах от села Саниба. По качеству не уступает французской. Имеет безусловно промышленное значение. В процессе производства необходимо обогащение (отмучивание).

— Тменишкауские минеральные источники должны иметь мировое значение.

— И Саниба и Тменикау в другом ущелье — они наши соседи. Но посмотрите, что будет, когда мы перебросим Геналдон сюда... Здесь он стремительно будет падать вниз, в водохранилище. Мы опять даром получим энергию... Вы подумайте: ведь мы наши дома будем отапливать электричеством...

Я слушаю мягкий, спотыкающийся на шипящих говор Цепу... Смотрю за спичкою, которую он водит по карте... Как видения, воскресают твердыня Наифата и каменные форты его — в веках законченные аулы...

Вот по плану, выработанному Цепу, взяты форты, — Наифат сдался...

## 2. БОРЬБА ЗА ХЛЕБ

И. Гронский.

Едва ли нужно теперь говорить о том значении, которое имеют для нас весенняя посевная кампания и последующая уборка и реализация урожая. В наших условиях посев, уборка и реализация урожая являются частями одной важнейшей хозяйственно-политической кампании.

На хлебном фронте, точно так же, как и на всех остальных фронтах хозяйственного строительства, рабочий класс сталкивается с противодействием капиталистических элементов и прежде всего кулачества.

Если кулак пытался сорвать весеннюю посевную кампанию и на этом деле провалился, то он, безусловно, попытается взять реванш осенью, во время уборки и реализации урожая.

Если нэпман-спекулянт, пользуясь продовольственными затруднениями, пытался дезорганизовать рынок и на этом деле провалился, то он, безусловно, попытается взять реванш осенью, во время хлебозаготовок.

Капиталистические элементы нашей страны не могут выступить открыто против пролетариата. Для этого нет надлежащих условий. Широкие массы рабочих и трудящихся крестьян безого-

ворочно поддерживают советскую власть в ее грандиозной борьбе за осуществление пятилетки, за претворение в жизнь лозунга индустриализации страны, за освобождение Советского Союза от иностранной зависимости в технико-экономической области. Однако, эта поддержка мероприятий советской власти широкими трудящимися массами ни на одну минуту не должна усыплять нашей бдительности, ни на одну минуту не должна вести к забвению той простой истины, что наш успех на хозяйственном фронте в значительной мере зависит от успешного преодоления сопротивления классовых врагов. Это положение едва ли нуждается в доказательствах. Правильность его подтверждается буквально на каждом шагу. В прошлом году мы, безусловно, не сумели бы успешно провести хлебозаготовки, если бы не повели решительной борьбы с капиталистическими элементами деревни. Во время этих хлебозаготовок мы сломали сопротивление кулачества, сплотили вокруг советской власти трудящееся крестьянство и при его поддержке полностью выполнили хлебозаготовительный план и собрали весной текущего года семенное зерно, без чего мы не смогли

бы в таких огромных размерах увеличить посевные площади. Последовательным проведением правильной ленинской политики, укрепленном союзе между городом и деревней и невиданным размахом строительства крупных социалистических совхозов и колхозов наша партия добилась решительного поворота широчайших масс крестьянства в сторону социализма, выразившегося в грандиозном размахе колхозного движения. В деревне создались условия, при которых партия могла осуществить переход от лозунга ограничения эксплуататорских стремлений кулачества к лозунгу ликвидации его, как класса, осуществляемого в районах сплошной коллективизации.



Отбив атаку кулачества, сломив кулацкую хлебную забастовку, сплотив вокруг советской власти широкие массы крестьянства и укрепив социалистический сектор сельского хозяйства, партия поставила перед рабочим классом и всей страной задачу такого расширения посевных площадей, которое позволило бы нам вырваться из затруднений, порождаемых отсталостью нашего сельского хозяйства. Как известно, план весенней посевной кампании намечал расширение посевных площадей по всему Советскому Союзу на 11 проц. Последние июньские пятидневные сводки Наркомзема Союза показывают, что этот план, считавшийся утопическим не только классовыми врагами, но и его агентурой в партии — правыми уклонистами, будет успешно выполнен. Уж в настоящее время по целому ряду культур цифры показывают не только выполнение, но и перевыполнение плана. Так, например, по хлопку план значительно превзойден, а посевная площадь увеличена по сравнению с прошлым годом на 67 проц. По сахарной свекле план тоже превзойден, а посевная площадь увеличена по сравнению с прошлым годом на 40 с лишним процентов. Расширение посевных площадей по зерновым культурам и льну тоже, повидимому, не будет отставать от плановых предположений. В результате успешного проведения весенней посевной кампании посевная площадь в текущем году увеличена по

сравнению с прошлым годом на 11 млн. гектаров. Этот совершенно бесспорный успех большевистского весеннего сева блестяще подтверждает правильность генеральной линии партии и вдребезги разбивает оппортунистические установки правых уклонистов.

Лидеры правого оппортунизма, испугавшись продовольственных затруднений, предлагали партии отказаться от строительства совхозов и колхозов и встать на путь свободного развития индивидуальных, в том числе и кулацких, хозяйств. Правые оппортунисты не понимали того, что зерновой кризис порожден не «стеснениями», которыми советская власть якобы задерживала развитие бедняцко-средняцких хозяйств, а величайшим измельчением крестьянских хозяйств и их чудовищной технической отсталостью. Индустриализуя страну, перенося на советскую почву передовую европейскую и американскую технику, поднимаясь по лестнице величайших темпов развития индустрии, партия должна была, если она серьезно хотела преодолеть продовольственные и сырьевые затруднения, встать на путь решительной технической реконструкции сельского хозяйства, стремясь подтянуть его развитие к развитию промышленности. А в наших условиях техническая реконструкция сельского хозяйства неизбежно ведет к социальной его реконструкции, т. е. к изменению самой социальной природы сельского хозяйства. Создавая совхозы, развивая колхозное движение, всемерно укрепляя колхозы сложными сельскохозяйственными машинами и помогая им кредитом, партия вопреки предсказаниям правых добилась блестящего проведения весенней посевной кампании, величайшего размаха колхозного движения, поворота широчайших масс среднего крестьянства в сторону социализма, расширения укрепления опоры советской власти в деревне в лице колхозников и, что особенно важно, приступила к построению базы социализма в деревне. Эти исключительные успехи создают все необходимые условия для успешной ликвидации продовольственных и сырьевых затруднений. Вопреки предсказаниям правых о том, что совхозы и

колхозы дадут сколько-нибудь ощутительные количества хлеба только через 5 или 10 лет, партия добилась такого размаха совхозно-колхозного строительства, который обеспечивает уже в текущем году получение от совхозов и колхозов 10.000.000 тонн хлеба. Примерно через год после знаменитых заявлений правых оппортунистов о кризисе, о размычке, о неизбежности нарастания продовольственных и в частности хлебных затруднений партия добилась разрешения зерновой проблемы. Практика социалистического хозяйственного строительства опрокинула теории правых и заставила их лидеров заявить о своем полном политическом банкротстве. Правда, лидеры правых маневрируют, не говорят всего того, что они должны были сказать, не признают до конца своих ошибок, видимо, ожидая благоприятного момента для новой атаки на партию.

Однако, эти их надежды сбудутся так же, как оправдались их предсказания. Они предсказывали провал большевистской весны, — она закончилась успешно, Сейчас они, видимо, ждут провала большевистской осени. Можно с уверенностью сказать, что они этого не дождутся. Успешное проведение весенней посевной кампании, хорошие виды на урожай, накопленный партией и хозяйственными организациями опыт заготовительной работы при наличии значительно возросшей опоры советской власти в деревне дают все необходимые условия для успешного проведения как уборочной, так и хлебозаготовительной кампаний. Уборка урожая в южных районах уже началась. В недалеком будущем она развернется во всех основных зерновых областях Советского Союза. Партия, рабочий класс и особенно местные хозяйственные организации должны мобилизовать все имеющиеся у них силы и средства для успешного проведения уборочной кампании. Надо помнить, что уборочная кампания реализует успехи сева. Своевременная уборка урожая, своевременный обмолот и сышка зерна, — вот что является сейчас главным, к чему сейчас должно быть приковано внимание трудящихся масс.

В борьбе за уборку, так же, как и в проведении других мероприятий, мы

не можем полагаться на самотек. Уборку урожая необходимо организовать, добиваясь четкой и действительно большевистской работы во всех звеньях нашего аппарата. Встречающиеся кое-где разговоры о том, что раз крестьянин посеял, то он своевременно снимет урожай, являются типичным проявлением правооппортунистической теории самотека. Этой теории самотека надо объявить самую беспощадную войну.

Посредством величайшего напряжения совхозы, колхозы и единоличные крестьянские хозяйства справились с весенним севом. Уборка урожая потребует от совхозов, колхозов и единоличных хозяйств не меньшего, а, пожалуй, даже большего напряжения. И если во время посевной кампании, приковывая внимание рабочего класса к борьбе за сев, партия мобилизовала все имеющиеся в стране ресурсы и бросила их в деревню, то тем паче это необходимо сделать теперь, при уборке урожая.

Снабжение деревни уборочными машинами и орудиями, снабжение совхозов и колхозов необходимой для проведения уборки урожая рабочей силой, наконец, снабжение сельского хозяйства транспортными средствами для перевозки зерна от места уборки до склада и элеватора имеет исключительно важное значение, недооценка которого неизбежно поведет к срывам на отдельных участках уборочного фронта, а то и к прямому понижению урожайности благодаря перестоя хлебов.

Особо важное значение имеет для нас уборка кормов для скота. Поскольку мы разрешили зерновую проблему и создали таким образом условия для разрешения животноводческой проблемы, к этой последней необходимо привлечь внимание всех наших деревенских организаций. Уборка трав и корнеплодов точно так же, как и проведение кампании по силосованию различных культур, идущих на корм скоту, имеет сейчас исключительное значение. Мобилизация кормовых ресурсов позволит увеличить поголовье скота и тем самым реально приступить к разрешению животноводческой проблемы. Особое значение уборка кормов приобретает в животноводческих совхозах и колхозах, поскольку эти совхозы и колхозы,

не имея достаточного опыта, должны в текущем году осуществить огромный план расширения своего хозяйства. Преодолевая настроения самотека и демобилизации, партия со всей решительностью ведет борьбу на уборочном фронте, добиваясь закрепления успехов весны. Но приковывая внимание к уборке урожая, партия приводит в готовность и весь заготовительный аппарат, ибо одновременно с уборкой начинается и хлебозаготовительная кампания.

В текущем году государственные и кооперативные хлебозаготовительные организации должны будут заготовить такие количества хлеба, каких им никогда не приходилось заготовлять. Совершенно очевидно, что проведение этой грандиозной кампании потребует величайшего напряжения всех сил нашего заготовительного аппарата.

Правда, в текущем году основная масса хлеба (примерно около 60 проц.) будет получена от совхозов и колхозов. Роль индивидуального сектора в хлебозаготовках, как видим, значительно сократилась. Однако, игнорирование заготовок в индивидуальном секторе абсолютно недопустимо. Надо помнить, что индивидуальный сектор даст примерно 40 проц. всего товарного хлеба.

Другой особенностью хлебозаготовительной кампании, которая будет отличать ее от хлебозаготовительной кампании прошлого года, является больший охват контрактацией посевов обобщественного и индивидуального секторов сельского хозяйства. Если в прошлом году колхозы играли сравнительно небольшую роль в хлебозаготовках при полном охвате их контрактацией, то в текущем году колхозы играют в хлебозаготовках основную и, мы бы сказали, решающую роль, при чем контрактацией они охвачены в текущем году далеко не полностью. То же самое можно сказать и об индивидуальных крестьянских хозяйствах. Бурный размах коллективизации и сопровождавшие этот процесс «левые» ошибки отдельных местных организаций и отдельных местных работников, повлекшие за собой некоторый отлив крестьян из колхозов, внесли в контрактацию довольно существенные изменения.

Сплошь и рядом законтрактованные в колхозах посевы благодаря выходу крестьян из колхозов приходилось переконтрактывать уже как посевы единоличников. И, наоборот, посевы единоличников благодаря образованию новых колхозов приходилось переконтрактывать как посевы колхозные. Все эти изменения и контрактации, безусловно, будут оказывать некоторое влияние на ход хлебозаготовительной кампании. Однако, мы должны оговориться, что это влияние не является угрожающим для хлебозаготовительной кампании. Мы приковываем внимание к некоторым недостаткам контрактации исключительно для того, чтобы, учтя их, поднять хлебозаготовительную работу на такую высоту, которая позволила бы нам организованностью хлебозаготовителей, четкостью их работы перекрыть недостатки контрактации.

А это вполне возможно. Время еще не упущено, и мы, безусловно, сможем достаточно хорошо подготовиться к реализации урожая. Кроме того, не следует забывать и того факта, что, несмотря на все недостатки контрактации, ею охвачено в текущем году неизмеримо более значительное количество посевов, чем в прошлом году. А это в хлебозаготовительной кампании будет иметь далеко не маловажное значение.

Благодаря сосредоточению в совхозах и колхозах больше половины всего товарного хлеба и благодаря большему охвату контрактацией посевов хлебозаготовительная кампания 1930 года имеет целый ряд преимуществ перед хлебозаготовительной кампанией 1929 г.

Более организованным выступит в текущем году и хлебозаготовительный аппарат. Как известно, этот аппарат в текущем году был усилен новыми работниками, был упрощен и приведен в соответствие с теми задачами, которые стали перед рабочим классом и его партией на данном этапе развития социалистического строительства. Этот аппарат в частности освобожден от чуждых рабочему классу элементов, которые не столько содействовали делу заготовок, сколько вредили ему. Аппарат освобожден также и от правых оппортунистов, которые, являясь принципиальными противниками нажима на

кулака, сильнее всего тормозили дело хлебозаготовок. Хлебозаготовительный аппарат в результате всех этих мероприятий сделался более подвижным, классово-выдержанным и работоспособным, хотя некоторые элементы бюрократизма в нем сохранились и поныне точно так же, как сохранилось и некоторое стремление к нездоровой конкуренции между различными заготовительными организациями. Поэтому дальнейшая работа над улучшением аппарата и над устранением из него элементов бюрократизма ни в коей мере не может быть ослаблена. Мы прекрасно знаем, какое значение имеет хорошо слаженный аппарат для проведения той или иной хозяйственно-политической кампании. А ведь здесь дело идет о такой кампании, которая будет развиваться в обстановке обостренной классовой борьбы. Против хлебозаготовок выступит кулачество и попытается внести в них элементы дезорганизации. Поэтому большевистская пролетарская выдержанность и организованность аппарата будут иметь решающее значение. Однако, успех хлебозаготовительной кампании зависит не только от работы одних хлебозаготовителей. На ход и исход хлебозаготовок немалое влияние окажет также и работа других хозяйственных организаций. Здесь достаточно упомянуть о работе промышленности, которая должна обеспечить хлебозаготовки необходимой тарой, о работе государственно-кооперативной торговли, которая должна так перераспределить товарные запасы, чтобы во время хлебозаготовок обеспечить достаточно мощный приток различных товаров в деревню.

Наконец, огромное значение будет иметь работа железнодорожного, водного и местного транспорта. Как мы знаем, в прошлом году транспорт работал во время хлебозаготовительной кампании с довольно большими перебоями. Эти перебои имели место даже и после завершения хлебозаготовительной кампании. Транспорт не справлялся с перевозкой металла, угля, лесных и строительных материалов. На целом ряде дорог мы имели форменные прорывы, к сожалению, не ликвидированные целиком и по настоящее время.

Сейчас еще нельзя сказать, как будет работать транспорт во время хлебозаготовок. Будущее покажет, насколько он подготовится к этой кампании. Одно ясно: транспорт должен быть приведен в такое состояние, при котором он мог бы справиться с перевозкой огромных масс хлеба, которые будут заготовлены в решающие месяцы кампании. Прежде всего, транспортные организации и заготовители должны возможно шире и полнее использовать водный транспорт. Стремлению наших организаций возить хлебные грузы по железной дороге даже тогда, когда можно использовать водный транспорт, надо во что бы то ни стало положить предел. Во время хлебозаготовок надо устранить имеющуюся недооценку водного транспорта. Необходимо основные массы грузов направить не по железным дорогам, а по водным путям сообщения и тем самым разгрузить железные дороги и дать транспортным организациям большую возможность маневрирования наличными средствами транспорта.

Транспортные организации и хлебозаготовители должны создать такие условия, при которых хлеб не лежал бы под открытым небом особенно длительное время и не являлся бы материалом для кулацкой агитации. Транспорт, хлебозаготовители и все наши организации должны знать, что кулачество воспользуется всяким недостатком в нашей работе, всяким промахом, всякой неувязкой для своей борьбы с советской властью на хлебозаготовительном фронте. Надо знать, что кулачество, получив решительный удар, не теряет надежды вернуть потерянные позиции. Поэтому оно во время хлебозаготовительной кампании развернет не только агитационную, но и явно вредительскую работу. Этой работе кулачества наши организации должны противопоставить свою работу. При чем здесь заготовительная работа должна переплетаться с агитационно-пропагандистской работой. На ряду с хлебозаготовками мы должны будем развернуть также и борьбу за укрепление колхозов и за дальнейшее развитие коллективизации сельского хозяйства, ни в коем случае не допуская при этом

каких-либо прегибов или насилий по отношению к беднейшему и среднему крестьянству. Но наряду с бережным, внимательным и вдумчивым отношением к трудящемуся крестьянству необходимо со всей решительностью ударить по кулачеству. Проблажка кулаку — это, по сути дела, сползание на позиции правого оппортунизма. Лидеры правых, выступавшие в прошлом году против чрезвычайных мер по отношению к кулачеству, в панике перед трудностями предлагали партии встать на путь развития индивидуальных в том числе и кулацких хозяйств, т. е. на путь капиталистического развития, что неизбежно поставило бы развитие социалистической промышленности в зависимость от кулацко-зажиточной части деревни, которая, как известно, являлась важнейшим поставщиком сельскохозяйственных продуктов и сырья пролетарским центрам и нашей промышленности. Эта завершенная оппортунистическая линия партии была разоблачена и осуждена. Больше того, взгляды правых признаны несовместимыми с пребыванием в рядах ВКП(б).

Оппортунистические теории, развиваемые правыми, порождали на местах оппортунистическую практику, которая сильнейшим образом тормозила развитие социалистического строительства в деревне. Точно так же, как отрывки троцкизма, выражающиеся в недооценке середняка и вытекающих отсюда «левых» загибах при проведении коллективизации, давали правым оружие для борьбы с партией, ставили под угрозу союз рабочего класса с крестьянством, вели не к усилению социализма, а к его ослаблению. Во время хлебозаготовительной кампании на отдельных участках огромного хлебозаготовительного фронта мы, безусловно, будем иметь конкретные проявления как правого, так и «левого» оппортунизма. Поэтому борьба на два фронта, как против правого оппортунизма, остающегося попрежнему главной опасностью партии, так и против «левого» оппортунизма является обязательным условием продвижения вперед на хлебозаготовительном фронте. Без непримиримой борьбы с оппортунизмом мы не сможем устранить из хлебозаго-

товительной практики всякого рода «левые» заскоки и ошибки, точно так же, как не сможем сколько-нибудь успешно развернуть и борьбу с кулачеством. Надо помнить, что хлебозаготовительная кампания является не только хозяйственной кампанией, но и кампанией сугубо политической, поскольку в движении приводятся все социальные силы деревни, поскольку борьба за хлеб ведется между социализмом и капитализмом, между рабочим классом и капиталистическими элементами. Поэтому проведение во всей практике хлебозаготовок четкой политической линии и непрямая мобилизация масс беднейшего и среднего крестьянства являются теми политическими мероприятиями, проведение которых обеспечит и надлежащий хозяйственный успех. Тот, кто забывает политику и видит только хозяйственную сторону хлебозаготовок, явно впадает в самое настоящее делячество, характерное для правого оппортунизма. И, наоборот, тот, кто видит только политику, не подкрепляя ее надлежащей организацией практики, отрывается от действительности большевистской политики, превращается в политического болтуна, в «левого» оппортуниста.

Большевистская организация хлебозаготовительной кампании должна включать в себя следующие условия.

- 1) Четкое проведение ленинской, большевистской генеральной линии.
- 2) Укрепление союза со средним крестьянством при опоре на колхозников и бедноту, остающуюся вне колхозов.
- 3) Борьбу на два фронта против правого и «левого» оппортунизма, против правой и «левой» практики.
- 4) Четкую организацию хлебозаготовок, борьбу с теорией самотека, решительное устранение конкуренции и параллелизма в работе.
- 5) Умелое маневрирование наличными средствами (денежные, материальные, транспортные и т. д.).
- 6) Бережное отношение к заготовленным сельскохозяйственным продуктам и их надлежащее хранение.
- 7) Обязательную борьбу за сохранение и улучшение качества заготовленных сельскохозяйственных продуктов.

8) Такое практическое проведение хлебозаготовок, которое укрепляло бы обобществленный сектор сельского хозяйства, поднимало бы авторитет совхозов и колхозов, а вместе с тем и авторитет советской власти и партии.

При проведении хлебозаготовок наши организации должны всемерно стремиться к развертыванию самокритики, которая позволит нам устранить недостатки в работе и обеспечит правильное проведение политической линии партии. Вместе с тем, во время хлебозаготовок, больше чем когда бы то ни было, необходимо стремиться к развитию социалистического соревнования и ударничества, вовлекая широкие массы колхозников, беднейшего и среднего крестьянства в хлебозаготовительную работу. Соревнования на быструю сдачу хлеба государству между отдельными колхозами и отдельными селами, между селами и колхозами, между единоличниками и колхозниками позволит поднять хлебозаготовительную работу на такую качественную высоту, на какой она еще никогда не находилась. Вместе с тем это значительно облегчит и выполнение хлебозаготовительного плана. В прошлом году социалистическому соревнованию и ударничеству не было уделено должного внимания. Этот недостаток прошлого года необходимо устранить во что бы то ни стало, памятуя, что хозяйственно-политическая кампания, проведенная без участия масс, не даст того политического эффекта, хотя бы и при больших хозяйственных достижениях, какой она может дать тогда, когда проводится непосредственно самими массами. Надо помнить, что хлебозаготовительная кампания начнет развиваться перед осенним севом и будет проходить в значительной мере во время осеннего сева. Поэтому всю хлебозаготовительную работу необходимо организовать так, чтобы тот производственный энтузиазм, тот подъем, который мы имели во время весеннего сева, сохранить во время хлебозаготовок и перенести на осеннюю посевную кампанию. Обычно осенний сев пользуется у нас меньшим вниманием, чем весенний сев. Это умаление значения осеннего сева едва ли можно чем-либо

оправдать. Осенью происходит посев важнейших зерновых культур, и в этом смысле осень в значительной мере определяет баланс продовольственных хлебов будущего года. Уже одно это должно привлечь внимание к осеннему севу. Но осенняя посевная кампания имеет более широкое значение. Осенью как обобществленный сектор сельского хозяйства, так и хозяйства единоличных крестьян намечают годовую план развития производства и, уже исходя из этого, определяют размеры зяблевой вспашки под будущие весенние посевы, определяют количество потребности для будущего года семян и, что особенно важно, намечают количество скота, которое они оставляют на зиму, определяя этим самым размеры прироста стада. Надо ли говорить, что все эти задачи, получающие свое разрешение в осенние месяцы и главным образом во время весеннего сева, имеют настолько большое народнохозяйственное значение, что игнорирование их неизбежно поведет к различного рода осложнениям, которые будут оказывать влияние на развитие всего народного хозяйства. Поэтому подготовку к осенней посевной кампании ни в коем случае нельзя откладывать. Необходимо уже сейчас выработать не только общий план осеннего сева для всего Союза, но и мобилизовать необходимые для его проведения материально-технические средства. Осенью так же, как и истекшей весной, мы должны будем значительно расширить посевные площади для того, чтобы окончательно закрепить те грандиозные успехи, которые мы имеем в борьбе за развитие нашего зернового хозяйства. Зерновая проблема в основном решена. Значит ли это, что мы можем почить на лаврах? Конечно, нет. Разрешение зерновой проблемы, выход из кризиса зернового хозяйства, обязывает нас не только к закреплению достигнутых успехов, но и к дальнейшему развитию наступления на этом фронте, которое поведет к окончательному разрешению зерновой проблемы, к полному устранению всяких затруднений с зерновыми культурами, к созданию необходимого нам резерва и к восстановлению экспорта в



довоенных размерах. Другими словами, нам необходимо организовать осеннюю посевную кампанию так же, как была организована весенняя посевная кампания, провести ее такими же большевистскими темпами, проявить такое же упорство, свидетелями которого мы являлись весной текущего года. Глубоко ошибочным является мнение, что осенняя посевная кампания должна пройти сравнительно легко и что поэтому можно положиться на самотек. Рассуждающие так товарищи обычно ссылаются на факт существования уже укрепившихся колхозов, которые должны будут сыграть в осеннем севе главную и решающую роль. Конечно, наличие укрепившихся колхозов облегчает проведение осеннего сева, но далеко не решает его, поскольку колхозы охватят посевом, повидимому, только около 50 проц. всей посевной площади. Как видим, роль необобществленного сектора и в осеннем севе будет еще довольно значительна. Нашим организациям придется положить не мало труда, чтобы добиться расширения посевной площади не только в колхозах, но и в единоличных хозяйствах, т. е., другими словами, добиться выполнения всего посевного плана, а эта задача является довольно трудной и самотеком ее, конечно, решить нельзя. Надо учитывать, что осенью так же, как и весной, мы столкнемся с вредительской деятельностью кулачества, которое попытается помешать расширению посевных площадей, особенно в индивидуальном секторе. Кулачество уже сейчас начинает готовиться к осеннему севу, распуская всевозможные нелепые слухи, пытаясь подбить трудящихся крестьян на сокращение посевов и внести элементы раздора в колхозы, добиваясь их распада. Этим маневрам кулачества должна быть противопоставлена большевистская организованность и четкость работы всех звеньев нашего аппарата, большевистское упорство и широчайшее развитие агитации и пропаганды. На ряду с этим необходимо со всей решительностью обрывать попытки классового врага затормозить осуществление наших хозяйственных планов.

Осенняя посевная кампания будет в еще более значительной степени колхозной, нежели весенняя посевная кампания. Наши организации, и особенно низовые, должны быть готсвы к новому мощному размаху колхозного движения. Все необходимые предпосылки для этого имеются. Устранение «левых» перегибов, укрепление технической базы колхозов, успешно проведенный весенний сев являются такими аргументами, которые лучше всего агитируют за колхозы. Крестьяне-единоличники, наблюдая успехи колхозов, неизбежно массами будут переходить от единоличного к обобществленному хозяйству. Наши местные организации и отдельные работники должны учесть ошибки весны и поставить свое руководство колхозным движением так, чтобы избежать всяких перегибов, всяких заскоков, которые могли бы повредить колхозному движению. Другими словами, руководство колхозным движением должно базироваться на ленинско-большевистских принципах, с исчерпывающей полнотой изложенных на конкретном материале в постановлениях ЦК ВКП(б) и в статьях тов. И. В. Сталина. В этих документах дана развернутая критика как ошибок правого оппортунизма, так и ошибок «левого» оппортунизма. Борьба на два фронта должна проводиться со всей решительностью. В колхозном движении самое главное — это правильное руководство многомиллионными массами, без правооппортунистического отставания и без «лево»-оппортунистического забегания вперед. Если осенью нам удастся избежать повторения весенних ошибок, то колхозное движение вступит в полосу такого размаха и таких успехов, которые позволят пролетариату поднять сельское хозяйство на такую высоту, которая обеспечит полную ликвидацию всех продовольственных и сырьевых затруднений, какие мы имеем в настоящее время, и прежде всего позволит создать условия для быстрого разрешения животноводческой проблемы.

Осенняя посевная кампания 1930 года будет заключительным звеном в цепи величайших побед, одержанных партией на фронте подъема и социаль-

но-технической реконструкции сельского хозяйства. Эти победы партия одержала благодаря настойчивому проведению ленинской большевистской политики, благодаря упорной борьбе со всякого рода оппортунистическими шатаниями. Штаб партии — Центральный Комитет — в сложнейшей и труднейшей обстановке текущего года вел партию и рабочий класс по правильному ленинскому пути, одерживая одну победу за другой. Благодаря правильной политике и правильному руководству нашей партии рабочий класс приступил к построению фундамента социализма в деревне, добился невиданного размаха колхозного движения, приступил к осуществлению и успешно

осуществляет сплошную коллективизацию в целом ряде областей, получил возможность перейти от лозунга ограничения эксплуататорских стремлений кулачества к лозунгу ликвидации кулачества, как класса, осуществляемого на основе сплошной коллективизации, получил в деревне новую действительную и прочную опору в лице колхозников. Таков итог социалистической перестройки сельского хозяйства, с которым партия пришла на XVI съезд. Успешное проведение хлебозаготовительной и осенней посевной кампании закрепит эти победы и создаст условия для усиления темпов социалистического строительства в деревне.

# За рубежом

## ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Г а л ь п е р и н

Годовщина, которую не праздновали. — Кто и куда придет в Индии. Дворцовый переворот в Румынии. — Германия и пан-Европа. — Америка повышает тарифы.

### Годовщина, которую не праздновали

Прошел год со времени образования в Англии правительства рабочей партии. Еще памятливы те надежды, которые возлагались на кабинет Макдональда не только его избирателями, но и всеми партиями, примыкающими ко Второму Интернационалу; еще не забыты гордые заявления Макдональда, что, несмотря на отсутствие у него собственного большинства в парламенте, он не будет пленником других партий и сумеет проводить программу рабочей партии, ибо она соответствует национальным интересам Британской империи.

Года нахождения у власти оказалось достаточно для того, чтобы от всех этих триумфальных настроений не осталось и следа. Все наблюдатели политической жизни Англии единодушно признают, что правительство Макдональда только потому находится еще у власти, что ему заботливо мешают упасть как его конкуренты из других партий, так и оппозиционные элементы внутри самой рабочей партии.

В центральном вопросе внутренней политики Англии — в вопросе о безработице — Макдональд оказался полным банкротом. Отставка Мосли, перемещение «министра по безработице» Томаса на другой пост, изменения в составе кабинета, наконец, заявление

74 лейбористских депутатов о неувлечительности правительственных мероприятий по борьбе с безработицей — все это факты, не оставляющие на этот счет никаких сомнений. Но самым внушительным фактом является, конечно, увеличение числа безработных с 1.200 тыс. человек в мае 1929 г. до 1.740 тыс. человек в мае 1930 г. За год пребывания Макдональда у власти число безработных увеличилось более чем на полмиллиона человек, — таков цифровой баланс борьбы правительства британской рабочей партии с безработицей.

При обсуждении в палате этого вопроса — в связи с отставкой Мосли — Макдональд мог сослаться в свою защиту только на губительное влияние мирового экономического кризиса, который свел к нулю значение всех проводимых в области борьбы с безработицей правительственных мероприятий. Правда, мы имеем в настоящее время пример страны, где именно в эпоху мирового кризиса производство развивается бурным темпом, а безработица начинает отходить в область преданий, но страна эта идет по пути социалистического строительства, а ни Макдональд, ни его оппоненты справа и слева, конечно, не могли принять ее во внимание. Их «строительство» остается в рамках буржуазного строя.

Сознавая эту буржуазную ограниченность своих усилий, Макдональд, который год назад гордо заявлял, что он не нуждается ни в чьей поддержке для проведения своей программы, теперь смиренно обратился к консерваторам и либералам с предложением о сотрудничестве всех партий в борьбе с безработицей, которая стала национальным бедствием Англии. Консерваторы после некоторых колебаний от сотрудничества отказались, либералы протянули Макдональду руку помощи...

Но и отказ консерваторов от сотрудничества и поддержка либералов не имеют принципиального значения. Консерваторы ведут наступление против кабинета Макдональда очень вяло, отнюдь не желая его свергать в данный момент,—разногласия в их собственных рядах слишком сильны, чтобы идти на риск новых выборов, в которых Макдональд, конечно, прибегнул бы в случае своего поражения. В апрельской книге «Нового Мира» мы писали уже об угрозе раскола консервативной партии со стороны т. наз. «газетных перов», лордов Бивербрука и Ротермира, выступивших с программой превращения Британской империи в единый экономический союз, обнесённый таможенным забором от всех остальных стран мира. Разногласия между Болдуином, официальным лидером консерваторов, и газетными перами разрешились тогда соглашением, по которому переход от системы свободной торговли к протекционизму ставился в зависимость от решения референдума. Но в июне почтенные лорды отказались от этого соглашения, сославшись на одну из речей Болдуина, в которой он, по их мнению, выступил с принципиальными возражениями против введения покровительственных пошлин на продукты сельского хозяйства. 18 июня лорд Бивербрук заявил официально, что он выставит протекционистского кандидата против кандидата консерваторов на дополнительных выборах в Норфольке. Это, конечно, означает оформление раскола в рядах консерваторов и менее всего толкает их на путь свержения

в настоящий момент правительства Макдональда.

Что касается лидера либералов Ллойд-Джорджа, то он совершенно явно спекулирует на затруднениях правительства Макдональда. Как известно, проектировавшееся ещё весной соглашение между либералами и рабочей партией не было заключено только потому, что рядовые чейбористы наотрез отказались принять условия Ллойд-Джорджа об изменении существующей избирательной системы, невыгодной для либералов (вследствие отсутствия перебаллотировок и прохождения депутатов в первом же туре хотя бы относительным большинством голосов либералы на последних выборах, собрав 5 млн. голосов, могли провести лишь около 60 депутатов). Поддерживая в настоящее время Макдональда, Ллойд-Джордж рассчитывает, что рабочая партия будет вынуждена в конце концов для спасения своего правительства пойти на изменение избирательного права.

Но, конечно, те подпорки, которые получает Макдональд со стороны либералов,—а фактически и со стороны консерваторов,—лишь задерживают момент его падения, но не создают никаких элементов его внутренней устойчивости. И это резче всего сказалось на факте его признанной несостоятельности в борьбе с безработицей.

Как известно, по этому вопросу внутри кабинета Макдональда шла борьба между Томасом, которого поддерживали Макдональд и Сноуден, и его помощниками: Мосли, Ленсбери и Томом Джонстоном. Борьба эта очень характерна для облика правительства Макдональда, да, пожалуй, и всякого «рабочего» правительства в буржуазном государстве.

План Томаса состоял отчасти в установлении более тесного взаимодействия между Англией и ее доминионами, отчасти в проведении рационализации, которая увеличила бы конкурентоспособность английской промышленности на внешних рынках. В целях облегчения сбыта английских товаров в доминионы Томас съездил в прошлом году в Канаду, повез да-

же с собой баржу с английским углем, но практических результатов поездка эта не дала. Орган независимых консерваторов «Observer» (от 8 июня) придает большое значение перемещению Томаса на пост министра доминионов, рассчитывая, что на этом посту ему удастся добиться того, чего он не мог добиться в качестве «лорда—хранителя печати». «Это будет настоящий человек на настоящем месте»,—пишет «Observer»,—ибо «в действительности Томас был объектом критики, которая должна была быть направлена против правительства, как целого».

Так же расценивает роль Томаса и «Times», назвавший его как-то «малышом для порки» при рабочем правительстве,—он должен отдуваться за грехи всего кабинета Макдональда. Главный из этих грехов (конечно, не с точки зрения консерваторов) состоял в том, что в вопросе борьбы с безработицей он лишь проводил—даже, пожалуй, более резко—политику всей буржуазии на укрепление капитализма путем рационализации промышленности.

Еще в конце прошлого года Английский банк по инициативе Томаса и отчасти Сноудена организовал свой филиал «Securities Management Trust», который должен был стать специальным органом для содействия частным банкам в деле финансирования реконструкции промышленности. При содействии этого треста произошло слияние крупнейших предприятий Веккерса и Армстронга и намечен был план рационализации ланкаширской текстильной промышленности.

В агреле Английский банк сделал еще один шаг в этом направлении. При содействии частных банков и при посредстве «Securities Management Trust» он создал «Bankers Industrial Development Company» («Банковский консорциум развития промышленности»). Задача этого консорциума состоит не в том, чтобы ссужать деньги предпринимателям. Он должен лишь давать им консультацию, вырабатывать для них планы реорганизации, определять размер необходимых им кредитов и в случае нужды ука-

зывать необходимые для них формы картелирования. Для промышленников, которые ирригут указания консорциума, последний установит проекты займов, от которых банки не в праве будут отказаться под предлогом своей некомпетентности или рискованности операции. Рекомендация консорциума будет, таким образом, для банков официальной гарантией солидности проводимой промышленными предприятиями реорганизации.

Сейчас еще слишком рано судить о целесообразности этих начинаний Томаса с капиталистической точки зрения. Но одно не подлежит сомнению, что если бы даже созданный по его инициативе консорциум оправдал себя с технической точки зрения и банки пошли бы навстречу начинаниям этого консорциума, то проведенная в результате этого рационализация сама по себе повлекла бы, как и всякая капиталистическая рационализация, не уменьшение, а увеличение безработицы. Томас на одном из собраний откровенно признал это, выразив лишь надежду, что увеличение это будет временным, пока английская промышленность не завоеует новые рынки. Но развивающийся сейчас экономический кризис и всеобщая тенденция к увеличению таможенных пошлин делают надежду Томаса более чем проблематичной.

Учитывая проблематичность и во всяком случае отдаленность результатов рационализации, «левые» Мосли, Ленсбери и Томас выдвинули проект мероприятий, которые могли бы дать немедленный эффект: повышение школьного возраста до 15 лет, установление пенсии для стариков, достигших 60 лет, и увеличение размера общественных работ. Но проведение этих мероприятий могло бы быть осуществлено лишь при помощи займа и означало бы увеличение расходных статей бюджета на 10 млн. ф. стерлингов в год. По существу предложение Мосли почти совпадает с планом Ллойд-Джорджа, который так рекламировался им во время прошлогодней избирательной кампании. Предложение это, однако, натолкнулось на вето со стороны министра финан-

сов Сноудена, который заявил, что условия для размещения займа в настоящее время неблагоприятны, и категорически возражал против отягощения бюджета подобными «социальными» затеями.

В итоге правительство Макдональда оказалось в полном смысле слова у разбитого корыта. В области борьбы с безработицей оно повторило зады болдуиновской премудрости, обещая уничтожение безработицы в будущем. У консерваторов протекционистского направления есть, впрочем, еще планеця в виде экономического объединения империи. Назначение Томаса на пост министра доминионов показывает (так думают, как мы указывали, консервативные газеты), что Макдональд намерен и в этом отношении плестись за консерваторами и попытаться расширить сбыт промышленной продукции Англии в ее доминионах. Но в виду тяги доминионов к экономической самостоятельности и этот путь не сулит Макдональду никаких успехов.

### Кто и куда придет в Индии?

Бережное отношение буржуазных партий к «рабочему» правительству Макдональда в области внешней политики сказывается еще резче, чем в вопросах внутренней жизни Англии. «Times» выразился в свое время по этому поводу совершенно недвусмысленно.

«Нет оснований предполагать,—писал «Times»,—что Гендерсон менее, чем его предшественники, на посту министра иностранных дел склонен защищать интересы Британской империи...»

Доверие консерваторов Гендерсон оправдал полностью. В переговорах с египетской делегацией, так же как и в переговорах с делегацией палестинских арабов, он занял совершенно непримиримую позицию, твердо отстаивая интересы британского империализма. Неуюснительно блюдет Макдональд традиции всех английских правительств и в индийском вопросе.

На событиях в Индии, к которым приковано сейчас внимание как рабочих масс, так и буржуазии всего ми-

ра, следует остановиться с особым вниманием.

Когда жену Ганди, которая должна была принять участие в походе «гражданского неповиновения», спросили, верит ли она в успех дела, начатого ее мужем, она ответила: «Я не знаю, что произойдет в будущем, но я знаю твердо, что приходят лишь те, которые идут».

Слова эти звучат тордо, но они не дают ответа на вопрос о том, куда может привести движение, начатое индийским пророком мирного массового сопротивления законам, установленным вековыми властителями Индии. Ответ же, данный событиями, позволяет с несомненностью утверждать, что поход «гражданского неповиновения» нашел отклик во всей Индии, но реагирование масс на вспыхнувшие в связи с этим события далеко не соответствовало толстовской проповеди Ганди.

За 10 последних лет настроение трудящихся масс Индии изменилось. В 1919 г. Ганди проповедывал рабочим и крестьянам Индии: «Величием души и могуществом любви мы обеспечим победу свободы и одержим верх над правительством сатаны». Тогда проповедь Ганди имела успех: массы остались пассивны, и англо-индийское правительство без труда подавило освободительное движение. В 1930 г. народные толпы еще приветствовали толстовствующего пророка, как национального героя Индии, но мало считались с его заклинаниями против применения насилия: подвергшиеся нападению полицейские посты, разграбленные склады оружия, вооруженные захваты целых районов—все это свидетельствовало о том, что трудящиеся массы Индии, не высвободившись еще вполне из-под влияния буржуазных идеологов, стали уже на путь революционной освободительной борьбы.

Французский официоз «Temps», после восстания во французском Ипдокитае очень шервно реагирующий на всякое проявление освободительного движения колониальных народов, еще 26 апреля писал: «Никто не может оставаться безразличным к этому кри-

зису, в котором индусский мистицизм сочетается с самыми худшими революционными страстями, а индийский национализм становится по крайней мере до некоторой степени орудием русского большевизма.

О страшном жупеле «русского большевизма» мы поговорим ниже, а сейчас остановимся на «индусском мистицизме». Один из французских востоковедов, Перно, задается вопросом, почему в деятельности Ганди, который имеет прошлое агитатора в Южной Африке, который изучал в Англии право, политическую экономию и социальные науки, который знаком и с марксистскими теориями,—почему на его деятельности не отразились западные влияния. Почему в основу своей тактики он положил буддийский принцип Ахимса (неприменение насилия в борьбе со злом)? Перно объясняет это его реализмом: «Ганди исходит не из абстрактной теории, а из реальности Индии с разнообразием ее народностей, ее религиозных верований и социальных традиций... Чтобы заставить своих соплеменников слушать себя и повиноваться, надо обращаться к ним на их языке. Когда Ганди проповедует Ахимса, когда он назначает Хартал (дни траура) для протеста против арестов, все индусы чувствуют, как у них пробуждаются вековые инстинкты: они понимают, они повинуются. Таково свойство слов, которые созданы расой и которые не могут быть заменены иными словами» («Europe Nouvelle» от 19 апреля).

Перно прав, когда указывает на реализм Ганди, но реализм этот иного рода, чем думает его европейский истолкователь. Тактика пассивного сопротивления диктуется Ганди более серьезными соображениями, чем ставка на буддийские традиции. Эта тактика диктуется ему волей тех, кто финансирует гандистское движение. Волонтеры Ганди вербуются из среды мелкобуржуазной интеллигенции, отчасти крестьян и ремесленников, но вдохновителем похода против соляной монополии и инициаторами бойкота английских товаров являются индийские банкиры, фабриканты и жупцы.

Не трудно выяснить, почему состоятельная индийская буржуазия организует движение против английского империализма, требуя в то же время, чтобы движение это не выходило за рамки мирных демонстраций и символических жестов в роде того выпаривания соли из морской воды, которое с такой помпой совершил Ганди на пляже в Дэнди.

Индийская буржуазия не может примириться с фактом экономической зависимости Индии от Англии. Ее мало трогает оккупация Индии английскими войсками,—Ганди выразил надежду, что англо-индийская армия сможет охранять порядок и в «независимой» Индии,—а бесправие индийского Национального собрания интересует ее лишь с точки зрения финансово-экономической политики. И не даром отказавшийся от поста председателя Национального собрания Патель в своем письме вице-королю писал: «При обсуждении билля о таможенных тарифах я чувствовал, что постыдно председательствовать в собрании, где председатель не может даже обеспечить свободы голосования, гарантированной существующими законами» («Times», 26 апр.).

Таможенные тарифы, вот из-за чего волнуется и негодует индийская буржуазия. Индийские текстильные фабриканты не могут не возмущаться, когда в угоду ланкаширским фабрикантам на местную хлопчатобумажную промышленность накладывается пошлина в 3½ процента, а пошлина на ввозные текстильные изделия так низка, что не может охранить туземную промышленность от конкуренции не только английских, но даже японских текстильных изделий.

Такое же негодование индийской буржуазии вызвало и проведенное правительством вице-короля установление курса рупии в 1 шиллинг 6 пенсов, тогда как нормальный курс должен был бы быть не выше 1 шиллинга 4 пенсов: слишком высокий курс индийской рупии, или, что то же самое, дешевый курс фунта стерлингов, является премией для ввоза английских товаров в Индию.

На ряду с этими финансовыми мероприятиями английские власти в Индии используют все свое могущество, чтобы поставить английский капитал в Индии в привилегированное положение по сравнению с туземным: правительственные заказы передаются только английским предприятиям, туземные банки подвергаются систематическому бойкоту со стороны правительственных органов и правящих кругов.

Индийская буржуазия (кроме помещичьих кругов, являющихся верными друзьями английских угнетателей) не желает мириться и с тем фактом, что с.х. продукция Индии попадает в руки английских экспортеров, в то время как население страны страдает от голода или во всяком случае от недоедания. Индийская буржуазия протестует против этого ограбления страны, которое приводит лишь к сокращению платежеспособности спроса на произведенная индийской промышленностью.

И промышленность и сельское хозяйство Индии переживают жесточайший кризис. По данным «Times of India», производство кокса сократилось с 740 тыс. тонн в 1927—28 г. до 566 тыс. тонн в 1928—29 г. Производство чугуна сократилось за то же время на 23 процента, производство стали в брусках—на 34 проц., стальных изделий—на 35½ проц. О положении текстильной промышленности, страдающей от английской и японской конкуренции, мы уже говорили. Что касается сельского хозяйства, то оно страдает от падения цен на сельскохозяйственные товары на мировом рынке.

Имея, таким образом, достаточно оснований быть недовольной английским владычеством индийская буржуазия, как огня, боится, однако, революционного движения рабочих и крестьянских масс Индии. Она справедливо полагает, что революционная энергия масс, даже если будет вначале проходить под националистическими лозунгами, не замедлит обратиться не только против английских угнетателей, но и против «отечественных» помещиков и фабрикантов. «Путь любви», кото-

рый проповедует Ганди, вовсе не так далек от западных влияний, как это думают некоторые европейские поклонники индийского «пророка»,—наоборот, именно учитывая опыт европейского рабочего движения, поддерживающая Ганди буржуазия стремится удержать массы от насильственных выступлений. Ей нужны именно непротивленческие демонстрации, чтобы оказать давление на английское правительство и заставить его искать соглашения с туземным индийским капиталом.

Предоставление Индии прав доминиона, при котором индийская буржуазия могла бы самостоятельно руководить экономической жизнью страны, подавляя в то же время при помощи англо-индийской армии революционное движение,—вот тот компромисс, которого добиваются лидеры гандистского движения.

Правительство вице-короля, повидимому, колеблется. Лорд Ирвин, на которого в свое время так ополчилась и консервативная и либеральная пресса за его туманную фразу насчет предоставления «в будущем» Индии прав доминиона, счел нужным в самый разгар событий в письме к одному из индийских аристократов снова повторить упоминание о том, что статус доминиона для Индии является «конечной целью» деятельности британского правительства.

Но на ряду с этим против движения пущены в ход уже все силы правительственной репрессии. Лидеры гандистского движения заключены в тюрьмы, революционные агитаторы расстреливаются при поимке, мятежи беспощадно подавляются вооруженной силой, на индийские газеты надет намордник в виде требования огромных залогов, которые конфискуются при малейшем выступлении против правительства. Значительная часть туземных газет уже закрылась.

И все же английские империалисты чувствуют, что освободительное движение уже нельзя подавить одними только репрессивными мерами и натравливанием магометан (которых в Индии насчитывается до 70 миллионов) на буддистов.



Сурово расправляясь со всеми проявлениями освободительного движения, правительство Макдональда фактически уже ведет закулисные переговоры с лидерами гандистского движения. Роль посланцев Макдональда выполняют некоторые «интервьюеры» Ганди, направляемые в Индию английскими газетами. Несмотря на то, что буржуазные лидеры, в частности бывший председатель Национального собрания Индии Патель, проявляют большую отзывчивость к предложениям Макдональда, компромисс найти нелегко, ибо предложения комиссии Саймона (с которыми Макдональд не может не считаться, поскольку в комиссии этой принимали участие и представители рабочей партии) очень далеки от чаяний индийских националистов.

К тому же рост революционного настроения в массах заставляет буржуазных лидеров соблюдать известную осторожность в этих переговорах. Хотя борьба за гегемонию пролетариата в освободительном движении Индии находится пока лишь в начальной фазе своего развития, но даже буржуазные исследователи положения в Индии признают, что рост коммунистических тенденций в рабоче-крестьянских массах Индии—особенно среди молодежи—идет быстрыми шагами. Всякая сделка буржуазных националистов с британским империализмом лишь усилит влияние индийской компартии в массах.

#### Дворцовый переворот в Румынии

На ряду с событиями в Индии и Китае (а также в Индо-Китае, где наблюдается сейчас рост революционного движения, несмотря на свирепое подавление восстания, вспыхнувшего там весной этого года) внимание империалистов привлекает к себе в настоящее время и т. наз. Ближний Восток, т. е. Балканы. Поводом к этому послужил дворцовый переворот в Румынии, в результате которого эта страна получила нового «венценосца»—Кароля II.

Хотя переворот этот носил в высшей степени опереточный характер, но он поставил ребром как вопрос о

внутреннем соотношении сил в Румынии, так и о ее внешне-политической ориентации. Опереточной по существу является фигура нового короля, но отнюдь не борьба, которая велась вокруг его прав на престол.

4 января 1926 г. румынский король Фердинанд отрешил своего сына Кароля от права престолонаследия, передав это право сыну Кароля, младенцу Михаилу. Поводов для этого, с точки зрения королевских традиций, было более чем достаточно. В самый разгар мировой войны почтенный наследник престола оставил свой «боевой» пост, а кстати и свою супругу, греческую принцессу Елену, и вступил в мorganатический брак с одной румынской дамой в Одессе. На требование папши вернуться в Румынию любвеобильный принц ответил отказом. Скандал получился огромный.

Но значительная часть румынской буржуазии, особенно из помещичьих и офицерских кругов, не без основания усматривала в суровом отцовском воздействии короля Фердинанда не столько наказание Кароля за его амурные похождения, сколько прямое давление фактического диктатора Румынии, лидера либеральной партии Жана Братиану.

Представляющая интересы промышленной городской буржуазии, тесно связанной экономическими узами с французским капиталом, либеральная партия и диктатура Жана Братиану вызывали ненависть не только румынского боярства и военщины, знаменосцем которых был принц Кароль, но и румынского кулачества, роль которого сильно выросла после войны. Слияние крестьянской (т. наз. царанистской) партии в Старой Румынии с национальной партией в Трансильвании превратило объединенную партию в грозную силу, ибо кулацким лидерам этой партии в течение долгого времени удавалось вести за собой и беднико-средняцкие массы румынского крестьянства.

Жан Братиану, обладавший, несомненно, талантами политического лидера в буржуазном смысле этого слова, боролся с оппозицией железной рукой. Конституция 1923 г. фактически была

упразднена, выборы фабриковались правительством, газеты подвергались жестокой цензуре. К тому же правительство Братиану подчинило своему контролю все народное хозяйство страны как в силу ряда проведенных им специальных законов, так и благодаря экономическому могуществу стоявшей за либеральной партией крупной промышленной и финансовой буржуазии. Отстранение принца Кароля с его боярско-офицерскими замашками было последним актом, утверждавшим диктатуру Братиану.

Но в 1927 г. в Румынии произошел двойной династический кризис. 20 июля умер старый король Фердинанд, и власть перешла в руки регентского совета, правившего от имени малолетнего короля Михаила. А 24 ноября умер и диктатор Жан Братиану, и лидерство в либеральной партии перешло по праву диктаторского наследия к его брату Винтилу Братиану, который и образовал новое правительство. Но Винтила унаследовал от своего брата только пристрастие к диктаторским методам управления, но не его таланты буржуазного государственного деятеля.

А между тем именно в этот момент либеральная партия оказалась в самом затруднительном положении в связи с активной борьбой, которую повела против нее национальная крестьянская партия, лидеры которой сумели мобилизовать против правительства крестьянские массы под лозунгами борьбы с диктатурой и защиты интересов сельского хозяйства, которые при Братиану были принесены в жертву интересам городской буржуазии.

Массовое выступление крестьянских масс в Альба-Юлии в мае 1928 г. заставило либералов предложить царнистам разделить с ними власть. Но слабость либералов лишь ободрила лидеров царнистской партии Маниу и Михалахе, которые вступили в открытую борьбу с кликой Братиану, и уже в ноябре 1928 г. им удалось достигнуть полной победы. Власть перешла в их руки.

Победа царнистов имела характер полного триумфа. Новое правитель-

ство начало с демократического трезвона, обещая населению всяческие свободы и защиту интересов трудящихся масс. Но уже скоро кулацкие лидеры царнистов показали свои зубы: преследования бессарабских крестьян шли прежним темпом, а расстрел бастующих горняков в Жилавской долине и последовавший за этим разгром независимых профсоюзов и репрессии по отношению к усилившемуся коммунистическому движению полностью разоблачили антирабочий характер правительства Маниу.

С другой стороны, и оппозиция либералов давала себя чувствовать. Опираясь на поддержку французского капитала и сохранив свое влияние в регентском совете, либералы всячески вставляли палки в колеса правительству псевдорестырянской партии. Необходимость создания сильной власти для борьбы с революционным движением рабочих масс и крестьянской бедноты, а также стремление устранить влияние регентского совета толкнули правительство Маниу в сторону приглашения Кароля. Воцарение последнего обеспечивало царнистам поддержку армии и избавляло их от интриг находившегося под влиянием либералов регентского совета.

Но в то же время остро встал и вопрос о направлении курса внешней политики Румынии. До прихода царнистов к власти в буржуазных кругах Румынии боролись две ориентации: либералов, тесно связанных с Францией, и помещичьей партии ген. Авереску, симпатизировавшей итальянскому фашизму. Преобладание Франции, впрочем, было довольно прочным, поскольку все военное снабжение румынской армии было в руках французских фирм, действовавших по инструкциям французского правительства. Правительство Маниу, хотя и имело менее франкофильский характер, чем правительство Братиану, продолжало, однако, политику последнего, построенную на принципе вхождения Румынии в Малую Антанту, находящуюся, как известно, в полном подчинении у французских империалистов.

Воцарение Кароля, явного врага либералов, вызвало в некоторых евро-

нейских кругах толки о возможности изменения румынской политики в сторону сближения с Италией. Кое-какие основания для этих толков дал сам Кароль: он заявил о желательности союза Румынии с Польшей, Австрией и Италией, сменил румынского посла в Париже Диаманди (один из лидеров франкофилов) и пожаловал маршалский жезл генералу Авереску, пользующемуся репутацией сторонника сближения с Италией.

Но придавать значение всем этим выступлениям опереточного короля не приходится. Направление политики будет, повидимому, принадлежать не ему, а лидеру царнистов Маниу, который заставил Кароля дважды просить себя, прежде чем взяться за образование правительства. А менять направление своей внешней политики Румыния не может,—в международной политике она может иметь какой-либо вес лишь при условии выполнения ею роли форпоста против СССР.

Французский официоз «Temps», который вначале проявил некоторое беспокойство по поводу возможности изменения курса в связи с приходом к власти легковесного Кароля II, после декларации нового правительства Маниу успокоился и с торжеством заявил на основании этой декларации, что «солидарная с Чехо-Словакией и Югославией внутри Малой Антанты, верный друг Франции и союзница Польши, Румыния сохраняет ту же позицию, что и раньше» («Temps», 16 июня). А приезд в Румынию французского генерала Гуро и оказанный ему торжественный прием полностью подтвердили, что Румыния вместе с Польшей попрежнему остаются основными элементами находящегося под гегемонией Франции антисоветского блока.

### Германия и пан-Европа

Упрочение антисоветского фронта является одной из тех целей, которые ставит перед собой Бриан в том проекте создания федерации европейских государств (в просторечии пан-Европа), который разослан французским правительством правительствам всех стран, входящих в Лигу Наций.

Бриановский проект приходится рассматривать под углом зрения возможности некоторого перемещения осей мировой политики в сторону укрепления позиции Франции, как мировой державы. Не трудно видеть, что основной проблемой этого перемещения является вопрос о сближении между Германией и Францией.

Французский маневр не встречает, однако, пока достаточно живого отклика со стороны Германии. Берлинская пресса уже отметила, что мининдел Курциус определенно уклонился от участия в пан-европейской шумихе. Причины этой сдержанности германского министра понятны. Участие в правительстве Брюнинга двух министров-националистов, хотя и отколовшихся от фракции Гугенберга, заставляет осторожно подходить к вопросам открытой капитуляции перед версальской системой,—вчерашние выкрики националистов против плана Юнга (являющегося завершением составленного в Версале плана ограбления Германии) еще слишком свежи у всех в памяти. Другим камнем преткновения является вопрос о польско-германских отношениях.

Заключенный в конце марта, но еще не ратифицированный польско-германский торговый договор должен был обеспечить известное экономическое равновесие между этими двумя державами. Договор этот открывал возможность ввоза в Германию определенных контингентов польского угля и польских свиней; Польша со своей стороны закрепляла за Германией контингенты ввоза ряда промышленных товаров и распространила на Германию пониженные ставки (ранее предоставленные лишь Франции и странам Малой Антанты) на продукты металло- и электропромышленности.

Это равновесие было, однако, резко нарушено проводимым правительством Брюнинга повышением таможенных пошлин на большинство предметов сельского хозяйства: аграрный протекционизм германского правительства явился прямым ударом по ввозу сельскохозяйственных продуктов Польши в Германию. Польский представитель

в Лиге Наций Сокаль попробовал даже протестовать в Женеве против этих мер германского правительства, ссылаясь на то, что они нарушают постановления женеvской конференции о «таможенном перемирии», но постановления эти носили настолько каучуковый характер, что обосновать свой протест Сокалю было трудно.

Французский офицоз «Temps» с огорчением должен был бы констатировать, что с приходом к власти правительства Брюинга антипольский курс внешней политики Германии начал усиливаться в связи с давлением на правительство партии националистов, которая имеет в кабинете двух своих (хотя и отколовшихся от фракции Гугенберга) членов.

Необходимо, однако, указать, что аграрно - протекционистская политика кабинета Брюинга хотя и проводится действительно под влиянием министров-националистов Шиле и Тревирануса, но менее всего по соображениям внешней политики. Представители померанских помещиков и кулаков Шиле и Тревиранус заботятся прежде всего о защите интересов представляемых ими классовых группировок.

Финансовая политика в целом оказывается не по плечу правительству Брюинга. Оно пытается отразить (хотя и является так наз. «деловым» министерством) интересы всех партий, представители которых в нем имеются. Но интересы эти слишком противоречивы, особенно в области финансовых мероприятий. Выход в отставку мин. финансов Мольденгауэра по требованию народной партии, членом которой он является, показал всю шаткость тех оснований, на которых держится кабинет Брюинга, начавшего управлять с угрозы роспуска парламента и применения § 48 конституции. Нельзя не вспомнить о судьбе кабинета Мюллера, падению которого предшествовала отставка мин. финансов Гильфердинга.

Повод, который повел к отставке Мольденгауэра, сам по себе не очень значителен: народная партия высказалась против проектировавшегося им (а до него и Гильфердингом) 4-про-

центного налога на жалованье чиновников и служащих для пополнения бреши в бюджете. Но с этим частным вопросом о жалованье чиновников связан более общий вопрос о всей системе финансового управления Германии.

Этот вопрос поставлен во всю ширь бывшим ген. агентом по репарациям (при действии плана Дауэса) Паркером Гильбертом в его заключительном докладе. По его мнению, Германия живет не по средствам. Он указывает, что в 1929/30 г. государственный долг Германии увеличился на 1.403 млн. марок, при чем из этой суммы 1.016 млн. марок составляют бонь казначейства. По существу это — текущий долг казны, вызванный дефицитностью бюджета. Представляя интересы кредиторов, заинтересованных в прочности финансовой системы Германии, Паркер указывает, что ключ к разрешению финансовой проблемы лежит в сокращении палогов, что предполагает сокращение государственных расходов.

Анализируя этот «ключ» с классовой точки зрения, необходимо прийти к выводу (подтверждаемому всей финансовой политикой Германии), что при сокращении налогов подразумеваются «налоги, падающие на капитал» в частности на предметы потребления, а под сокращением расходов надо разуметь сокращение расходов социально-культурного характера. Паркер имеет в виду пособия по всем видам соц. страхования и субсидии, которые германское правительство давало городам на строительство, имеющее целью облегчить условия жизни трудящегося населения.

Ни для кого не тайна, что германское правительство еще при с.-д. правительстве Мюллера уже вступило на этот путь, но кредиторам этого недостаточно. Франц. офицоз «Temps», с сочувствием цитируя доклад Паркера, пишет: «Германия тратит без меры и без контроля, в то же время отказываясь потребовать от всей массы налогоплательщиков необходимых жертв для удовлетворения своих потребностей». Конечно, потребности Германии мало интересуют французских кредиторов, им важна одна лишь потребность: аккуратно платить версальским победителям по репарациям.

### Америка повышает тарифы

Предусматриваемое бриановским проектом создание в противовес САСШ экономического объединения европейских государств получило в последнее время некоторую актуальность в связи с сверхпротекционистским законом, принятым правительством Соединенных Штатов.

Закон этот произвел мировой фурор уже при первом своем обсуждении, — 38 государств представили Гуверу протест против проектируемого повышения ввозных пошлин, — повышения, носящего неприкрыто запретительный характер. Этот запретительный билль долго обсуждался в американских законодательных учреждениях: он внесен был в палату представителей 7 мая 1929 г. и утвержден ею 14 июня текущего года, а сенатом — 13 июня.

Но эта длительность прохождения билля через законодательные инстанции ни в какой мере не способствовала его улучшению. Палата представителей даже усилила его запретительный характер, и лишь сенат несколько смягчил его значение, предоставив президенту право изменять его в сторону повышения или снижения на 50% (на практике речь, конечно, может идти только о снижении).

История возникновения и принятия этого чудовищно - протекционистского тарифного билля (номенклатура его включает свыше 3 тысяч объектов, подлежащих обложению) весьма характерна для той ущербной фазы, которую переживает сейчас американское «просперити».

При внесении проекта на обсуждение палаты представителей докладчик Хоулей заявил: «Во время предвыборной кампании 1928 г. республиканская партия заявила стране, что таможенные тарифы подлежат пересмотру... Страна ответила на это избранием президента Гувера и внушительным большинством голосов увеличила число республиканских депутатов в настоящем собрании. Конгресс получил, таким образом, мандат страны на изменение таможенного тарифа».

Хоулей добавил при этом, что повышение тарифов должно было быть од-

ним из средств защиты сельского хозяйства. Республиканская партия рассчитывала этими обещаниями снискать себе на выборах благоволение фермеров. Практическое значение повышения тарифов для улучшения рынка сельскохозяйственных продуктов в САСШ было ничтожно уже в тот момент, когда республиканская партия выдвинула этот лозунг для приобретения симпатий в фермерских кругах. Протекционистская защита могла лишь помешать проникновению в САСШ сельскохозяйственных продуктов из Канады, но канадский ввоз особого значения для улучшения рынка иметь не мог.

В настоящий же момент, когда закон вступает в силу, он имеет, несомненно, самоубийственный характер для американского экспорта вообще и для с.-х. экспорта в особенности. За тот промежуток времени, который отделяет момент внесения закона от его принятия, в Соединенных Штатах произошел небывалый по своим размерам экономический кризис, охвативший как сельское хозяйство, так и промышленность. Целый ряд предпринимательских групп в отдельных отраслях промышленности обратился к комиссии конгресса с заявлениями о распространении запретительных тарифов на выпускаемые ими виды продукции. Конгресс охотно пошел им навстречу, и в результате закон, который предусматривал вначале введение запретительных пошлин на предметы сельского хозяйства (что мало могло помочь фермерам, но не отразилось бы вредно на американском экспорте), превратился в барьер, почти закрывающий доступ на американский рынок каких-либо продуктов, как промышленных, так и сельскохозяйственных, из других стран.

Свыше тысячи американских экономистов, в том числе Оуэн Юнг, обратились к Гуверу с петицией не утверждать закона, как вредного для развития народного хозяйства Соединенных Штатов, но после той шумихи, которая была поднята вокруг закона воротилами республиканской партии, путь к отступлению для Гувера был отрезан.

Возражения против запретительных тарифов были достаточно убедительны. Значительное большинство отраслей

промышленности САСШ не боится конкуренции продуктов европейских стран на американском рынке: такие важные отрасли, как автомобильное производство, кино и радиопромышленность и в значительной степени металлургия и машиностроение, обнаружили полное равнодушие к той защите их продукции, которую обещали им проповедники протекционизма.

Их устремления направлены не к обороне американского рынка, а к завоеванию внешних рынков: промышленный кризис сделал проблему экспорта для Америки исключительно актуальной. Между тем введение запретительного тарифа в Соединенных Штатах должно иметь своим неизбежным следствием закрытие для американского экспорта европейских рынков, — вопрос об ответных мерах против американского экспорта в виде репрессалии на сверхпротекционизм САСШ поднят уже в целом ряде европейских государств.

Таким образом, именно в тот момент, когда кризис показал, что внутренний рынок САСШ недостаточен для поглощения колоссально выросшей американской промышленности, внешние рынки оказываются для нее закрытыми вследствие нелепой политики республиканской партии. Не менее, если не более, серьезной оказывается эта угроза и для сельского хозяйства САСШ: аграрный протекционизм и без того уже завоевал ряд позиций в важнейших европейских государствах, — озлобление против запретительных та-

рифов в Америке даст ему новые козыри в руки. С.-х. кризис в Америке должен в результате принятия нового закона еще обостриться.

Демократическая партия в САСШ уже всячески использует отрицательные стороны нового закона. На ошибках своих конкурентов она рассчитывает создать себе политический капитал на следующих выборах. Но никакой самостоятельной программы она создать не может, ибо закат «просперити» (процветания) вызван не ошибками республиканской партии, а внутренними противоречиями американского капитализма. «Организованный» капитализм Соединенных Штатов, на который буржуазные и социал-демократические экономисты возлагали столько надежд, дал течь, и это служит грозным предзнаменованием для капиталистической системы во всем мире.

Этот вывод сделал и открывшийся 20 июня VII с'езд американской компартии. Докладчик ЦК подчеркнул в своем докладе, что события сами разоблачили лживость исключенной из партии оппортунистической группы Ловстона и Пеппера, солидаризировавшейся с буржуазией и социал-демократами в признании исключительной устойчивости американского капитализма. В отличие от VI с'езда, который был с'ездом фракционной борьбы, VII с'езд выявил полную сплоченность американской компартии, поставившей себе целью завоевать массы и организовать их под революционным знаменем Коминтерна.

# Литература и искусство

1. ПИСЬМА ИНОСТРАННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ — 2. Ю. ДАНИЛИН. Июльская революция и французская литература. — 3. А. РАШКОВСКАЯ. Новый роман о русской интеллигенции.

## 1. ПИСЬМА ИНОСТРАННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Курт Тухольский, Вилли Гааз, Эфраим Фриш, Курт Клебер, Рудольф Фукс, Р. Музиль, Ст. Цвейг, Генрих Манн, А. Голитчер, Гергарт Поль, Рудольф Канцер, Кнут Гамсун, Альфонс Паке, Лео Перутц, Джон Гэлсуорси.

### Вяч. Полонский

В конце 1928 г. редакция «Нового Мира» обратилась к европейским и американским писателям с письмом, в котором просила их ответить на некоторые вопросы.

К сожалению, ответили далеко не все, к кому мы обратились. Так, ни один из наших французских друзей, побывавших в нашем Союзе, которые могли бы, следовательно, с большей, чем другие, основательностью осветить интересовавшие нас вопросы, не проронил ни словечка. Мы не получили ответа ни от Барбюсса, ни от Дюамеля, ни от Дюртена. На первом месте как по дружеской готовности поделиться своими соображениями, так и по глубокому пониманию предмета оказываются революционные немецкие писатели. Письма Курта Клебера, Артура Голитчера, Вилли Гааза, Эфраима Фриша наиболее интересны. Значительны также письма Стефана Цвейга, Альфонса Паке, Курта Тухольского. Чем искреннее дружественность писателя к пролетарской революции и к нашему Союзу, — тем, во-первых, серьезнее его ответ, тем глубже его замечания, тем шире его готовность поделиться с нами своими мнениями по затронутым вопросам. И, наоборот, чем холоднее отношение писателя к нашей революции, — тем холоднее и равнодушнее его

отношение к нашей литературе, к нашему искусству. В этом смысле показательно безразличие Гэлсуорси, который не заметил даже, оказалась ли какое-нибудь влияние на английскую культуру и искусство революция семнадцатого года. Этот писатель, одно время усиленно переводившийся на русский язык, не знает ни одного нового произведения русской литературы. Наконец, крайне характерно письмо Лео Перутца. Он с язвительной любезностью пишет о том, что его «обкрадывают» советские издатели. Переводя его произведения на русский язык, они — о срам, о позор! — не платят следующего ему гонорара!! Это все, чем мог поделиться с нами по затронутым темам иронический Лео Перутц. На вопрос: «Какое по вашему мнению, влияние на европейскую культуру и искусство оказала социальная революция в России?» — он, сверкая глазами, отвечает: «Она залезла мне в карман, чорт побери!»

Возвращаясь к письмам революционных немецких писателей, мы отмечаем их глубочайшую заинтересованность тем, что происходит в нашей стране.

Все они почти в один голос признают влияние Октябрьской революции и советского искусства на развитие европейской культуры. Здесь сходятся и

Эфраим Фриш, и Вилли Гааз, и Курт Клебер, и Рудольф Фукс. Даже Генрих Манн, письмо которого отличается краткой холодностью тона, даже Генрих Манн не может не признать влияния пролетарской революции, ограничивая это влияние областями, которые «близки к жизни масс».

Большинство немецких писателей, приславших нам письма, знают советскую литературу, внимательно ее читают, некоторые даже любят ее. Правда, не все умеют в ней разобраться. Правда, представление о ней у многих поверхностное и ошибочное. Это объясняется тем обстоятельством, что переводы усиленно советских писателей, почти исключительно прозаиков, иностранные издатели совсем не интересуются советской критикой. Советская критическая литература остается иностранному читателю неизвестной. А она могла бы помочь ему разобраться в противоречиях и враждебных тенденциях, которые отличают, скажем, «интересного стилиста» Бабеля от «выдающегося драматурга» М. Булгакова и «замечательного поэта» Ильи Эренбурга, которые объединились как-то в широкой душе Гергарта Поля рядышком с Федором Гладковым.

Наиболее значительным является письмо Курта Клебера. Оно интересно еще и тем, что талантливый писатель немецкого пролетариата говорит не только от своего имени, но, как он сообщает, от имени нескольких десятков товарищей-писателей, рабочих и рабочих от станка. В письме его чувствуется пафос борьбы, далекой от фраз, глубоко проникнутой прагматическими задачами своего класса и своей партии. В его взгляде на искусство есть много общего с взглядом на искусство Н. Г. Чернышевского. Разумеется, не только «доступность», «популярность» искусства является той его особенностью, которая ставит перед рабочим классом задачу создания своего классового, пролетарского искусства. Товарищ Клебер смотрит на искусство сквозь уменьшительные стекла. Он суживает его смысл и его социальную функцию.

Курт Клебер желает в искусстве видеть верное, как бы зеркальное, отражение жизни. Он по художественным

произведениям хочет знать, что происходит в нашей стране. Он спрашивает, есть ли у нас роман о кооперации? Существует ли роман горняка, домашнего рабочего, крестьянина-бедняка, нового поселенца и т. д.? Т.-е., отражается ли наш новый быт, то, что вырастает в нашей жизни каждый день, в нашем искусстве? Мы ответим: и да и нет. Жизнь на ходу, жизнь возникающая, бегущая, меняющая ежeminутно свои формы, сегодняшняя жизнь не отражается в искусстве так, чтобы по произведениям искусства можно было изучать ее. А если отражается, то, во-первых, с запозданием, а во-вторых, в виде, далеком от объективности. Это именно обстоятельство и привело к расцвету у нас «очерка». «Очерк» даст Курту Клеберу гораздо больше материала для изучения нашего строящегося, возникающего, нового быта, чем наше искусство. В этом смысле обронил верное замечание Гергарт Поль: «Существенно сильнее, — заметил он, — чем художественные произведения, интересуют меня биографии Шаповалова, Пятницкого и др., так как они больше уясняют мне действительность, чем романы».

Точка зрения Курта Клебера вообще поясняет причину огромного интереса, который возбуждает в иностранцах советская литература. Это отмечает также Стефан Цвейг. Иностранный читатель чаще всего смотрит на нее, как на документальное свидетельство того, что происходит в нашей стране. Из нашей беллетристики он хочет «вычитать» нашу действительность. «Он жизнь спешит познать заранее и познает ее в романе. Но здесь-то и происходит много горестных недоразумений. Многое ли поймет в нашей жизни иностранец, почтаив «Растратчиков» В. Катаева, пользующихся сейчас в Америке большим успехом? Или «Рвача» Эренбурга? Или «Тайное тайных» Всеволода Иванова? Или даже «Братьев» Федина? Или возьмем самоновейшее произведение, которое, несомненно, будет издано за границей, «Рождение героя» Ю. Либединского? Разумеется — немного. А то немногое, что будет «вычитано», не окажется «бытом», т.-е. не даст точного представления о фактах жизни,



как они есть. Потому то—повторим еще раз — иностранный читатель еще больше, чем советский, нуждается в том, чтобы книги советских художников сопровождалась критическими вступлениями: последние объяснили бы иностранцу характер и смысл картин, изображаемых авторами, и их отношение к действительности.

— Почему этого не делают русские критики? — спрашивает нас Клебер. Если бы русские критики имели возможность непосредственно обращаться к немецкому рабочему, они сделали бы это. Но ведь между ними и немецким рабочим-читателем стоят немецкий издатель и редактор. Именно к ним и переадресовываем мы вопрос Клебера.

В нашем предисловии мы не хотели затронуть все интересные мысли, замечания и оценки, рассыпанные по страницам писем. Да в этом нет и надобности: самые письма в распоряжении читателя.

Пользуемся случаем принести благодарность нашим корреспондентам, особенно, разумеется, тем из них, в письмах которых мы встретили дружеские и товарищеские ноты.

Вяч. Полонский.

## I. КУРТ ТУХОЛЬСКИЙ

1) Моя повседневная деятельность уже в течение шестнадцати лет направлена на разоблачение социальной лжи везде, где я могу ее обнаружить. Сила моей сатиры заключается не столько в новой, положительной программе, сколько в стремлении ущемить врага пролетариата — судью, военного и церковь, поскольку церковь активно участвует в политике.

2) С беллетристикой Советского Союза я знаком главным образом по превосходным изданиям издательства Малик, которое, несомненно, сделало для нее в Германии больше, чем все другие издательства. Наиболее сильное впечатление произвели на меня Лариса Рейснер, Гладков и Бабель. Так как по-русски я читать не умею, то должен был довольствоваться переводами, т.-е. тем, что переведено, и тем, как оно переведено.

3) Разница между новой и старой литературой, несомненно, существует. Конечно, между ними проходят связующие нити: ведь и в том и в другом случае это русские писатели, этого отрицать нельзя. Однако, у Гладкова и особенно у Л. Рейснер я слышу совершенно новые нотки, которых до сих пор еще никогда не улавливало мое ухо.

В отношении же отличия русской литературы от литературы других стран я считаю, что это различие чисто местное и не всегда является коренным различием. Революция 1917 года повлияла на другие страны чрезвычайно сильно, в колоссальной степени на Германию, в гораздо меньшей — на Францию; что же касается англо-саксонских стран то я считаю, что это влияние существует, правда, непризнаваемое, нежелательное, даже просто ненавистное, и сказывается главным образом на молодости.

В связи с этим, как мне кажется, новая русская литература, поскольку я знаком с ней, совсем не так уже резко выпадает из рамок всемирной литературы. Мне трудно судить об этом, но если новеллы Коллонтай типичны по своей форме и содержанию для России, то надо сказать, что, за исключением их чисто местных элементов, такую же постановку проблем и формальную их разработку можно встретить и где-нибудь в другой стране, и это не должно вызывать особого изумления. За это надо быть благодарным России.

Русская революция повлияла на весь мир и на искусство всего мира. Но после опыта французской революции и здесь ждать результатов этого влияния слишком скоро нельзя. Трудно сказать, как далеко простирается духовное влияние французской революции, — этот период смело можно было бы оценить в сто лет. Таким образом, совершенно невероятно, чтобы великое землетрясение 1917 года уже теперь проявило все свои последствия. Может быть, мы делаем ошибку, что считаем себя конечным пунктом всего существующего, тогда как в действительности только следующее поколение, на котором, к счастью, все строит Россия, покажет, какою будет картина ми-

ра, созданная борцами, без самого момента этой борьбы. Путь через вражеский стан первым прошел Ленин. Молодые, которые пойдут по уже расчищенной дороге, будут держаться совершенно другого направления.

4) Я считаю невозможным развитие творческой деятельности писателей независимо от явлений социально-экономического порядка. Желание бежать от действительности, опыты и попытки к бегству заложены в каждом из нас, поскольку мы получили мещанское воспитание: отрицание этого факта я считал бы проявлением полного отсутствия моральных устоев. Но с тех пор, как я научился социально мыслить, я отдаю себе отчет в относительности этого явления: я знаю, что этот вид отношений к жизни возможен только при наличии ренты, а благодушный идиллический юмор—только при игнорировании человеческого горя. Часто наиболее значительным и ценным и являются моменты отъединения, неподвижности и утомления. Но никогда я не позволю себе строить мировоззрение из личного, так сказать, опыта моей работы, например, я не позволю себе благожелательно поучать пролетариев тому, что такое «искусство», или пренебрежительно относиться ко всякому, кто не сидит в крестьянской избушке и до тех пор не крутит пальцем вокруг пальца, пока его не осенит веселенький стишок. Короче говоря: я считаю первичным социальное (на ряду с биологическим), а не какое-нибудь ходячее понятие об искусстве, которое еще и в настоящее время преподносится профессорами в университетах, словно на ряду с их картинами и симфониями не существует газовых заводов.

Желаю всего лучшего новой России в деле освобождения мира,

*Тухольский.*

## II. ВИЛЛИ ГАЗ

На ваше письмо от 27 декабря отвечаю вам следующее:

Во-первых: ясно само собою, что в период больших социальных переломов социальные вопросы являются наиболее насущными. Однако, этим я не хочу сказать, что все творчество долж-

но быть направлено на обсуждение социальных вопросов. Но в то же время я считаю, что социальная ответственность является тем фактором, который отныне должен занять свое место в творчестве и ни в коем случае не должен исчезать из него, как это имело место в эпоху между 1870 и 1918 годами почти во всем новом творчестве Европы.

Во-вторых: я знаком с некоторыми произведениями новейшей русской беллетристики. Особенно я ценю Исаака Бабеля, Эренбурга, Федина и Гладкова.

В-третьих: современная русская беллетристика, несомненно, отличается от литературы старой России и других стран, но не в такой степени, в какой это считают коммунисты, ориентирующиеся исключительно на Россию.

В-четвертых: Октябрьская революция 1917 года оказала колоссальное влияние на немецкую литературу, но, поскольку я могу судить, почти никакого влияния на литературу других стран.

В-пятых: конечно, деятельность писателя зависит от явлений социально-экономического порядка. Однако, границы этой зависимости еще не установлены. Примитивные построения ортодоксального марксизма оказываются несостоятельными. В деле разрешения этой проблемы марксизм, несомненно, является единственно правильным методом, но этот метод еще до сих пор не получил правильного применения. Все, что мне знакомо в этом направлении, грубо, приблизительно, неточно и в конечном счете лишено инстинкта действительно художественного в искусстве. Оно анализирует только материальные источники внешних, сопровождающих искусство явлений, а не материальное происхождение самого искусства и его течений. В этом отношении предстоит еще проделать самую важную работу. До сих пор мы не имеем хотя бы сносного материалистического исследования по искусству, как и по его философии и истории. Я не исключаю и великого Франца Меринга.

С приветом: преданный вам

*Газ.*

### III. ЭФРАИМ ФРИШ

Благодарю вас за ваше любезное приглашение и по мере сил постараюсь ответить на поставленные вами вопросы. Сделаю я это тем охотнее, что уже давно живо интересуюсь духовной и литературной жизнью России и в настоящее время особенно приветствую обмен мнениями.

1) В данный момент чрезвычайно актуальным и жизненно важным вопросом для нас в Германии является вопрос об отношении подрастающего поколения к культуре и обществу довоенного времени, т.е. о том, в какой степени традиционные силы — государство, семья, школа — являются для него действительно реальными понятиями и насколько они влияют на его собственное развитие. Нет никакого сомнения, что нормативный авторитет государства и церкви поколеблен в молодежи войной и революцией, но радикализация справа и слева привела к тому, что влияние мировоззрений, покоящихся на гуманитарных идеях, сильно ослабело; таким образом, молодежи приходится начинать по-новому. Поскольку только небольшая часть ее подпала под влияние национальной идеологии, она отнесится подозрительно и холодно к стремлениям старших к «восстановлению». Мне лично интересно было бы показать, как пытаются вгнестись на то пустое место, которое осталось после крушения авторитетов, ложный иррационализм и псевдорелигиозные и псевдофилософские воззрения. По моему мнению, это — типичные явления реставрации. Я хочу изобразить в форме современного романа типы молодежи сегодняшнего дня в окружении этой духовной инфляции и показать переживаемые молодежью конфликты.

2) Я знаю частично современную русскую беллетристику и сам при случае указывал на такие явления, как Бабель, Есенин, Леонов, Сейфулина и Коллонтай. В числе этих повествователей Бабель, как мне показалось, может быть, больше всех внес новую струю, звучание героической эпохи революции. Наибольший интерес возбуждают в нас те произведения, которые дают нам представление о внутренних переменах в

русской жизни. Чисто художественными и свидетельствующими о человеческом величии я все еще считаю последние произведения Горького, как самые значительные проявления современного русского повествовательного искусства. На примере Горького видно, как растет художественное вместе с человеческим.

3) Явления, как Есенин, Маяковский и Пильняк, произвели вначале такое впечатление, что вместе с радикальными преобразованиями русской социальной жизни выкристаллизуется такая вещь, как новая художественная форма. Но дальнейшее развитие этого как будто не подтверждает. Самая характерная и самая сильная особенность русской литературы — ее эпический реализм — остается попрежнему преобладающим, и если формы его, как и везде, впрочем, в настоящее время модернизируются, то все-таки их связь с прошлым отрицать нельзя. И более старая русская литература всегда была истолковательницей действительности.

4) Так как Октябрьская революция в известных своих проявлениях была прообразом и для переворота в Германии, то революционные обновленческие тенденции в русском искусстве не могли не оказать влияния на радикальные писательские группы; в некоторых отношениях это влияние продолжается и теперь. Особенно сказывается это в области театра, где влияние Таирова и Мейерхольда продолжается до сих пор и находит свое выражение в театре Пискарева. Но в этом направлении наметается обратное движение, так как революционного театра в неревolutionонном обществе быть не может. Среднее влияние новой России во Франции я вижу, например, в группе сюрреалистов, в их непримиримом отношении к литературе и к обществу. У нас художественные произведения лево-радикальной литературы, находящиеся под сильным влиянием России, носят все больший и больший американский отпечаток.

5) Правда, я того мнения, что творческая деятельность писателя не может быть независимой от изменений социально-экономического порядка, но

все-таки я считаю желательным и необходимым, чтобы эта деятельность оставалась независимой от государственного или общественного авторитета, какого бы рода он ни был. Мы видим, например, во Франции, какие пагубные последствия имели учение, которое проповедывал Морра в своем труде «Будущее интеллигенции», которое отдает все духовные силы страны на услужение империалистической и национальной мысли. Именно в такое время, когда авторитет старых исторических сил разваливается на глазах, только у интеллигента остается возможность воплощать в себе нечто в роде общественной совести. Глубже обобщать это следовало бы в более подробном обсуждении.

Я приветствую ваше намерение посвящать в вашем журнале особое внимание культурной жизни за пределами России и был бы очень рад регулярно получать ваш журнал, так как читаю по-русски.

С товарищеским приветом  
преданный вам

*Эфраим Фриш*

#### IV. КУРТ КЛЕБЕР

Уважаемый товарищ!

К сожалению, мой ответ на ваши вопросы не будет короток, так как самые эти вопросы занимают в Германии большинство из нас уже несколько лет, причем я подчеркиваю: все, что я отвечаю на них, я буду говорить не в качестве отдельного лица, а коллективно, от имени нескольких десятков товарищей — писателей, рабкоров и товарищей от станка.

Первый вопрос: какие проблемы занимают меня в данное время? Я написал «Баррикады на Руре», книга вскоре была запрещена; вслед за этим другие рассказы и три года назад мой первый большой роман «Пассажиры III класса», который вскоре появился и в России. Вначале я хотел продолжать писать, но затем на долгое время занялся агитпропработой в партии и сделал это по следующим соображениям: всякая чисто революционная литература неизбежно подвергается теперь в Германии запрету; «Пассажиры» не были запрещены или еще не запрещены

до сих пор только потому, что герой — не немцы и действие происходит не в Германии. Какой же смысл имеет в настоящее время в Германии работать в качестве писателя? В дополнение к этому во время агитпропработы в партии я заметил, что каждая изданная нашим центром брошюра или тенденциозная пьеса находит гораздо большее распространение, чем революционная беллетристика, и что всякую партийную работу, по крайней мере при настоящей ситуации, приходится оценивать выше, чем самую высокую издаваемую отдельным лицом беллетристику или хорошую революционную литературу вообще. Это мое мнение, возникшее приблизительно летом 1928 г., сейчас несколько видоизменилось: существуют и другие промежуточные возможности. Поэтому в настоящее время я занят и тем и другим: я работаю в нашем агитпропсовете и, с другой стороны, пишу несколько больших новелл под общим заглавием: «Рационализация». Это — попытка художественной обработки всего числового материала и статистики несчастных случаев, прибылей предпринимателей и их произвола. Политическая брошюра о рационализации для большинства рабочих слишком трудна; в художественно обработанном произведении, где рабочий явится одновременно героем и действующим лицом, он разберется легче. Эта работа будет закончена к весне; после нее я приступаю к новой работе, более обширной, до некоторой степени с нею сходной, — о немецком рабочем в Германской республике. Это будет индустриальный роман или, лучше говоря, попытка выяснить общее лицо немецкого рабочего. Заглавие романа — «Стекланный дом».

Второй вопрос: знаком ли я, — а я скажу, знакомы ли мы, — с беллетристкой Советского Союза? И да и нет. То, что нам здесь преподносят частные или даже партийные издательства, крайне разнородно и очень случайно. Мы можем поэтому ответить, что кое с чем мы знакомы. Приведем здесь же нашу критическую оценку. Лучшим вышедшим в России романом мы до сих пор считаем «Железный поток» Серафимовича и находим, что это великолепно

ное сочетание репортажа и точного отчета о фактах, этот прекрасный способ набрасывать ясными и понятными мазками воодушевляющую картину еще не превзойдены. Вслед за ним идет Либединский — «Неделя», Дорохов — «Голгофа», Лариса Рейснер — главным образом ее русские горняцкие очерки, Фадеев — «Разгром», Ф. Панферов — «Бруски», Тарасов-Родионов — «Февраль» и «Шоколад». Далее идут некоторые рассказы Неверова, рассказы Гладкова и его «Цемент», хотя «Цемент» уже только до известной степени. Мы находим этот роман слишком сложным и углубленным, но, — как раз того, что выражено в заглавии, — цемента мы не видим.

Очень мало говорят нам все вышедшие у нас произведения Бабеля. «Пути любви» Коллонтай тоже большей частью отвергаются немецкими рабочими (проблематика этого произведения кажется им слишком вымышленной). Книги Сейфулиной читаются охотнее, главным образом частью молодежи и некоторыми интеллигентами.

Совершенно ничего не дает нам Эренбург. Его произведения — прямое продолжение старого романа и его окружения, по форме они отрывочны, тягучи, слизисты, неаппетитны, а с политической точки зрения, по крайней мере нашей, просто контрреволюционны. В «Городах и годах» Федина мы тоже усматриваем продолжение известной традиции буржуазного романа, еще более сильной в его «Братьях»; и то, что в этом произведении все персонажи, за исключением только одного более или менее одаренного художника, ничего собой не представляют, — является только неудачным выявлением собственного непонятного и напыщенного «я» автора. Еще резче выступают эти черты в переведенных на немецкий язык произведениях Лидина. «Отступник», например, производит на нас впечатление какого-то копания в царистской и дореволюционной грязи, скрытого призыва продолжать ее, а в хорошем конце романа, т. е. в возвращении «Отступника», мы усматриваем злостную попытку тремя заключительными строками выкрасить всю книгу в розовый цвет, дабы сделать ее удобо-

читаемой и для революционеров.

Еще несколько вопросов, на которые, быть может, нам ответит редакция «Нового мира». Чем объяснить, что современные русские литературные критики до сих пор ничего не говорят непосредственно немецким рабочим о русских литературных новинках и о русской новой литературе вообще? Почему мы вообще ничего не узнаем «оттуда», и почему мы должны старательно перечитывать весь ворох печатных произведений, который нам преподносят немецкие, частью буржуазные, частью «симпатизирующие рабочим» издательства? Почему нас не осведомляют русские литературные критики, или, по моему мнению, русская молодежь, русский рабочий?

Еще несколько слов о том, что нам необходимо точно знать. Существует ли русский роман, посвященный кооперации? Мы подразумеваем под этим нечто, напоминающее роман «Бруски» Ф. Панферова, но в нем должна быть показана не столько борьба между старой деревней и кооперацией, сколько жизнь и работа кооперации. Далее, существует ли роман горняка, доменного рабочего, крестьянина-бедняка, нового поселенца, новой фабрики, но, не в духе «Цемент», а более непосредственно от самого рабочего? Существуют ли новые хорошие романы об отношениях между мужчиной и женщиной в современной русской рабочей и крестьянской среде? Вот те темы романов, которые нас интересуют в данный момент, те проблемы, о которых мы хотели бы читать и видеть на фоне Советской России. Это то, что нам нужно, а не типы, которых показывают Эренбург, Федин или Лидин в своих романах.

Третий вопрос: мы считаем, что современная русская беллетристика отличается от старой беллетристики и от иностранной. Конечно, уже в самой ее манере подхода к материалу, в том, что она ничего не скрывает, всюду открыто говорит правду, подкапывает, созидает, ведет к взрыву, что, кроме того, она дает писателей, стоящих в художественном отношении выше Золя, затрагивает материал не только репортерский, — все это делает русскую литературу еще более ценной. Мы охотно го-

ворим и утверждаем, что если русская литература пока еще не стоит во главе мировой литературы, то она быстро к этому идет, и произведение в роде «Брусков» Панферова вполне может быть поставлено наравне с «Польскими крестьянами» Реймонта (получившими нобелевскую премию), а «Железный поток» Серафимовича, без всякого сомнения,—наравне с популярнейшими героическими песнями греков и римлян.

Четвертый вопрос. Для чего вообще на него отвечать? Октябрьская революция в России, конечно, оказала влияние в культурном и творческом отношении на другие страны. Больше того, для известного процента слоев населения других стран она является моментом зарождения понятия культуры, а заслуги этой революции, сказавшиеся в том, что она помогла целым группам писателей подняться из низов мещанской обстановки, оплодотворила и зажгла их творчество, так велики, что их нельзя ни указать, ни опенить в целом.

Вопрос пятый. Конечно, мы считаем, что развитие творческой деятельности писателей независимо от явлений социально-экономического порядка ни в какой мере не может быть желательным. Напротив, творческая деятельность, по крайней мере как понятие, представляется нам в такой неразрывной связи с борьбой за социальные и экономические условия современной эпохи, что ни раз'единить их, ни рассматривать раздельно нельзя. Впрочем, это—старая истина, что великие художники всегда интересовались социально-экономическими явлениями своей эпохи: Бальзак, Гете, Шиллер, Золя, Ибсен, Толстой, Стриндберг, Горький и т. д., и не только в форме критики, отрицания и выявления, большинство из приведенных писателей даже участвовало в открытой борьбе против современных им социально-экономических условий. Это явление нельзя будет ни задержать, ни приостановить в его развитии; нынешнее и грядущее поколения будут продолжать эту борьбу всеми средствами, вооруженные окрепшей идеологией и непосредственной связью с рабочим классом, при поддержке всех революционных течений, охватывающих в настоящее время весь земной шар.

Достаточно.

*Курт Клебер.*

## В. РУДОЛЬФ ФУКС

Уважаемые товарищи.

Мне хотелось бы в первую очередь ответить на последний пункт вашей анкеты: считаю ли я желательным, возможным и необходимым, чтобы творческая работа писателей развивалась независимо от явлений социально-экономического порядка? На этот вопрос я хотел бы ответить подробнее следующее: искусство никогда не было независимо от явлений социально-экономического порядка. По этому вопросу среди нас, более молодых писателей западных стран, разногласий нет. Тем не менее возможно, что эта зависимость не замечается в искусстве. Я представляю себе ваш вопрос так: предпочитаю ли я произведение, в котором ярко выражена его зависимость от явления социально-экономического порядка, или такое, в котором она незаметна? Произведение, в котором эта независимость выявлена, резко подчеркнута или является его основной темой, оказывает известное влияние и на практическое развитие социально-экономических явлений. Этот факт, мне кажется, имеет большую ценность, особенно в эпохи, когда писатель более чем когда-либо призван содействовать этому развитию. Мы живем как раз в такую эпоху. В отношении себя лично я хотел бы дать что-нибудь хорошее именно в этом направлении. Тем не менее я должен сознаться, что мне часто нравятся такие произведения, которые и не пробуждают во мне мысли о зависимости искусства от социально-экономических моментов. Ценность искусства определяется прежде всего тем, хорошо оно или плохо. Всегда найдутся люди, которые, например, от музыки получают воодушевляющее впечатление, а с другой стороны, и такие, которые не понимают, как могут собираться тысячи людей и с крайним напряжением слушать механически-сложные созвучия оркестра Мы, писатели, пользуемся языком, как средством выражения. Речь является средством общения между людьми и в то же время служит искусству. Взаимное общение и искусство не являются независимыми друг от друга: они многое

дают друг другу. Наше время — это эпоха быстро растущего взаимного общения. В такие эпохи нередко бывает, что взаимное общение отодвигает искусство на задний план и вытесняет его из поля зрения. Неожиданно само общение начинает превращаться в какую-то замену искусства. Но и старое искусство обладает способностью ускользать свой темп. Оно догонит нас и воспримет в себя и новое, созданное общением, искусство. Тогда снова само собой явится единение, непрерывное и единственно возможное искусство.

У нас положение дел таково: буржуазный класс с величайшим напряжением борется за сохранение своей экономической системы и должен прилагать все усилия, чтобы еще более бессознательно не скатиться по наклонной плоскости, что это и без того случиться должно. Недостаток времени, заботы, беспокойства вытесняют из круга деятельности буржуа и его попутчиков всякое занятие тем, что не имеет непосредственного отношения к практическому делу. В литературе для них имеет ценность только развлечение. При таких условиях борьба пролетария за существование исключительно тяжела. Об искусстве пролетарий знает только то, что оно существует где-то, куда он сейчас не может попасть. Что касается писателя, то он не хочет и не может писать для отмирающей буржуазии, а пролетарий в своем огромном целом не умеет еще в настоящее время достаточно писателя использовать. Писатель живет между классов

Искусство, как жизненная функция, будет всегда там, где есть жизнь. В этом отношении нечего бояться. Обстоятельства могут заставить писателя умолкнуть, но это еще не самое худшее. Самое худшее, это, — если он, не умолкнув, перестает быть творцом. Что бы это был за брак, если бы жена писателя беспрестанно твердила ему, что, творя, он ни на минуту не должен забывать, что он — женатый человек и отец семейства. Само собою будет так, что пролетарий будет читать своего Гельдерлина (в России — своего Лермонтова). Что же мы должны делать в настоящий момент? Ответ: каждый по мере

своих сил должен продолжать работать.

В связи с этим я перехожу к вашему первому вопросу — какие проблемы (материал, стиль) занимают меня в данный момент? В первую очередь меня интересует драма. Все остальное представляет собою уже сложившиеся формы. Театр ищет сейчас новых путей. Здесь автор может сказать своей публике в наиболее убедительной форме правду. Я многое почерпнул из книги «Творческий театр» П. М. Керженцева, более того: я могу сказать, что он вдохновил меня писать пьесы. Для нас, немецких писателей, трудность заключается в том, чтобы найти театр для пьес, выходящих за пределы общепринятых. Мы надеемся, что найдется специалист по театральному делу, который возьмет на себя руководство рабочими театральными объединениями в Германии и снизу создаст новый театр.

Остальных вопросов, касающихся новейшей русской литературы, я смогу коснуться только вскользь. Должен сознаться, что из многих переводов новых русских авторов я знаком, к сожалению, только с немногими. Печальное положение немецких писателей сказывается, естественно, и в материальном отношении. Может быть, в Берлине дело обстоит лучше: там писатель имеет большую связь с соответствующими издательствами, журналами и газетами. В провинции нас занимает прежде всего наша профессия, добывание куска хлеба, и нашим литературным задачам мы можем уделять только небольшой остаток сил и свободного времени. Поэтому и выходит так, что я редко могу отдаться чтению. Несколько времени тому назад я прочел «В тупик» Версаева; эта книга произвела на меня сильное впечатление. Русские, которым я об этом рассказал, передавали мне, что знают романы, которые неопределимо выше. Из этого и из большого числа переводов, о которых теперь объявлено, я заключаю, что беллетристика в СССР находится в настоящее время в расцвете. Чтобы ответить и на этот вопрос, я укажу на свое глубокое убеждение в том, что Октябрьская революция 1917 года в той же степени, в какой она имела величайшее

политическое значение для всего мира, оказала длительное влияние и на культурные и художественные стремления всех стран.

С приветом

*Рудольф Фукс.*

## VI. РОБЕРТ МУЗИЛЬ

Благодарю редакцию «Нового Мира» за ее внимание и пересылаю следующие ответы, несколько пострадавшие от спешки.

1) В настоящий момент я заканчиваю роман, рисуемый 1913 и 1914 годы, для того, чтобы показать на нем известные ошибки западно-европейской идеологии, оставшиеся и до сих пор неисправленными. Фабула и стиль романа иронически-фантастического характера сообразно положению, что хотя идеи и движут историей, но новые идеи не приходят людям в голову. Помимо того, я пытаюсь описать приключения индивидуума, который не может заставить себя отказаться от преимуществ научного мышления, в то время как морально он обязан был бы это сделать; в результате он становится тем необычайнее, чем более общими являются его идеи.

Моей следующей крупной работой будет, наверное, сатирически-утопическое изображение современной западно-европейской культуры.

2) Из вашей новой беллетристики я знаю, к сожалению, одного только Горького, которого я, конечно, высоко ценю. Я надеюсь наверстать остальное в ближайшие годы, но ответить на ваш вопрос не могу.

3) И об этом вопросе не могу судить по той же причине.

4) Я думаю, что революция у вас принесла большую духовную поддержку всем нам, надеющимся, что из человечества еще может выйти нечто хотя бы в известной степени хорошее. Я чувствую, что надо пойти к вам учиться, отдаться изучению вашего нового мировоззрения. Я чувствую и то, что это будет непрерывно развиваться. Но о непосредственном влиянии русской политики на наше творчество я совершенно иного мнения. То, что возникло до настоящего времени в результате этого влияния,

является преимущественно идейным творчеством, которое поднялось над прежней патриотической отечественной поэзией только в смысле идейном, но не в отношении своих художественных возможностей.

5) Я не уверен в том, что точно понял вопрос и поэтому даю на него два ответа:

а) Я считаю желательным, чтобы творческая умственная деятельность была освобождена от оценки на экономическом рынке.

б) Я убежден, что на творчество оказывают сильное влияние экономический и общественный уклад не только в смысле материального, но и в идеальном как в постановке проблем, так и в способах их разрешения. С другой стороны, в искусстве существуют проблемы содержания и формы, которые, начиная с шестого тысячелетия до нашей эры, непрерывно обновляются. В своей зависимости от общественных моментов искусство находится где-то посередине.

Простите за поверхностный характер моих суждений.

Глубоко уважающий, преданный вам

*Роберт Музиль.*

## VII. СТЕФАН ЦВЕЙГ

В ответ на вашу анкету я охотно выскажу несколько личных мыслей по поводу влияния современной русской литературы на Германию.

Интерес, с которым в настоящее время относятся к новой русской литературе, необычайно велик, хотя вызван не литературными причинами, а чисто практическими соображениями: весь мир и особенно Германия с большим любопытством стремится знать о «действительном» положении в России. Инстинктивно все чувствуют, как жестоко их обманывают газеты, и новый русский роман, новая русская новелла совершенно правильно представляются им наиболее правдивым источником достоверных сведений. Документальные романы Гладкова, Федина, Леонова, Сейфулиной читаются с увлечением. Лично я сожалею о том, что вследствие этого мы относимся в известной степени несправедливо по



отношению к неуказанным здесь писателям, что мы почти ничего не знаем о Есенине, Кириллове, Пастернаке и о многих других более молодых лирических поэтах, в то время как эпические писатели пользуются почти равной с немецкими популярностью. Особенно поражает нас в этом молодом поколении, что при равной психологической проникновенности самый темп повествования невероятно ускорился и оживился. Камнем преткновения для прежней русской литературы—Гончарова, Достоевского и Толстого—являлась их широта, их в известной мере тяжеловесное, покойное повествование.

Новое поколение с 1917 года взяло совершенно иной темп, иной натиск, может быть, из определенного чувства, что оно должно влиять не только, как в прежние времена, на людей образованных, располагающих досугом, но на широкие массы, с которыми как можно быстрее необходимо наладить тесный контакт. Разрешите мне сказать, что бы я особенно желал для русской и для нашей литературы. Во время моего, к сожалению, слишком кратковременного пребывания в России мне показалось чрезвычайно досадным, что так мало молодых писателей говорят на чужих языках и так мало знают за границу. Я не меньше сожалел о том, что не говорю на русском языке и мог бросить на Россию только беглый, действительно очарованный взгляд. Чрезвычайно важным и необыкновенно плодотворным было бы знание того, как видят своим ясным взглядом молодые русские художники Европу и старый мировой порядок, и чтобы мы со своей стороны постарались дать художественное изображение России; с обеих сторон, несомненно, будут ошибки, но эти ошибки будут плодотворными. Мы должны были бы чаще ездить в Россию, жить там в течение более продолжительного времени, чтобы учиться, а русские писатели в свою очередь ездить к нам. Именно существующие в настоящее время противоречия между старым и новым мировым порядком должны были бы найти свою художественную остроту.

Я жду очень многого от такой совместной работы; ваши писатели, в свою очередь приезжая к нам сюда, будут для нас далеко не чужими. Редко бывало, чтобы в такое короткое время одно поколение могло завоевать свою публику с такой силой, как это сделала молодая Россия, и ее личное пребывание у нас могло бы только усилить так хорошо установившуюся связь.

С приветом преданный

*Стефан Цвейг*

## VIII. ГЕНРИХ МАНН

Отвечаю на ваши вопросы следующее:

1) Меня интересуют проблемы романа, сцены и фильма (кино). В романе я ищу «концентрированной формы» и в большей мере движение и непосредственное ощущение изображаемой жизни, чем точность изображения. В моем прежнем романе «Евгения» я применил этот принцип к буржуазной истории развития современного общества, так как роман разыгрывается в 1873 году. Мой следующий роман будет тоже касаться актуальных проблем. Недавно я поставил в Берлине музыкальную комедию «Биби». И в ней сделана попытка при небольшом числе действующих лиц и положений выявить настроение сегодняшнего дня и дать при помощи музыки и характера пения глубже почувствовать атмосферу данного отрезка времени.

В отношении же кино на ряду с другими духовно заинтересованными в нем специалистами думаю, что в будущем возможно будет отобразить в картине гораздо глубже проблемы эпохи и ее атмосферу, чем это делалось до сих пор.

2) Конечно, я знаю Горького и многих из названных вами более молодых авторов. Все они вызывают во мне глубокий интерес.

3) Мне кажется, что позиция, которую занимает в целом русская литература по отношению к жизни, и в новом обществе существенно не изменилась. Быть может, это является только впечатлением иностранца, от которого ускользают частности. Как и раньше

ше, я замечаю то же социальное критическое отношение и ту же склонность к сатире, благодаря которым русская литература достигла такого поразительно сильного влияния.

4) Влияние сказывается здесь особенно в тех областях, которые близки к жизни масс, как, напр., в кино и в постановках закрывшегося теперь театра Паскатора.

5) Я всегда считал невозможным чистый индивидуализм в литературе, считая себя и всякого писателя, который хочет иметь влияние, больше чем когда-либо связанным в настоящее время социальными и экономическими факторами.

Глубоко уважающий вас

*Генрих Манн.*

## IX. АРТУР ГОЛИТЧЕР

Уважаемый товарищ!

Ваше письмо от 3/XI я получил и отвечаю на вашу анкету следующее:

1) В настоящее время я работаю над романом-трилогией «Москва», «Берлин», «Нью-Йорк». Роман охватывает промежуток времени между последней и будущей мировыми войнами. «Москва» появится на немецком языке уже в апреле будущего года.

2) Я знаю и люблю новую советскую литературу и перечислю те беллетристические произведения, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление: «Тринадцать трубок» и другие произведения Эренбурга, «Костя Рябцев» Огнева, «Одесса» Бабеля, «Цемент» Гладкова, «Шоколад» Тарасова-Родионова, рассказы Фадеева, Катаева, Либединского, Сейфуллиной и Зозули.

3) Советская литература отличается от старой русской и современной европейской (не в такой мере, как от американской) тем, что молодые писатели раньше почерпнули свои переживания и материал из невероятно бурной жизни великой революции и эпохи ее защиты и только вслед за этим приступили к своей писательской деятельности, тогда как в сред-

нем молодой европейский писатель садится за письменный стол еще до того, как он что-нибудь пережил. Взамен этого он прочитал невероятно много и далеко не самого лучшего.

4) Октябрьская революция оказывает влияние только на одну часть современных писателей и главным образом на ту часть из них, которая является наиболее значительной и существенной для культурного развития всех стран. Расстояние между ними и другими писателями непрерывно увеличивается. Без глубокого ощущения в глубине сознания, в нервах, во всем аппарате творческой работы и продукции колоссального опыта Октябрьской революции, без желания усилить его и поделиться им, писатель творит в настоящее время несущественное, эфемерное, не имеющее никакого значения для будущего. Кто не проделал внутри себя морального, социального, политического и экономического переворота Октября 1917 г. и не проработал его, тот должен считать свою работу конченной.

С глубоким приветом, уважаемый товарищ.

*Голитчер.*

## X. ГЕРГАРТ ПОЛЬ

1) Как писателя, меня в данный момент интересуют все вопросы, которые возбуждает трудящаяся женщина, как определенный вид или проблема. Я начинаю работать над романом, который должен изобразить жизнь немецкой работницы на фабрике и ее развитие. Меня особенно интересует то несоответствие, которое существует между работой, идеологией и бытом трудящейся женщины, с одной стороны, и ее биологической связанностью — с другой. Как образы, меня интересует все то, что доходит через зрение, т.е. все пластическое. Я считаю кино великим учителем молодых писателей. Как критика, меня интересует «документальная» литература, создаваемая молодой Германией; мне кажется, она имеет будущее, так как использует действительность, как оружие.

2) Я знаком с творчеством Советского Союза в том объеме, в каком произведения были переведены на немецкий язык. Сильное и длительное впечатление произвел на меня «Цемент» Гладкова. Существенно сильнее, чем художественные произведения, интересует меня биографии Шаповалова, Нятинского и друг., так как они больше уясняют мне действительность, чем романы. Очень интересный стилист Бабель, выдающийся драматург М. Булгаков и великий поэт— можете побить меня камнями—Илья Эренбург. Я согласен с теми, которые его упрекают, но у него остается еще многое: человек, сердце и талант.

3) Русская современная литература отличается от литературы остального мира в одном пункте, имеющем, однако, кардинальное значение: в перспективе. Синклера, Барбюса и Бехера, т.е. сознательно революционных писателей, я не отношу к всемирной литературе, так как по своему количеству они представляют собою меньшинство, а по направлению идут «против течения».

4) Я знаю, что Октябрьская революция 1917 года была могучим знаменем, водруженным на пути свободы человечества. Она повлияла на все, все, все, а, следовательно, и на искусство Европы. Доказательства может с совершенной ясностью дать самый глубокий анализ.

5) Я считаю необходимым, чтобы творчески деятельный человек был во всех отношениях независимым, чтобы со стороны без всякой истории и искажения он мог говорить одну только правду. Художник не может «с волками жить—по волчьему быть», как в политике. Но каждый чуждый к своему времени человек,—а всякий творчески деятельный человек чуток к своему времени,—будет чувствовать связь с знаменосцами своей эпохи, а, следовательно, совершенный писатель—свою связь с пролетариатом. Быть в отдалении и одновременно ощущать связь—эти крайности здесь, сходятся.

*Гергарт Поль.*

## XI. РУДОЛЬФ КАЙЗЕР

На ваше дружеское письмо от 8 марта позволю себе попытаться ответить на вашу анкету:

1) В настоящее время я работаю над различными очерками на литературные темы и занят подготовкой современного романа, тема которого—интеллектуальная личность среди общества сегодняшнего дня.

2) Я знаком с большим количеством произведений новой советской литературы и лично с некоторыми авторами. Наиболее глубокий интерес вызывают у меня Бабель, Эренбург, Иванов и некоторые другие.

3) Как бы то ни было, мне кажется, что современная русская литература и по своим мотивам и по своему художественному оформлению отличается от старой русской и от европейской литературы.

4) Существенного художественного влияния русской Октябрьской революции на заграницу я не усматриваю.

5) Экономическая независимость писателей, как и всех творчески деятельных людей, несомненно, крайне желательна.

С глубоким уважением

*Рудольф Кайзер.*

## XII. КНУТ ГАМСУН

Отвечаю на ваше любезное письмо: На вопрос 1.

Земледелие, которым должны были бы интересоваться все писатели, так как земля кормит всех людей.

На вопросы 2, 3 и 4.

Так как я не умею читать по-русски, то вынужден читать переводы. Единственный перевод из новой русской беллетристики, который мне попался, это «Цемент» Гладкова. Книга исключительно талантлива, но действует, как молния.

На вопрос 5.

В течение так называемого «натуралистического» периода подобные вещи были желательны, даже необходимы. Я никогда не принадлежал к этому направлению.

Преданный вам

*Кнут Гамсун*

## XIII. АЛЬФОНС ПАКЕ

На вашу анкету отвечаю вам следующее:

1) Я недавно закончил пьесу, посвященную личности Элеоноры Дузе. В настоящий момент я работаю над звучащим фильмом «Мелодия мира», под режиссурой Рутмана, которому принадлежит известный фильм «Берлин». Для этого звучащего фильма, как и для других, я написал текст для массовой декламации. Звучающий фильм таит в себе большие творческие возможности.

2) Я знаком с некоторым количеством произведений советской беллетристики, но это только часть тех писателей, которых вы называете. Конечно, я лучше всех знаю Горького, а из более молодых меня интересуют больше всех те писатели, которые идут от Горького.

3) Современная русская беллетристика, несомненно, отличается от беллетристики старой России, но она была бы невысказанной без этой предшествующей стадии. В отношении выбора и разработки материала современная русская литература сильно и разносторонне отличается от литературы других стран, и прежде всего своей пролетарской основой.

4) У меня такое впечатление, что Октябрьская революция 1917 года в отношении культурном и художественном оказала свое влияние на другие страны и особенно большое влияние на молодую немецкую литературу. Мои драмы «Знамена» и «Бурный вал» без Октябрьской революции не были бы написаны.

5) В отличие от многих западноевропейских писателей более старой школы я не считаю необходимым, чтобы творческая деятельность писателей развивалась независимо от современных ему явлений социально-экономического порядка. Но в значительной части я считаю это возможным, не представляющимся, однако, желательным, так как без теснейшей положительной связи с явлениями социально-экономического порядка рождаются фантастические образы, вызывающие одну только путаницу.

С глубоким уважением *Альфонс Паке.*

## XIV. ЛЕО ПЕРУТЦ

Я получил вашу чрезвычайно интересную анкету, ответить на которую мне, несомненно, доставило бы большое удовольствие. К сожалению, у меня нет для этого времени. Я должен закончить новый роман, чтобы у меня снова могли его украсть издатели Советской России. В возможности такого воровства у работника умственного труда диктатура трудящихся масс и те десять дней, которые потрясли мир, ничего, по видимому, не изменили.

Этим, думаю, я приблизительно ответил хотя бы на один из ваших вопросов, а именно на четвертый.

С выражением моего особого уважения

Весьма преданный вам

*Лео Перутц.*

## XV. ДЖОН ГЭЛСУОРСИ

Я хотел бы возможно полней ответить на ваши вопросы.

1. Это — вопрос, на который я никогда не отвечаю, предпочитая, чтобы мое произведение само за себя говорило, после того как оно написано.

2. Я боюсь, что я не знаю ни одного нового произведения русской литературы. В Англии почти невозможно с ней познакомиться. Поэтому я не могу ответить на вопрос.

Что же касается вопроса 3-го, то я не думаю, что революция 1917 года оказала какое-нибудь влияние на культуру или искусство в Англии, о других же странах я не могу судить.

4. На этот вопрос всего трудней ответить. Духовная независимость писателя — его наиболее драгоценное достояние. Трудно определить, до какой степени на эту духовную независимость подсознательно влияет окружающая среда. Во всяком случае, до известной степени должна влиять, главным образом, по-моему, через чувство возмущения и критические способности, так как недостатки окружающего всегда производят наиболее сильное впечатление на сознание.

*Джон Гелсуорси.*

## 2. ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(К столетию революции 1830 г.)

Ю. Данилин

27—29 июля текущего года исполняется столетие июльской революции. Родившись во Франции, она своими отзвуками наполнила всю Европу и вызвала ряд восстаний в Бельгии, Польше, Италии и Германии. Роль ее тем значительна, что июльская революция и ее последствия чрезвычайно многим способствовали пробуждению классового самосознания европейского пролетариата, который смог благодаря этому принять активное участие в февральской революции 1848 г., в то время как в июльской революции, сделанной руками мелкой буржуазии и ремесленников, участвовали лишь немногочисленные его представители.

Предпосылки июльской революции восходят еще к революции 1789—1794 гг. Великая Французская Революция, вызванная к жизни промышленным переворотом, потребностью уничтожения старых производственных отношений, препятствовавших благоприятному развитию производительных сил, ознаменовала собою подъем широких слоев средней и мелкой буржуазии. Трехцветное знамя революции пело о восторге победившей буржуазии. Империя Наполеона со всем гигантским пафосом ее завоевательных тенденций была лишь борьбою за упрочение буржуазно-капиталистических порядков, установившихся во Франции, и за внедрение их в других странах Европы.

Эпоха Реставрации, сменившая Первую Империю, ознаменовалась диким разгулом дворянско-католической реакции. Бурбоны и эмигранты, изгнанные революцией, вернулись во Францию после 25-летнего отсутствия, «ничего не забыв и ничему не научившись». Вернувшиеся эмигранты кипели ненавистью к революции, видя свои разоренные или сожженные замки и чужих хозяев на своей земле. Начался белый террор, в котором особую свирепость проявили крайние правые группы дворянства, так наз. «ультра-роялисты». Банды последних

ворвались в Пантеон, куда по приказу конвента были перенесены останки Вольтера и Руссо, и выбросили прах гениев XVIII века в яму с известью. Ультра-роялисты добились, чтобы остававшиеся в живых члены конвента, подписавшего смертный приговор Людовику XVI, были исключены из амнистии, настояли на расстреле наполеоновских генералов, перешедших в эпоху «ста дней» на сторону императора, преследовали офицеров и даже солдат Великой армии. Они же, составив в 1815 г. большинство в палате, провели отмену развода, требовали упразднения университетов, возврат национальных имуществ, учреждения чрезвычайных военных судов и т. п. Секретарь прусского короля Ломбар писал об ультра-роялистах: «Если предоставить им свободу и возможности, Франция очень скоро будет превращена в страшное кладбище». В свою очередь философы реакции—Ж. де Местр и Бональд ополчились на бывшее свободомыслие и скептицизм, превозносили католическую церковь и восславляли личность палача, «сосуд божественной премудрости».

Но как ни свирепствовали ультра-роялисты, мечтая о восстановлении дореволюционного старого режима, они не могли не чувствовать, что их старания обречены на неудачу, что прошлое невозвратимо и невосстановимо. Людовик XVIII вынужден был под давлением союзников, опасавшихся новых революций, «даровать народу» конституцию и даже подтвердить неизбежность прав владельцев национализированных земель. Кроме того, самый режим реставрации опирался не на дворянство только, а покоился на компромиссе между крупным дворянским землевладением и верхушками индустриально-финансовой буржуазии.

В этой атмосфере недовольства настоящим, тяги к прошлому и неверия в возможность возрождения дорево-

люционного строя Франции и рождается дворянский романтизм, доминирующий в литературе первой половины 20-х гг. Романтизм, стиль переходной эпохи, эпохи становления промышленного общества, является, вообще говоря, стилем мелкобуржуазным; то же обстоятельство, что ранний французский романтизм оказывается дворянским, объясняется господствующим в эту эпоху положением дворянства, субъекта реакции, объектом которой являлась в частности мелкая буржуазия, хранившая традиции революционной эпохи и бонапартизма.

Стиль дворянского романтизма, утверждавшийся такими писателями, как Ламартин, Альфред де Виньи, виконт д'Арленкур, Жюль де Россегье, а еще ранее их Шатобрианом, отличается характерным отращением к действительности, где совершаются ужасные и безбожные революции, мрачным пессимизмом, экзальтированными порывами к небу, влечением к экзотике патриархальных экономически отсталых стран, к дореволюционному прошлому, потребностью ухода вглубь веков, в феодальное средневековье, к эпохам первых мучеников христианства и даже библейских пророков. Характерными жанрами дворянского романтизма являются элегия, историческая поэма с нередкими религиозно-библейскими мотивами и исторический роман.

Нет возможности в пределах настоящего очерка показать, как совершалась борьба различных классов за жанры; придется ограничиться одним только примером. В 1819 году Шарль Нодье, мелкобуржуазный писатель, издал исторический и разбойничий роман «Жан Сбогар», не лишенный некоторых отголосков революции. Несмотря на ловкую рекламу Нодье, который сначала отказался от авторства, а затем признал его, когда кем-то (по всей вероятности, им самим) был пущен слух, что Наполеон зачитывался этим романом на острове св. Елены, несмотря на все это, «Жан Сбогар» выдержал только два издания. Зато исторический мистико-средневековый роман д'Арленкура «От-

шельник», вышедший в 1821 году, имел 27 изданий. В образе героя «Отшельника», одинокого, загадочного персонажа, с явно дворянской метрикой, который внушает всем страх и способен, храбрый, разбить целый отряд солдат, закрепилась психология самовозвеличения, свойственного французскому дворянству в период его зыбких надежд на возможность реставрации старого режима. Понятно, что в эпоху господства реакционного дворянства не мог иметь успех исторический роман с реминисценциями революционной эпохи, типа «Жана Сбогара», и жанр был захвачен писателями дворянства, один из которых, Альфред де Виньи, создал в 1826 г. первый исторический роман, написанный по всем правилам романтического канона — «Сен-Марс».

По мере роста дворянско-католической реакции крупная и мелкая буржуазия концентрировали в себе оппозиционные настроения и потребности к отпору. На первых порах этот процесс совершался приглушенно. Крупная буржуазия, экономическая мощь которой была в значительной степени распатана кризисами и бесконечными войнами Империи, еще только начинала оправляться. Мелкая буржуазия, преимущественный объект реакции, переживала социально-политическую депрессию, настолько глубокую и испуганную, что дворянство без особого труда перевоспитывало в своем духе некоторых ее писателей. Это мы видим на примере Виктора Гюго, типичного мелкобуржуазного писателя, который в начале своей деятельности находился в плену у дворянского романтизма. В 1822 году Гюго выпускает «Оды и баллады», где заявляет, что история представляется ему поэтичной лишь с точки зрения монархических и христианских идей; в 1823 году выходит его исторический роман «Ган Исландец», являющийся положительно стопроцентным дворянским произведением: буржуа трактованы здесь отрицательно и карикатурно, дворяне превознесены, разбойник изображен чудовищем, восстание рудокопов мотивировано, как провокация.

Тем не менее в эти же годы пер-вых книг Гюго мы видим образова-ние кружка писателей, собиравшихся под руководством Стендаля у роман-тика Штаффера, архитектора Виолле де Дюка и его родственника Деле-клюза. Если в знаменитом сенакле Нодье сходились писатели дворянско-го романтизма, то в этом кружке об-щались представители бонапартист-ской интеллигенции, выработавшие стиль социально-протестующего ро-мантизма, в основном мелкобуржуаз-ного. Писатели этого кружка—Стен-даль, Мериме, Вите, Диттмер, Каве, Леве-Веймар—на первых порах созда-ют и разрабатывают шекопиобразный жанр исторической драмы-хрони-ки, которая впоследствии окажет сильное влияние на романтическую драму, на исторический роман Мери-ме и на все творчество Стендаля. Эти же писатели принимаются за разра-ботку социально-психологического ро-мана и новеллы, жанров, не имею-щихся в дворянском романтизме.

Известнейшие произведения, вы-шедшие из кружка Стендаля, прихо-дятся на вторую половину 20-х го-дов, пока же около середины 20-х го-дов этот кружок ограничивался толь-ко предварительной разработкой исто-рической драмы-хроники, тяготевшей к изображению революционных эпох (крестьянские восстания, Лига и фронтда, эпоха Кромвеля, Великая Французская Революция), обладавшей многими реалистическими чертами, но остававшейся неспениченной «драмой для чтения». Важно, однако, что око-ло 1825 года этот кружок уже суще-ствовал как центр оппозиционных, мелкобуржуазных писательских групп, знаменуя собою потребность крупной и мелкой буржуазии к отпору реак-ции и оказывая определенное органи-зующее влияние на писательскую массу. Бесспорным свидетельством последнего является наличие двух концепций в романе Гюго «Бют-Жар-галь» (переработка 1825 года): одна из них, наружная, официальная, ми-микринно-дворянская, имеет дело с благородными дворянами-монархиста-ми, глупыми болтунами-республикан-цами и с кровожадным представите-

лем конвента; другая, настоящая, мелкобуржуазная, затаенно-оппозици-онная, негрофильская, является идеа-лизацией благородного разбойника. Благородные разбойники, выступав-шие на амплуа социальных протес-тантов, были весьма популярны в театре эпохи революции, но разбой-ник Нодье в пору обостренного раз-гула дворянско-католической реакции и устрешенной депрессии мелкой бур-жуазии успеха, как мы видели, не имел. В дворянских романах д'Арлен-кура герои или победоносно борются с разбойником-чудовищем, или заста-вляют его каяться и выходить на стезю добродетели. Но вот мелкая буржуазия начинает поднимать голо-ву, и разбойник появляется снова, робко еще сначала, чтобы затем в начале 30-х годов занять почти при-вилегированное положение в литера-туре бунтующего мелкобуржуазного романтизма. Отход Гюго от дворян-ского романтизма продолжается и в его драме «Кромвель», написанной в 1826 году, где Гюго, правда, еще игнорируя революцию, казнящей монар-хов, где он еще расточает компли-менты благородству иных представи-телей дворянства, но где воображение его уже целиком поглощено мощной фигурой Кромвеля, наделенной рядом наполеоновских черт.

Так переламывался Гюго, переходя от реакционного дворянского романи-зма к романтизму мелкобуржуазно-му, политически-оппозиционному и социально-протестующему. Рост оппо-зиционных настроений среди широ-ких слоев крупной и мелкой буржуа-зии, обусловивший эту перемену Гю-го, продолжался еще с большей си-лой во вторую половину 20-х годов. В 1824 году, после смерти Людовика XVIII, французский престол занял Карл X, духовный глава ультра-роя-листов, сторонник крайней правой по-литики. При нем чрезвычайно усили-лась деятельность церкви и иезуитов. но главнейшим актом политики Кар-ла X, заслужившим горячую благо-дарность эмигрантов, была произве-денная им выплата миллиардной суб-сидии в качестве компенсации дво-рянству за национализированные зе-

мили. Правительство добыло этот миллиард путем займов и «конверсии», т. е. понижения процента, выплачиваемого по государственным бумагам с 5 до 3. Эта мера ударила по карману всех рантье из мелкой и средней буржуазии, и без того уже недовольных воцарением «короля эмигрантов» и реакционным кабинетом Виллеля. В 1827 году Париж впервые со времен фронды увидел на своих улицах баррикады. Организовывалась республиканская партия.

В литературе второй половины 20-х годов все явственней начинает определяться преобладающее положение мелкобуржуазного романтизма. Жанры этого романтизма предстают в лучших своих образцах: историческая драма-хроника—в трилогии Вите «Лига» и в «Жакерии» Мериме; социально-психологический роман разработан Стендалем в «Арманс» и «Красном и черном»; новелла получает прекрасное выражение в творчестве Мериме. Все эти произведения или ориентируются на революционные эпохи, или полны бунтующего антидворянского пафоса, или утверждают культ силы и мужества. Особенно любопытно, что Мериме, не располагая для «Жакерии» иным материалом, кроме хроники Фруассара, понял чутьем представителя революционно-настроенного класса подлинные соотношения изображаемой эпохи и совершенно отбросил тот феодально-дворянский угол зрения, под которым осветил события Фруассар.

События разворачивались таким быстрым темпом, что дворянские писатели не могли угнаться за ними, не успели вступить в бой за жанры, которые принес с собою мелкобуржуазный романтизм. Между тем в кругах последнего рождается новый жанр, один из знаменитейших жанров романтизма—романтическая драма. Ее уже подготовляла историческая драма-хроника, к ней сделал первый шаг Гюго в «Кромзеле», но подлинная романтическая драма родилась только в 1829 году, в пьесе Дюма-отца «Анри III и его двор» и в пьесе Гюго «Марион де-Лорм». В этих драмах прежняя неценничная,

книжная, историческая драма-хроника сочеталась браком с бурной, вульгарной и бесконечно-жизнерадостной мелодрамой, — и успех антидворянской пьесы Дюма был весьма велик. «Марион де-Лорм» была запрещена цензурой к постановке: здесь представлял в отрицательном изображении король Людовик XIII (в котором сверх того цензура усмотрела карикатуру на Карла X), его министр и придворная знать, а Марион, идеализированная куртизанка, в последнем акте обращалась со сцены к зрительному залу с призывом протестовать против казни Дидье, жертвы деспотического приговора. И в это время, когда Дюма и Гюго создавали такой актуальный жанр, как романтическая драма, обращая ее острие против дворянства, дворянские писатели еще не пришли к драматургическому творчеству, и Альфред де Виньи только еще переводил Шекспира, которого давно уже переварила и освоила мелкобуржуазная историческая драма-хроника.

Дворянские писатели не поспевали за мелкобуржуазными, а последние вели с ними борьбу уж за овладение самими дворянскими жанрами. Если в начале 20-х годов дворянские писатели отбили жанр исторического романа у Нодье, то теперь мелкобуржуазные писатели брали реванш: «Хроника царствования Карла IX» Мериме, повествующая об ужасах религиозного фанатизма, и последующий «Собор Парижской Богоматери» Гюго доказывали, что исторический роман захвачен в постоянное и преобладающее владение мелкобуржуазным романтизмом. В свою очередь она, в которой полагалось воспевать одних Бурбонов, оказалась приспособленной Гюго к воспеванию Наполеона, и ей предстояло затем переродиться в гимн, превозносящий борцов июльской революции.

Это необычайно быстрое разворачивание и активное нападение мелкобуржуазных литературных сил свидетельствует о высокой температуре, свойственной социально-политической жизни конца 20-х годов. Правительство Реставрации забыло, что оно за-



висит не только от дворянства, но и от крупной буржуазии, и решительно переходило на сторону земельной аристократии. Отныне все группы крупной, средней и мелкой буржуазии становились противниками режима Реставрации и выступали против него единым фронтом. Классовая борьба достигала резчайшего обострения. Свою «Марион де-Лорм» Гюго написал как будто в виде вызова Альфреду де Виньи: последний в «Сен-Марсе» представил Марион презренной шпионкой Ришелье, а короля—добрым, скучающим и непостоянным монархом; Гюго изобразил Людовика XIII просто слабоумным и противостоил всему отрицательно трактованному придворно-дворянскому миру идеализированную кургузку, облагороженную своей любовью. И если до сих пор Гюго и Виньи были близкими друзьями, несколько спорившими за поэтическое первенство, и предпочтение в середине 20-х годов довольно долго отдавалось Альфреду де Виньи, то теперь, в этом же 1829 году, Гюго резко разрывает дружеские отношения с автором «Сен-Марса». В накаленной, предреволюционной обстановке 1829 года Стендаль создает «Красное и черное», агитирующе показывая в этом романе гибель молодого, даровитого представителя мелкобуржуазной интеллигенции, который при революции, при Наполеоне, мог бы сделать ошеломительную карьеру, но теперь, в эпоху дворянско-поповской реакции, при попытке штурмовать высоты жизни обит, повержен, брошен в тюрьму и казнен. Роману своему Стендаль дал подзаголовок «Хроника 1830 года», и он почти предсказал неизбежность прихода июльской революции, которая открыла бы вновь дорогу всем энергичным и честолюбивым Жюльенам Сорель.

В 1829 году Карл X составил министерство из крайних правых элементов во главе с эмигрантом Полиньяком, членом католической конгрегации, который в своей политической деятельности руководствовался внушениями, получаемыми во сне от богородицы. Повинуясь приказам по-

следней, необыкновенно последовательно и настойчиво призывавшей его произвести государственный переворот в сторону установления режима абсолютной монархии, Полиньяк обнародовал 26 июля 1830 года четыре указа, которые вносили новые ограничения избирательного права, распускали палату и вводили систему предварительных разрешений для печати. В ответ на эти указы, при нерешительных разговорах буржуазных представителей палаты о «легальном сопротивлении» парижские либеральные журналисты, выпустили коллективный протест, указывая, что будут попрежнему издавать газеты явочным порядком. Это было сигналом к восстанию. На следующий день парижская мелкая буржуазия, ремесленники, студенты и рабочие, руководимые республиканской партией, преградили баррикадами извилистые улицы восточных кварталов Парижа и повели наступление на ратушу и Тюльерийский дворец. Поэт Барбье закрепил в своих мощных, влокающих «ямбах», полных порохового дыма и отвеса оружейных выстрелов, события этих уличных боев:

Ложился солнца луч по городским громадам

И плиты улиц тяжким зноем жег;  
Под звон колоколов свистели пули градом

И рвали воздух вдоль и поперек.  
Как в море вал кипит, лучам подвластный лунным,

Шумел народ мятежною толпой,—  
И пушек голосам, зловежным и чугунным,  
Песнь Марсельезы вторила порой.

Средь узких улиц здесь и там мелькали  
Мундиры, каски и птыки солдат,  
И чернь, под рубищем храня сердца из стали,

Встречала смерть на грудах баррикад;  
Там люди, сжав ружье, рукой от крови склизкой,

Патрон скусивши задымленным ртом,  
Что издавать привык лишь крики брани низкой,

Взывали: граждане, умрем!

Но войска, оказывавшие вначале сопротивление, перешли под конец на сторону восставших, монархия Бурбонов и дворянско-католической реакции была низвергнута, в три дня все было кончено, пришла свобода. Поэтическому взору Барбье, она, эта свобода, предстала не в виде «гра-

фини из благородного Сен-Жерменского предместья, набеленной и парумяненной, падающей в обморок от одного крика». Нет, свобода—это женщина из народа, с полными грудями, с резким голосом и грубой прелестью: кожа ее темна, в глазах огонь; ее движения быстры; она не боится народных криков, кровавых стычек, запаха пороха, барабанного боя, глухого рева пушек и набата; она любит простой народ; она отдается тому, кто силен, у кого руки еще в крови».

Дня Бастилии, топча ногою троны,  
Горячей девой к нам пришла она,  
И весь народ, пять лет любовью распаленный,  
С ней тешился без отдыха и сна!  
Но ей наскучило быть грубых ласк приманкой  
И сбросила она под гром побед  
Фригийский свой колпак и стала маркитанткой,  
Любовницей катрала в двадцать лет.  
И вот теперь она, прекрасная, нагая,  
С трехцветным шарфом к нам опять пришла,  
И, слезы бедняков несчастных отирая,  
В их души силу прежнюю влила.  
В три дня ее рукой низвергнута корона  
И брошена к народу с высоты,  
В три дня раздавлено величие трона  
Под грудой мостовой плиты!

Чрезвычайно важно, что мелкобуржуазный поэт Огюст Барбье представлял себе свободу именно только в виде эротического образа грубой и мощной прелестительницы, народной Венеры, «отирающей» мимоходом «слезы бедняков несчастных», но в основном выполняющей совсем иную функцию. Мелкая буржуазия, совершившая июльскую революцию, не имела никакой политической программы и стремилась единственно к свержению ненавистных Бурбонов и реакции. Теперь, думала она, должна была произойти только новая Реставрация, реставрация той, полной героических преданий, буржуазно-капиталистической Франции, которая уже сложилась в эпоху революции и Первой Империи. Теперь возвращалась та буржуазная свобода, которая выпорхнула из-за чугунных оград Бастилии, которая распевала и отплясывала Карманьолу на парижских площадях, любуясь голубой кровью цезарей, брызгав-

шей из-под косого ножа гильотины, та свобода, героическая маркитантка, которая исколесила в своей повозке всю Европу за победоносными армиями Наполеона. С нею приходило счастье, устанавливался правильный общественный порядок,—и не нужно уже было думать и заботиться о чем-либо, кроме наслаждения.

Многочисленные мелкобуржуазные писатели вышли на баррикады оптимистически приветствовать эту свободу и бороться за ее приход. На этих баррикадах мы видим Фредерика Сулье, Александра Дюма, Феликса Арвера, Альфреда Таттэ; поэт Жорж Фарси в июльских боях был убит. За Огюстом Барбье июльскую революцию воспели и другие мелкобуржуазные поэты, как Виктор Гюго, Петриус Борель, Антони Дешан, Бартеlemi. В грохоте июльских боев родился новый жанр мелкобуржуазного романтизма—жанр социальной лирики, полной бурного социально-политического пафоса, приветствовавшей освободительные национальные движения в Европе, обращавшейся к богачам с призывом о помощи беднякам, но только не обращавшейся к беднякам с призывом улучшить свое социальное положение в порядке революционной самодетельности. Во власти мелкобуржуазного романтизма находится и театр, где после шумного предреволюционного успеха «Эриани» Гюго уже прочно, незыблемо утвердилась романтическая драма. Театр наводнен бонапартистскими драмами, пьесами из истории Великой Французской революции, воскресенным репертуаром 1793 года, антиклерикальными и антидворянскими пьесами, агитдрамами на сюжет июльской революции, негрофильскими пьесами, пьесами на тему о революционном движении в Ирландии, Польше, Греции и т. д.

В то время, как мелкобуржуазные писатели торжествовали и пели песни победы, еще не успев разобраться в последствиях и результатах того, что власть оказалась захваченной крупной буржуазией, которая возвела на французский трон «короля-банкира» Луи-Филиппа, представителя ли-

беральной Орлеанской ветви Бурбонского дома,—дворянские писатели отнеслись к революции враждебно и сокрушенно. Во время уличных боев Альфред де Виньи сидел дома, выжидая, что король появится в бунтующем городе на белом коне, как в старое время, чтобы призвать к порядку своих добрых парижан; в этом случае Виньи рассчитывал к нему присоединиться в качестве верного дворянина и бывшего гвардейского офицера. Но Карл X был достаточно благоразумен, чтобы ездить на белом коне по революционному Парижу, и Виньи горестно заносит в свой дневник: «Пятница, 29 июля. Они не приходят в Париж, а за них умирают! О, раса Стюартов!» Ламартин отказывается после революции от службы на дипломатическом поприще и уезжает на Восток, путешествовать. Жюль де Россегье, «опечаленный позицией некоторых своих литературных друзей»,—как пишет его биограф, имея в виду мелкобуржуазных писателей, полных антидворянского пыла,—меланхолически уезжает в Испанию; через год он вернется в Париж, но, увидев, что революция устлила глубокие корни, разочарованно уедет из столицы окончательно и погребет себя в фамильном замке, переписываясь только со своею знатной светской и духовной родней. Старый Шатобриан не пишет больше и как будто отказывается от всякой социально-политической деятельности, предпочитая величественно пребывать на ампула полубога в салоне г-жи Рекамье, но не может отказаться от участия—хотя бы платонического—в легитимистском заговоре герцогини Берийской.

Литература дворянского романтизма 30-х годов отражает эти подавленные социальные настроения. Виньи не мечтает уже больше о реставрации феодализма, за что он боролся когда-то в «Сен-Марсе», и убеждает себя, что судьба дворянства есть судьба всех избранных человечества, всех поэтов, полководцев, пророков и жрецов. Но подчиняясь с покорностью этому высшему закону гибели всего великого и благородного, Виньи не отка-

зывает себе в земном желании помазать слежка дегтем ворота революции. В новелле «Капитан Рено или камышевая тросточка» этот писатель оказывается не на стороне баррикадных бойцов, а на стороне офицеров Карла X, обязанных подавить революцию; вся июльская революция предстает здесь в образе трусости взрослых подлецов, посылающих мальчугана выстрелить из пистолета в благородного и храброго капитана Рено, который, христианин и рыцарь, гибнет, прощая мальчугана и оберегая его от расправы возмущенных солдат. Не менее ярким контрреволюционным произведением является последний роман виконта д'Арленкура «Живодеры или узурпация и чума», вышедший в 1832 году, в год холерной эпидемии. Автор-легитимист агитирует своих читателей в пользу Бурбонов. Он оплакивает «великий народ», попавший в лапы «узурпатора» Луи-Филиппа, и предлагает читателям поразмыслить над тем, что пример подобной узурпации был уже в 1418 году, и разъяренное небо наслало тогда на Париж чуму.

Крупная индустриально-финансовая буржуазия, стремившаяся в 20-х годах свергнуть Бурбонов и захватить власть, расстается со всеми своими былыми оппозиционными настроениями после июльской революции. Захватив власть, она становится теперь опорой и защитницей существующего порядка. Она стремится к созданию богатой и сильной буржуазной монархии, она хочет мирно обогащаться и с неудовольствием констатирует, что социальное возбуждение, рожденное июльской революцией, еще не утихло. Наоборот, на следующий же день после восшествия на престол Луи-Филиппа возобновилась активная пропаганда республиканцев, в 1831 г. произошло восстание ткачей в Лионе, Париж из года в год стал покрываться баррикадами, повторялись покушения на короля, бонапартисты и легитимисты агитировали против монархии Луи-Филиппа, широко разливались социальные учения. И как бы эквивалентом всех этих беспокойных социальных настроений, рожденных

недовольством мелкой буржуазии и пролетариата, обманутых исходом революции, был романтизм, стиль, в драмах и романах которого на каждом шагу совершались преступления, убийства, насилия, кошмарные поступки, преследование добродетели, торжество порока, восславление свободной любви, шревознесение разбойника и куртизанки. Крупная буржуазия не желала больше ни этой «галванической и конвульсивной» литературы, ни тех произведений, где авторы возбуждали настроения недовольства и мятежа, хотя бы под видом нападения на дворянство. В 1833 году один журналист из лагеря крупнобуржуазной прессы рассуждал так: «Аристократии и духовенства больше не существует, их место заняла теперь нация или, если хотите, буржуазия; история, следовательно, стала буржуазной. Если роман хочет быть правдивым, он должен поступить, как история». Таким образом, крупная буржуазия, отвергая романтическую литературу, желала иметь добротный, назидательный, семейно-буржуазный роман для безмятежного потребления на сон грядущий. Она хотела, чтобы в этом романе писатель славословил ее маленькие буржуазные добродетели, ее буржуазную мораль, поэтизировал круг ее воззрений и нормы поведения. Писатели крупной буржуазии, наконец, нашлись: это были Поль де Кож, Скриб и Казимир Делавинь, тот самый, к дому которого любил под'езжать молодой Флобер, осыпая хозяина через забор романтической бранью.

Буржуазная реакция, складывавшаяся между 1833—35 гг., вскоре выступила во всеоружии законов против ассоциаций и печати, против уличных сборищ и оскорблений особы короля, против деятельности республиканцев и тайных обществ. Политическая свобода, обещанная в 1830 году, оказалась фактически уничтоженной. Однако, рост буржуазной реакции, подчинявшей себе некоторые умеренные группы мелкой буржуазии (жанр социальной лирики у Гюго встречается в последний раз в сборнике «Песни сумерек» 1835 г.), сопровождался, как

всегда, отпором и противодействием со стороны различных классов. Дворянство, пессимистические настроения которого лишь усиливались по мере упрочения буржуазной монархии, ответило на реакцию драмой Виньи «Чаттертон», патетическим образом молодого поэта, гибнущего среди непонимающих его тупых и грубых денежных мешков. Аристократическая золотая молодежь (Альфред де Мюссе, Роже де Бовуар, Альберик Сежон и др.) яростно нападала на буржуазию с дворянских и легитимно-монархических позиций, пользуясь жанрами антибуржуазной байронической поэмы, полной эротико-сатанических мотивов, и френетического романа. Наполеоновское дворянство дает чрезвычайно резкую сатиру на финансовую буржуазию в повести Стендаля «Федер или денежный брак»; Стендаль, оскорбленный исходом революции, с презрением отвергается от изображения французской действительности и меланхолически ищет в Италии XVI века и современной Италии, продолжающей бороться за свою национальную независимость, тех сильных и мужественных людей, которые были бы похожи на любимых им «способных людей 93 года». Протест против вульгарного облика и грубого утилитаризма крупной буржуазии растет и в молодых кругах аристократизирующейся буржуазии, «золотой ботемы», где Теофиль Готье, полный ненависти к «зобастым кретинам», задорно возглашает лозунг «искусство для искусства». Восставая, однако, против буржуазной реакции 30-х гг., все эти писательские лагеря (исключая Стендаля) объединяются с буржуазной реакцией, как только почувствуют в 40-х гг. угрозу поднимающегося к февральской революции пролетариата.

Против буржуазной реакции выступают и левые группы мелкобуржуазной интеллигенции. Выступает богеменная группа бузенго, объединявшая представителей беднейших слоев мелкобуржуазной интеллигенции, и полная анархических выкриков, насыщавших возбужденную социальную лирику Филоте О'Недди и френети-

ческую новеллу Петрюса Борель, стиль которой подобен зубовному скрежету. Республиканские круги мелкобуржуазной интеллигенции, чувствуя потребность в создании нового популярного жанра для активного нападения на буржуазный строй, создают усилиями Фредерика Сулье жанр авантюрно-социального романа-фельетона, оплодотворенного старую мелодрамой. Наконец, социалистически настроенная интеллигенция в лице Жорж Занд и Эжена Сю, осваивает в начале 40-х годов жанр романа-фельетона для пропаганды фюреристских или христианско-социалистических идей.

Буржуазная реакция вызывает и к противодействию пролетариата. Наступление крупного капитала в 30-х гг. способствовало прежде всего численному увеличению кадров рабочего класса. Лионские восстания 1831 и 1834 гг., капиталистическая эксплуатация, экономическая нищета и социальная бесправие, сталкиваясь с активной деятельностью республиканцев, а также представителей утопического социализма и коммунизма, способствовали пробуждению классового самосозна-

ния пролетариата. В 30-х годах его шаги еще робки и голос неуверен. Но его первые поэты, предтечи рабочих поэтов 40-х гг. Берто и Вейра сложили свои ранние песни в Лионе, как непосредственный отклик на восстание 1831 года. К ним присоединится впоследствии, в рядах нищей богемы 30-х гг., еще один поэт-пролетарий Эжезипп Моро. Социальная лирика этих поэтов, острота которой било в устои буржуазного общества, еще засорена шлаком религиозно-библейских наслоений. Но сквозь чад церковного ладана эти поэты, погибавшие к тридцати годам от нищеты, голода и чахотки, умеют провидеть осиянные дали будущего. Они являются первыми певцами пролетариата, воспевающими величие труда и пророчащими гибель буржуазно-капиталистическому строю. И они оказываются первыми, неуверенными еще глашатаями как февральской революции, где французский пролетариат был в конце концов обманут, предан и разгромлен в июньской резне, так и той победоносной пролетарской революции, которая впервые в мире произошла в нашей стране в октябре 1917 года.

### 3. НОВЫЙ РОМАН О РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Августа Рашковская

Роман М. Козакова «Девять точек»\*) — почти непосредственный отклик на общественные не отшумевшие еще и волнующие разговоры и споры о судьбах русской интеллигенции. Роман этот знаменателен и для самого Козакова, вступающего на ответственный путь мастера и общественника. В самом деле, при всей традиционности этого типичного романа идей, медленно разворачивающегося и не готовящего читателю никаких дерзких неожиданностей, самая установка, установка социально-общественная (вместо привычной семейной и семейственной) есть уже завоевание

на том фронте создания социального романа, на котором много сражаются и мало завоевывают. И в этом отношении, уступая в других, М. Козаков на более верном пути, чем его собратья по ремеслу и теме—Олеша, Федин, Сельвинский, Ал. Толстой, создавшие романы об интеллигентах, но не об интеллигенции. Ведь недаром каждый из этих писателей дал в своем герое тип повышенный, сгущенный, максимальный, даже Кавалеров по-своему исключителен, не говоря уже о Полуярове и Никите Кареве. Козаков заметил шелегкую задачу — раскрыть несколько страниц биографии общества. Этому замыслу подчинен сюжет—в один узел стянуты различные возрастные и классо-

\*) М. Козаков, «Девять точек». Роман «Прибой». 1930 г.

вые слои русской дореволюционной интеллигенции. В узел, который окончательно развяжет или разрубит позднее революция. Здесь все личное раскрывается в аспекте общественного и социального плана. Даже самый отбор человеческих, точнее классовых особенностей, персонажей романа—целесообразен. Этим отбором Козаков хочет разрушить легенду о существовании надклассовой, обособленной группы. Оттого в хитросплетениях сюжета мелькают так много действующих лиц, имеющих лишь косвенное отношение к роману. Оттого братья Карабаевы, связанные кровным родством, так подчеркнуты полярны: один, Лев Павлович, в молодости прошедший стаж народничества и искус «хождения в народ» и служения мужику, к моменту действия романа—член государственной думы, кадет, «петербуржец» по убеждению, теоретик партии, скользившей по ровной дорожке нежной разговорной оппозиции и так легко спавшаяся на крупном повороте истории (в момент объявления войны) с правительством. Да, этот бесспорен, этот—интеллигент каждым дюймоном своего тела. Но вот другой—крупный просвещенный промышленник, Георгий Павлович Карабаев, западник, хозяйственник и практик, идеолог либерализирующего российского капитализма, твердо знающий пути и цели своего класса.

Промышленник, купец, правнук Кит Китычей—интеллигент? Что это,—парадокс? Вызов? Вовсе нет. Просто необходимое образное подтверждение мысли автора о том, что каждый класс выделяет свою интеллигенцию. И когда автор внимательно проследит настроения и рост сознания Феде Калмыкова, то не психология индивидуальности интересует автора, а черты класса, общества, группы, воплощенные в образе этого юноши. У него, кстати, трудная роль «подростка», трудная и запечатленная в литературе недосказанными и забываемыми героями Достоевского—Алешей Карамазовым и «подростком». Федя Калмыков—это та молодежь, которая в Феврале и в Октябре творческой силой волеется в революцию. Социальные

искания, одухотворяющие юношу Калмыкова, переключаются с возникающей в нем любовью к женщине, и вот это второе и вторичное, введенное с целью оживить несколько схематический облик почти «идеального» Феде, не звучит: Федя бледноват и цепен. Он не похож на четкую и эффектно выписанную фигуру полицейского писаря Кандуши. Кандуша—новая материализация смердяковского духа. Интенсивна деталь кровного родства. Ведь если Алеша Карамазов—родной по крови брат Смердякова, то и гнусный Кандуша, филер по призванию—кровный, хотя и «незаконный», брат «чистого» Феде Калмыкова. Эта коллизия в 1-й книге, правда, не развернута, но очевидно, что автор создал ее неспроста.

Количество и отбор материала в «Девяти точках» говорят о том, что автор задался целью осветить все углы и закоулки предреволюционной русской общественности и государственности. Пробеги немалы: архаический и все же недавний быт земских почтовых станций (какая, однако, немумрающая традиция открывать поведствование почтовой станцией, неведомым еще читателю путником, возгласом «лошадей»), провинциальный завод, жандармское управление; где-то в объективе памяти—каторга; дворовая площадь в дни объявления войны, ночное заседание в редакции кадетской газеты в эти же дни, уют Карабаевского «отчего дома»... многое еще, но именно количество материала отягощает повествование, говорит не за роман, а против него. Против есть и другие показания. Совершенно открыто автор проводит свои социальные тенденции, вкладывая их в уста героев. Но раскрывают ли эти декларативные заявления живые души их носителей? Созданы ли социально-психологические типы? Можно говорить о персонажах романа, нельзя о типах. Подход Козакова к созданию социального романа—примитивен. Его герои—программны. В них ощущаешь социальную атмосферу, их породившую, социальные силы, их движущие, но плоть и кровь живой личности большинство из них

не обладает. По традиции, козаковские люди—люди не «делающие», а «говорящие». Говорят они в любом месте, в любом положении, в любое время. И не просто говорят—ораторствуют. Прямо-таки исходят словами. И там, где недостаточно убедительными кажутся автору формулы, декларации, обвинительные и защитительные речи, вложенные им в уста героев, появляется он сам со своими репликами, лирическими отступлениями (и «наступлениями»), объяснительными и дополнительными декларациями, вынуждая читателя к сочувствию, жалости, негодованию. Так, показав достаточно сильные эпизоды российской каторги, «обыграв» и по своему обыкновенно «переиграв» малость детали (уж очень оперно ужасен, например, этот «рыбой и одноглазый» кузнец, с прибауткой и усешкой заклепывающий кандалы арестантам), Козаков еще и от себя ужаснется и пофилософствует о том, что «каторга» была создана для умирания, для смерти. Людей бросили в тайгу, в болота, в сопкам, где смерть, забыв азарт мгновенной казни, расчетливо копила для себя ес садизм и сладострастие. Кусает мошкара в болотах, бьет по темени тяжелое и жадное солнце, душит в испуге жажда... и жалей же, жалей, плачь, сострадай,—требует автор. И такими же примитивно прямыми (а в искусстве прямые пути не всегда есть кратчайшие) способами домогается Козаков читательского сочувствия. Если он нарисует живую сценку любовного объяснения между юношей и девушкой, то непременно разразится афоризмом и, полагая, что касается общих вопросов, попадает в общие места: «Любовь! Что хранит в себе для Феди это древнее, но никогда и нижем забываемое слово». Очень интересную сцену прпема Николаем II

членов государственной думы автор «закруглит» (как будто не лучше, не проще, не сильней кончать внезапно—и в «сторону») лирически: «О, коварная российская Каносса с вынесенными вперед предательски светящимися башнями взаимного всепрощения, примирения и трепетной лжи». Это тяжело, громоздко и многословно. Многословием грешит наш автор. И все-таки в смысле языка роман свидетельствует о том, что Козаков работает и завоевывает трудные позиции простоты, что он окончательно ушел с позиций орнаментальной прозы (позиций, на которых он держался дольше и позднее других писателей, прошедших этот лабораторный «вспомогательный» метод). Путь к простоте труден. Языку Козакова нехватает живых сожов. Это язык книжника и интеллигента, избыливающий терминами и застывшими формулами. Для Козакова естественно сказать: «Холм идейного абсолюта был занят все тем же народом», или «исконный образ двоился», или «повышенное и обостренное реагирование». Все пыльно, мертво. И это, собственно, даже опаснее, чем такие явные нелады с грамматикой, как «вы завтракали яйца» или «чуть не опрокинувший вилку на пол». Эти промахи легко (и справедливо) объяснить недоглядом или поспешностью. Но вот от языковой сухотки и маложивия Козакову нужно лечиться—жизнью, слухом, наблюдением.

Тем более, что роман его, нужный по теме, интересный по сюжету (узлы интриги завязаны с большим толком), волнующий затронутыми вопросами, ждет еще своего завершения в следующих книгах. И было бы хорошо, чтобы мастерство автора находилось в соответствии с напряженной важностью его общественных предположений и выводов.

## Книжное обозрение

1. Л. ОВАЛОВ. «Болтовня». Н. Виленской. — 2. СЕРГЕЙ МАЛАШКИН «Полход колонн». Т. Николаевой. — 3. Р. АМУНДСЕН. «Моя жизнь», В. АРСЕНЬЕВ. «Сквозь тайгу», Н. ГАЛКИН. «В земле полуночного солнца», А. ЗОРИЧ. «В стране гор». Путешественника. — 4. А. МЕРОМСКИЙ. «Язык селькора». Н. Замошкина. — 5. В. ПЯСТ. «Встречи». М. Рабинович. — 6. И. А. АКСЕНОВ. «Гамлет и другие опыты в содействии отечественной шекспирологии». В. Волькенштейна. — 7. С. ВРЖОСЕК. «Жизнь и творчество Вересаева». Л. Смирнова.

Л. Овалов. «Болтовня». Повесть. ГИЗ. 1930 г. Стр. 120. Ц. 70 к.

Проблема беспартийного интеллигента различных окрасок многократно освещалась нашей современной литературой. Произведения же, ставящего в центре переживания и настроения беспартийного **рабочего**, — как будто не существуют.

Тут пальма первенства принадлежит начинающему пролетарскому писателю Овалову.

Повесть оформлена в виде записок старика-печатника — «передового, сознательного рабочего», как он сам себя характеризует.

Думается, автор стремился доказать, что идеология и стремления передового рабочего настолько совпадают и неразрывно связаны с интересами партии, что бытие его невысказанно вне ее и что сама жизнь заставляет его понять это. Свою тему автор дает не внешне описательно, а углубленно аналитически. Удачно, что он героем сделал **пожилого** рабочего, проработавшего у станка больше 40 лет, имеющего опыт прошлого, сознательно, вздумчиво относящегося к настоящему.

На последней странице повести Морозов вынимает из бумажника книжечку в желтой картонной обложке. Теперь у него «не то, что прибавилось дел, но нет дела, за которое бы он не отвечал». А записки свои, как ненужную болтовню, он бросает в огонь.

К сожалению, Овалов скрыл от читателя самый интересный момент —

как Морозов психологически пришел к необходимости вступить в партию. В повести есть много характерного, вырисовывающего четкий облик Морозова. Но он остается статичным, не эволюционирует. Морозов такой же в конце, как в начале. Нравственный облик его, конечно, должен сохраниться, но в сознании происходят ведь сдвиги, объясняющие его заключительные слова: «получил все, что хотел», «теперь и других заставлю последовать своему примеру». Этому приходится верить на слово. Нет психологического нарастания, ряд положений, непосредственно раскрывающих главное событие, — упущен, само же это событие преподносится *post factum*.

Кроме того, обилие ненужных эпизодов, бесконечные детали глушат лейтмотив повести, создают диспропорцию между отдельными частями ее. Неоправданной растянутостью грешат описания семейной драмы сына Морозова, ответственного партийца, встреча Морозова с б. дьяконом Титом Ливнем и некоторые другие места. Тут, правда, приходится сделать отговорку: автор устами Морозова как бы сам себя все время осаживает, расценивая записки, как ненужную болтовню, прекращающуюся после вступления героя в партию. Это, конечно, литературный прием, но, безусловно, заголовок повести до некоторой степени выносит приговор Овалову.

Анализируя «Болтовню», видишь, что меньше писать у Овалова есть. От неправильной установки, от невы-



держанности стиля, от некоторой небрежности произошли недочеты, значительно искажившие произведение. Но постановка большой темы, насыщенность мыслью и своеобразие формы свидетельствуют о талантливости автора.

*Н. Виленская.*

**Сергей Малашкин. — «Поход колонн»**  
Роман. Изд. «Молодая Гвардия». Стр. 386. Ц. 2 р. 50 к.

Все больше и больше писателей вовлекается в круг проблем и вопросов, стоящих в плане решений нашего сегодня. Пошел по этому пути и Сергей Малашкин. Действительно, тема его нового романа как нельзя более своевременна и актуальна — коллективизация деревни. Последняя представляется читателю в виде развороченного муравейника. Принцип общественной обработки земли, стремление поднять экономическо-технический уровень деревни наталкивают на резкое сопротивление кулацкой части крестьянства. Но, пытаясь распутать этот сложный клубок противоречий, Малашкин оказался в плену у своего материала. Факты действительности зафиксированы автором в большом количестве, но без всякой системы или плана. Здесь же обнаруживается основная слабость Малашкина — неумение производить конкретный, социально-художественный анализ. Интересно рассказывая о фактах, связанных с тракторной обработкой, писатель не сумел ни объяснить, ни показать, какие именно формы коллективизации образовались в данном случае в деревне Чернявке (колхоз, коммуна?). Но машинизация крестьянского хозяйства является только одним из моментов роста новых общественно-экономических отношений в деревне. Подчеркивая этот технический момент, писатель забывает о другом — социально-бытовом. Шумные, трескучие споры и побоища между кулаками и коммунистами, которыми (спорами) Малашкин слишком обильно угощает читателя, не дают ответа на этот вопрос. Другим слабым пунктом в творчестве писателя

нужно считать неумение давать яркий, живой, чеканный образ человека. Лучше других обрисован юмсомолец Харин. В этом скупом, но своеобразно очерченном портрете легко улавливается старая особенность Малашкина — индивидуализировать героя одной — двумя постоянно повторяющимися черточками. Портретная живопись вообще лучше удается писателю, чем психологические эксперименты. Правда, и здесь не обошлось без некоторых ляпсусов. Часть портретных деталей взята автором напрокат из аксессуара писателей а la Чарская. Все эти «фиалковые», «прозрачные», «как первые подснежники», глаза, которыми щедро наделены крестьянские персонажи, звучат неприятно.

Некоторые улучшения мы можем констатировать в языковом оформлении романа. От старых склонностей остались любовь к пестрой предметной живописи. Попрежнему часто прибегает автор к своей излюбленной гиперболе. Яблоки должны пахнуть обязательно «густо, ошеломляюще», стакан — «ослепительно сиять», ночь, конечно, «высокая до головокружения» и т. д. В гораздо менее опасных размерах наблюдается тенденция бить на оригинальность. Но, несмотря на все недостатки, роман Малашкина содержит все-таки большой социальный замысел, четкое стремление доказать победу новых хозяйственных форм в деревне. Для Малашкина «Поход колонн» знаменует сдвиг с мертвой точки, выход из тупика.

*Т. Николаева.*

**Р. Амундсен. — «Моя жизнь».** Перевод с норвежского М. И. Дьяконова. «Прибой». 1930 г. Стр. 205. Ц. 1 р. 40 коп. — **В. К. Арсеньев. — Сквозь тайгу.** «Молодая Гвардия». 1929 г. Стр. 219. Ц. 1 р. 70 к. — **Н. Галкин — «В земле полуночного солнца».** «Мол. Гвардия». 1929 г. Стр. 219. Ц. 1 р. 70 коп. — **А. Зорич — «В стране гор».** ЗИФ. 1929 г. Стр. 163. Ц. 1 р. 25 коп.

Расцвет и успех литературы, посвященной путешествиям, открытиям и экспедициям, — далеко не случаен:

наше бодрое время, как никакое другое, вселячески способствует и содействует широчайшему развитию физкультуры, туризма и спорта. Литература, отражающая эти общественно-научные явления, имеет огромную воспитательную ценность. Ценность ее увеличивается еще более, если эта литература художественна. Все рецензируемые книги в той или иной мере отмечены печатью несомненной художественности, и это счастливое сочетание — художественности и строгой научности — придает им особую значимость и особый интерес.

Книга Амундсена коротко и сжато рассказывает о героической и великопленной жизни этого великого воина науки, с детских лет томимого жаждой странствий, в основе которых лежала неутомимая пылкость ученого, соединенная с рыцарской верностью идее.

Сжатость, отрывистость и сухость книги Амундсена обманчивы: под ними, как сердце под панцирем, постоянно чувствуются сдержанная страстность и внутренний огонь. Читатель найдет в книге и описания ранних путешествий Амундсена, и картины его знаменитых полетов, — особенно подробно, занимая почти треть книги, освещен совместный полет Амундсена и Нobile на дирижабле «Норвегия» в 1926 году.

Однако, несмотря на богатство материала, данная книга не вполне удовлетворит читателя: интерес ее несколько ослаблен специфичностью — книга писалась в значительной мере с полемическими целями.

Но, разумеется, и в настоящем виде «Моя жизнь» остается большим художественным памятником, воскрешающим перед читателем изумительный образ победителя морей и льдов, так обидно-безвестно погибшего где-то у Медвежьего острова.

С книгой Амундсена несколько соприкасается — и своей повествовательной манерой, и своей внешней суховатостью — книга В. К. Арсеньева, одного из наиболее значительных современных русских путешественников. В. К. Арсеньев, автор прекрасного труда «В дебрях Уссурийского

края», в данной книге менее красочен и более научен. Эта его книга — результат позднейшей (1927 г.) возглавляемой им экспедиции по Уссурийскому краю (Советская Гавань — Хабаровск), т.е. приблизительно по тем же местам, которые описаны и в его прежнем труде. Но если тогда внимание Арсеньева притягивал прежде всего первобытно-дикий человек (гольд Дерсу Узала), раскрытый им во всей его психологической много-сложности, то теперь главенствующее место отведено им научно-художественной обрисовке природы и быта почти неисследованного края.

С еще большим упором на детальный и всесторонний показ быта написана простая и волнующая книга Н. Галкина «В земле полярного солнца», представляющая собой записки автора во время его долгой зимовки на Чукотском полуострове.

Книга Галкина кинематографична, — читатель видит перед собой непрерывную смену разнообразных (и всегда интересных) картин, — и эта ее кинематографичность не только не утомляет читателя, но, наоборот, держит его в постоянном напряжении. Автор, не сгущая и не ослабляя красок, показывает почти первобытную жизнь чуждей спокойно, без излишней сентиментальности и, с другой стороны, без испуга: он занят главным образом заботой — найти практические способы и меры для помощи отрезанным от мира людям. В то же время автор, будучи чрезвычайно наблюдательным, — у него, кстати, несомненные художественные данные, — достигает в своих бытовых картинах большой, крепко впечатлюющей выразительности.

Художественная выразительность, яркое и превосходное словесное мастерство — отличительная особенность книги А. Зорича. В художественном отношении книга А. Зорича является самой яркой среди только что упомянутых книг: Зорич — большой и чрезвычайно интересный писатель, до сих пор несправедливо обходимый нашей «профессиональной» критикой. Пытливый журналист и вместе углубленный художник, Зорич владеет и без-

укоризненным, отточенным стилем, и тайной композиционного построения вещи, и умением внутреннего раскрытия явлений и людей, — т. е. всеми теми способами мастерства, которые ярко выделяют писателя, как самообытную творческую индивидуальность.

Книга «В стране гор» целиком характеризует Зорича-журналиста, умеющего силой таланта неразрывно сливать в своем творчестве деловое и красочное, бытовое и социальное. Картины Дагестана, его праздников и будней, описания героических прошлых войн и ростков нового быта, зарисовки киргизских охот и туркестанских базаров—все это выписано Зоричем с той сгущенной живописностью, с той внимательностью и правдивой простотой, которые наглядно доказывают великолепную способность писателя уверенно и строго владеть своим материалом.

Книга Зорича (как, впрочем, и предыдущие книги) послужит хорошим образцом для наших молодых «очеркистов», ставящих своей творческой задачей всестороннее изучение быта.

#### *Путешественник.*

**А. Меромский. Язык селькора.** Изд. «Федерация», М. 1930. Стр. 119. Ц. 1 р. 10 к.

Литературная и бытовая речь наше го времени переживает такую исключительную ломку, подобную которой, быть может, история русского языка еще не знала. Особенно язык селькоров, поскольку он является детищем революции, наиболее эффективно отражает происходящий в стране процесс языкового изменения. В этом еще студенистом и неустановившемся явлении, скрестились все лингвистические черты города и деревни. Собственно говоря, селькоровская речь едва-едва зачалась, она вся в непрерывном подчеркнута-резком росте и становлении.

Если литератор, берущийся за анализ подобной проблемы, не доводит до своего сознания этого важнейшего обстоятельства, то на его труде будет лежать, по меньшей мере, печать непродуманности. Так и случилось с А. Меромским. Нельзя, впрочем, утвер-

ждать, что автор брошюры вовсе не почувствовал характеристичности предмета своего изучения, но в том-то и беда, что степень понимания, продемонстрированная им в книге, не могла обусловить правильного метода исследования языка людей, впервые берущихся за перо публициста. Во-вторых, исследователь обязан был на первых порах ограничить себя собиранием и классификацией материала, а не спешить с выводами. Вместо этого А. Меромский глаголет об освежающем воздействии селькоровской речи на литературный язык, о «плане» (!) продвижения в эту речь новых слов и т. п. Автор принадлежит, повидимому, к особой категории наукообразных журналистов, с плеча решающих сложнейшие вопросы, для которых ничего гипотетичного в общественной жизни не существует. Его сочинение представляет собой мешанину из научных терминов и заливчатских словечек журнального балагура. Дело еще более ухудшается, когда мы узнаем, что живой селькоровской речи он никогда и **не слышал**, а только видел ее в письмах, адресованных в «Крестьянскую Газету».

За немногими исключениями, вся книжка А. Меромского порочная. Разве мог серьезный литератор упустить такую, например, мелочь, как социальное лицо и просвещенческий уровень селькоров? Не установив, хотя бы в общих чертах, этого лица, нельзя касаться, напр., происхождения словаря селькоров и мн. др. Прочитав книжицу, начинаешь думать, что селькор—первобытный мужичок, по какой-то неведомой причине загворивший плохим газетным языком. Между тем из самих же цитат, приведенных автором, видно, что селькор не кто иной, как советский интеллигент, в речи которого заметна и **начитанность** и **политический опыт** человека новой деревни. Это обстоятельство начуть не противоречит понятию о языке селькора, как находящегося на пути от родной, более или менее устоявшейся, речи к речи газетно-митинговой. Не владея методом, автор **невольно** начинает вести двойную игру со старым

языком деревни, то третируя его, то предаваясь мечтательной маниловщине о его красотах. С вопросом о пуризме тоже выходит нескладница: сама постановка вопроса о пуризме в отношении к селькору совершенно ни к чему. Это — предмет научных разногласий, а не реального речевого процесса. Подумаешь, какое открытие: селькор — не пурист! (Но сам-то А. Меромский несомненный пурист, — см. стр. 86, в иных же случаях он прибегает к «вольностям» такого, напр., рода: «тормоз за тормозом, спотычка за спотычкой», «прилагается немало усилий, чтобы снова взбрызнуть в живую речь токсины старославянских языковых элементов», «быстро шагать по пути своего капиталистического набухания», «от густонанесенных, порой весьма корявых строчек разит подлинным дыханием колхоза», «чутьё здорового практицизма так и прет из подавляющего большинства крестьянских писем»).

О «социологических» взглядах автора ярче других говорит стр. 83: в совершенно нормальном обилии инверсий в речи литературно-малоопытных людей автор видит отражение бесплановости в стародеревенском хозяйствовании! Очередное открытие А. Меромского гласит, что селькор будто бы почти обходится в своей речи без аллегорий. Подобно школяру, автор тут совсем не учитывает всей условности и относительности таких стилистических оттенков, как аллегория, метонимия и др. Безбожно путает он и в главе о неологизмах, подменяя вопрос о новых словообразованиях, родившихся в быту, вопросом о творчестве самих селькоров.

Рецензируемая книжка совсем была бы хороша и интересна, если бы автор ограничился приведением одних только выписок из писем селькоров. Беспристрастный обзор этого материала убеждает читателя в богатейших возможностях селькоровского языка, рожденного в страстном штырке к творчеству, к настоящему времени определившегося лишь в форме своеобразной смеси, не содержащей в себе ничего «нормативного», ничего «примерного». И тем более демагоги-

чески звучит призыв нашего сочинителя, обращенный к литературному языку, равняться по здоровому языку селькора... Равняться по несуществующей в действительности норме?

*Н. Замощкин.*

**В. Пяст. — «Встречи».** Изд. «Федерация». М. 1929 г. Стр. 299. Цена 2 р. 70 к.

Воспоминания В. Пяста охватывают эпоху, чрезвычайно скудно освещенную в мемуарной литературе. Дневники и письма Блока, дневники Брюсова, ряд воспоминаний о Блоке и Брюсове «Годы странствий» Г. Чулкова, да книга Н. Ашукина о Брюсове, в которой собран огромный литературно-бытовой материал, — вот покамест все мемуарное наследие эпохи, прошедшей под знаком борьбы символизма с футуризмом.

Понятно, что книга В. Пяста, современника и активного участника литературной жизни того времени, встретит живейшее внимание как со стороны исследователей литературы, так и со стороны широких слоев читателей. И, к сожалению, жестоко разочарует и тех и других.

Однако, и интереснейшая эпоха прошла мимо Пяста, почти не оставив следа в его памяти. Он хорошо запомнил лишь не имеющие никакого литературно-бытового значения мелочи, анекдоты о своих современниках, шуточные стихи — и на этом материале тщетно пытается воссоздать литературно-бытовой облик своей эпохи.

Уделяя внимание таким незначительным фактам, как устройство Вяч. Иванова на новой квартире, останавливаясь на замечаниях того же Вяч. Иванова о курении, с любовной внимательностью занося свои размышления по поводу гигиены открытых окон и т. п. мелочи, Пяст в то же время совершенно не останавливается на внутреннем кризисе символизма, свидетелем которого он был, не пытается обрисовать подробнее разлад, произошедший в то время в среде самих символистов. Обо всем этом у него сказано вскользь, и все сказанное не прибавляет ничего нового к уже извест-

ному из вышедших за последнее время книг.

Присутствуя при зарождении футуризма, отчасти даже примыкая к нему в своих теоретических высказываниях, Пяст в то же время не идет дальше обывательского освещения футуризма, подробно останавливаясь на их скандальном поведении. Все сложные причины «непонимания» символистами футуристов сводятся у него к шаблонному, ничего не объясняющему рассуждению о большой дороге и ее ответвлениях, при чем для непонятливых читателей дается наглядное пояснение на примере расположения Большой и Малой Молчановки. Крупное литературное событие — выступление футуристов — воспринимается Пястом на фоне поэтического кабачка, зарисовке которого он уделяет много внимания. «Собака» заслоняет литературу, литературный факт уступает место анекдоту.

Но Пяст не только фиксирует события, он претендует на большее, он дает литературные характеристики, не смущаясь их неприемлемой в наше время импрессионистичностью. Чего стоят, например, такие перлы литературной характеристики, как отзыв о Леониде Семенове — «солнечный поэт», или «лучезарный» Ин. Анненский, или такой рассказ о чтении Л. Семенова: «А Леонид Семенов пронзал, поворачивал все изнутри своими выстрадаанными, горячо произносимыми строфами». И вдобавок ко всему обращающая всю книгу сугубая претенциозность изложения, граничащая с неряшливостью и приправленная к тому же дешевой философией, в роде рассуждений об «Элейце» Андрее Белом, об «эллиническом» роке, тяготевшем над жизнью «Человека-судьбы» Леонида Семенова и о... «лестничных» лицах.

Свои неумелые, неряшливо написанные воспоминания Пяст считает характерными для описываемой им эпохи. Мы менее пессимистичны, мы не будем опорачивать «сверстников» Пяста. Мы думаем, что неудавшиеся воспоминания — факт личной биографии Пяста, — «к чему тратил он слова, жалея мысли?» *М. Рабинович.*

**И. А. Аксенов.** — «Гамлет и другие опыты в содействии отечественной шекспирологии». Изд. «Федерация». 1930 г. Стр. 217. Ц. 1 р. 85 к. Перепл. 20 к.

В книге Аксенова три статьи: «Эволюция гуманизма елизаветинской драмы», «Гамлет, принц датский», «Испанская трагедия» Томаса Кида, как драматический образец трагедии о Гамлете, принце датском».

Книга интересна целым рядом оригинальных методологических приемов. Интересны социально-моральные формулировки-«тезисы», к которым сводит Аксенов содержание произведений драматургов-елизаветинцев: Марло, Джорджа Чапмана, Томаса Хейвуда, Деккера, Шекспира, Бен-Джонсона, Бомонта и Флетчера, Джона Форда. Например, он пишет (стр. 40) о «тезисе» Деккера: «Он может быть сформулирован так: поступки человека не являются характеристикой человека, один и тот же человек на протяжении ряда лет способен быть и тем, что называется негодяем, и тем, что называется добродетельным. Человеческая личность является неисчерпаемым источником всевозможных своих проявлений. Свободная их игра создает и конфликты и их разрешение, а все вместе образует жизнь, которая, как и человеческая личность, ни хороша, ни плоха, но единственна, дороже всего и ничем не заменима». Этот «тезис» Аксенов демонстрирует, рассказывая сюжет пьесы Деккера, ее разнообразные перипетии.

Можно возразить: драма, как всякое художественное произведение, отнюдь не обязана быть сознательной иллюстрацией какого-нибудь «тезиса», — многое в искусстве бессознательно и не доведено до рационалистической ясности (подобную оговорку делает и сам Аксенов), поэтому в формулировках Аксенова есть натяжка; однако, они остроумны, иногда очень проницательны, и если в отдельности они вызывают сомнения, то все вместе они дают яркую картину разнообразных гуманитарных тенденций елизаветинской эпохи.

Интересна также попытка Аксенова показать возникновение этого идейного и художественного многообразия на производственной основе английского

Возрождения. Здесь мы находим такую диалектическую схему: процесс свободного накопления разрушил преграды феодального строя — возникла патетика свободной личности; свободное накопление приводит к скопидомству пуританизма, — патетика гуманизма вступает с ним в конфликт, доходит до самоотрицания и славит добродетели вырождающегося феодализма, дворянского класса. Такова в частности героинка шекспировской драмы: анализируя ее идеологию, Аксенов видит в Шекспире, как и в других драматургах-елизаветинцах, не владетельного лорда (в частности не лорда Ретленда), но характерного представителя нарождающейся новой морали, деклассированного мелкопоместного дворянина-интеллигента. Интересен анализ Гамлета, борющегося, по тонкому наблюдению Аксенова, не со своей слабостью, ибо Гамлет силен, но с феодальной моралью, призывающей его к мести. Аксенов дает историко-литературное исследование «Гамлета», как трагедии мести, связывая трагедию преемственно с «Испанской трагедией» Кида.

Таким образом, книга Аксенова существенно обогащает нашу шекспиологию.

Стиль этой небольшой книги сложен, несколько угловат, но насыщен содержанием: плод значительных познаний и большой и пытливой любви к елизаветинскому театру. И справедливо указание Аксенова на то, что драматургия пролетарского театра должна учиться не у драматургов буржуазного упадка, не у Ибсена или Гауптмана, но у драматургов елизаветинской эпохи — родоначальников нашего театра.

*В. Волькенштейн*

**С. Вржосек. «Жизнь и творчество Вересаева». «Прибой». Л. 1930. 227 стр. Ц. 2 руб. 25 коп.**

Книга С. Вржосека — первая большая работа о Вересаеве. До нее изучение писателя ограничивалось размерами газетной, журнальной статьи, рецензии или небольшой брошюры. Оно сводилось большей частью к выяснению «содержания», «идейности» отдельных

произведений Вересаева. Творчеством писателя в целом, его стилем никто не интересовался. Вот почему выход книги, посвященной изучению жизни и творчества Вересаева, нельзя не признать своевременным. Не покажет ли книга социально-творческую эволюцию писателя, не установит ли она основные моменты в развитии его стиля?

Однако, предисловие автора предупреждает, что задача Вржосека всего лишь «проследить жизненную эволюцию избранного писателя и отражение ее в его художественных, публицистических и философских работах». Яснее говоря, речь идет о подробном биографическом очерке Вересаева.

И, действительно, внимание автора сосредоточено именно на биографии писателя. Вопросы его творчества получают второстепенное значение и служат иллюстративным материалом к биографии. В соответствии с установкой книги и самое расположение материала в ней строго хронологическое, приуроченное к последовательной смене периодов жизни Вересаева («Детству и юности» соответствуют «Воспоминания», «Студенческим годам» — рассказ «Порыв» и т. д.).

Однако, все биографические сообщения, которыми заполнена книга, не прибавляют ничего нового к тому, что уже известно о Вересаеве. Все они составлены на основании уже не раз печатавшейся автобиографии писателя да его воспоминаний («В юные годы», «Три», «В студенческие годы» и др.).

Даже о наиболее интересном периоде жизни Вересаева («Петербургская жизнь»), интересном в смысле выработки марксистского миросозерцания писателя, мы узнаем из двух-трех эпизодов, скупо говорящих о причастности Вересаева к пропаганде марксизма. Будучи издавна лично знаком с Вересаевым, Вржосек ничего не говорит о характере тех (очевидно многочисленных) разговоров, которые велись им и Вересаевым в этот петербургский период. Наоборот, об этих разговорах Вржосек выражается весьма лаконично: «Вересаев был одним из самых аккуратных посетителей комис-

сии (по выработке программы для пропагандистов), и часто, возвращаясь с ним, мы еще по дороге продолжали обсуждать возникшие на заседании вопросы». Или: «Вересаев был в то время уже вполне определенным, стойким марксистом, но всегда избегал всякой резкости и мало спорил, а когда все же это приходилось делать, то отстаивал свое мнение с большой толерантностью и убедительными интонациями...» Кроме этих, столь общих фраз, читатель не найдет в книге Вржосека ни писем, ни мемуаров, ни каких-либо других неизданных и неиспользованных материалов, которые ярче характеризовали бы Вересаева.

Не давая нового в плане биографического исследования, книжка Вржосека еще менее интересна в плане анализа творчества писателя. Показывая, как биография Вересаева отражается в его творчестве и не учитывая деформации биографического материала в художественном творчестве, Вржосек тем самым сводит последнее к биографической «иллюстрации».

Но даже и примитивное «изложение содержания» произведений Вересаева, какое дает Вржосек, не доведено им до исчерпывающей полноты.

Так оставлена без внимания целая группа крестьянских очерков Вересаева («Из обетованной земли», «На холоду», «В одиночку», «В пути»). Эти очерки, не вошедшие в позднейшие издания сочинений Вересаева, тем интересней, что служат хорошим реактивом психологии Вересаева, уясняют его своеобразную точку зрения на крестьян и деревню конца 90-х годов. Не использован Вржосеком не менее интересный и также забытый и не перепечатанный очерк Вересаева из быта донецких шахтеров («Подземное царство»). Очерк этот показывает, как и с каких пор работы привлекали внимание писателя.

В конце книги Вржосек включает главу об «оформлении творчества Вересаева». Однако, и здесь он не идет далее субъективных оценок отдельных приемов Вересаева: «очень хорош маляр в «Сухом тумане»; «хороша молодежь в «На повороте»; «самоубийство

Барв. Вас. в этой же повести психологически не обосновано» — и т. д. Все эти оценки являются пережитками старой эстетической критики.

По архаическому пути идет Вржосек, отмечая происхождение свойственных Вересаеву стилистических приемов. Он выводит их из литературного влияния одного писателя на другого. Так, по мнению автора, ряд произведений Вересаева написан «по Тургеневу». В сфере тургеневского влияния находится не только тематика Вересаева, но и построение образов (женщины Вересаева), и композиция (форма дневника), и язык (прием детализации). Вместе с тем это влияние на Вересаева Тургенева «не исключает, конечно, (!) временных влияний и других писателей: народников, Михайловского, Чехова, Горького... а также и Л. Толстого».

Помимо спорности самой возможности совмещения в стиле одного писателя столь разнообразных литературных влияний, почему «форма дневника» присуща лишь Тургеневу, а не тому же Толстому («Детство»? Почему форма «встреч автора с разными людьми» близка к «Запискам охотника», а не к традиции Г. Успенского? Почему, наконец, допуская одни литературные влияния, Вржосек отрицает другие (напр. «модернистов»), называя самую мысль об этом (Л. Войтоловского) «примером непродуманности»?

Анализируя творчество Вересаева, его приемы, Вржосек ни разу не спускается к социальным корням версаевского стиля. Он упускает из виду, что «литературные влияния» не могут возникать сами по себе, но всегда являются следствием однородности тех социальных почв, на которых вырастает творчество писателей. В подходе же Вржосека к уяснению особенностей стиля Вересаева сказывается представитель старой «социологической» школы, который, с трудом находя социальную зависимость тематики писателя от породившей его среды, беспомощно останавливается перед анализом его стиля в целом.

К книге Вржосека приложен библиографический указатель литературы

Вересаева и о Вересаеве. Указатель не совсем полон. Так, опущены статьи И. Кубикова (в «Книгоноше», 1925 г., № 38) и «Красн. Ниве» 1925 г., библиографический указатель по Вересаеву в книге В. Голубкова («Писатели-современники»), очерк самого Вересаева «Алексей Евдокимович и его жена» («Огонек» 1929 г., № 4) и др. Перепутаны инициалы и фамилии авторов (не Б. В. Кузьмин, а В. П. Кузьмин), а

также годы выхода изданий книг (10-й том «Большой Советской Энциклопедии» вышел не в 1927, а в 1928 г.).

Надежда на то, что большая работа о Вересаеве даст, наконец, полный, марксистски выдержанный анализ его творчества, или по крайней мере, хорошую социально-творческую его биографию, — этой надежды данная книга не оправдывает.

Л. Смирнов

## СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ.

- ГОСУД. ИЗД-ВО.  
**ПИЛЬНИК, БОРИС.** — Повести с Востока (Собр. соч. Том. VII). Стр. 270. Ц. 2 р. 55 к.  
**КОЛЬЦОВ, МИХАИЛ.** — Колец, конец скуке мира. Фельетоны. Стр. 349. Ц. 2 р. 25 к. Пер. 20 к.  
**ФРЕЙД, З.** — Будущность одной иллюзии. Стр. 59. Ц. 40 к.  
**ГЕРОНСКИЙ, Г.** — Политика врата. Очерки и портреты. Предисловие Вела Куна. Стр. 199. Ц. 1 р. 60 к.  
**АПОСТОЛОВ, Н. Н.** — Лев Толстой и русское самодержавие. Факты, воспоминания, документы. Стр. 213. Ц. 2 р.  
**БАТУРИН, Н. Н.** — Сочинения. Под ред. А. И. Елизаровой, М. С. Ольминского и М. А. Савельева. (Институт Ленина при ЦК ВКП(б)). Стр. 632. Ц. 3 р. 15 к.  
**КОСЫНКА, ГРИГОРИЙ.** — В хлебах. Избранные рассказы. Пер. с укр. Стр. 229. Ц. 1 р. 40 к.  
**ЗОРИАН, СТЕФАН.** — Девушка из библиотеки. Пер. с армянского. Стр. 175. Ц. 1 р.  
**БЕДНЫЙ, ДЕМЬЯН.** — Полное собр. соч. Том XIV. Стр. 351. Ц. 1 р. 75 к.  
**МАЛИЦКИЙ, АЛ.** — Государственный строй Польши. Очерки. Стр. 138. Ц. 1 р. 35 к.  
**ЧОНКАДЗЕ, Д.** — Сурамская крепость. Пер. с грузинского. Стр. 80. Ц. 50 к.  
**СМОЛИЧ, ЮРИЙ.** — Фальшивая Мельпомена. Пешие аргонавты. Пер. с укр. Стр. 176. Ц. 1 р. 25 к.  
**ЛАНН, ЕВГЕНИЙ.** — Литературная мистификация. Стр. 232. Ц. 1 р. 60 к.  
**«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА».**  
**НИКИТИН, НИКОЛАЙ.** — Шпион. Роман. Изд. 2-е. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.  
**БЕРЗИН, ЮЛИЙ.** — Завоеватели и мелочь. Стр. 102. Ц. 80 к.  
**АЛЬМАНАХ «ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА» № 8.** Стр. 410. Ц. 2 р. 50 к.  
**СТРАУЯН, ЯН.** — Скитания. Повести и рассказы, очерки. Стр. 117. Ц. 1 р. 20 к.  
**ДЖЕРМАНЕТТО, ДЖИОВАННИ.** — Записки пирюльника. Из воспоминаний революционера. Перевод с рукописи. Стр. 234. Ц. 2 р.  
**ДЮАМЕЛЬ, ЖОРЖ.** — Записки доктора Кошуа. Пер. с франц. Стр. 110. Ц. 80 к.  
**РЫКЛИН, Г.** — За и против. Стр. 241. Ц. 1 р. 50 к., пер. 25 к.  
**ХМАРА, ВАСИЛИЙ.** — Каменная кровь. Повесть в 3-х частях. Стр. 157. Ц. 1 р. 30 к.  
**ГАГУЕВ, ДЗАХО.** — Гага аул. Роман. Стр. 107. Ц. 90 к.  
**НИКИФОРОВ, Г.** — Игра. Сборник рассказов. Стр. 199. Ц. 1 р. 50 к.  
**СЕЙФУЛЛИНА, Л.** — Гибель. Стр. 188. Ц. 1 р. 80 к.  
**КЕЛЛИ, ЭДИТ.** — Сорная трава. Роман. Пер. с англ. Стр. 282. Ц. 1 р. 70 к.  
**ГЕЛЬЦ, МАКС.** — От белого креста к красному знамени. Пер. с нем. Стр. 278. Ц. 2 р. 35 к.  
**КРЭН, СТИВЕН.** — Алый знак доблести. Пер. с англ. Вступ. статья Е. Ланна. Предисловие Дж. Конрада. Стр. 231. Ц. 1 р. 40 к.  
**ГОРБАТОВ, Б.** — Ячейка. Повесть. Стр. 135.  
**ВОИНОВА, А. И.** — Самоцветы. Роман. Стр. 515. Ц. 3 р. 85 к.  
**ФИНН, КОНСТАНТИН.** — Мой друг. Повести и рассказы. Стр. 151. Ц. 1 р. 10 к.  
**«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».**  
**ОЛЬБРАХТ, И.** — Анна пролетарка. Роман. Пер. с чешского. Стр. 256. Ц. 1 р.  
**СУРКОВ, АЛ.** — Запев. Книга стихов. Стр. 62. Ц. 75 к.  
**ЛОРБЕР, ГАНС.** — Матросы приболы. Пер. с немецкого. Стр. 155. Ц. 50 к.  
**ЛАМПЕЛЛ, ПЕТР МАРТИН.** — Черный рейхсвер. Роман. Пер. с нем. Стр. 175. Ц. 75 к.  
**«ПРИБОЙ».**  
**ОМИРОВА, НИНА.** — Цепи. Роман. Стр. 263. Ц. 2 р.  
**«ФЕДЕРАЦИЯ».**  
**ЗАМОШКИН, Н.** — Литературные межы. Статьи. Стр. 270. Ц. 2 р. 20 к.  
**ЧУЛКОВ, Г.** — Голы странствий. Из книги воспоминаний. Стр. 398. Ц. 3 р. 70 к.  
**ПЕРРИ, ФРАНЧЕСКО.** — Эмигранты. Роман. Стр. 261. Ц. 1 р. 70 к.  
**СОВОЛЕВ, ЮРИЙ.** — Чехов. Стр. 345. Ц. 3 р. 55 к.  
**КЛЯГИН, К.** — Горбун. Повесть. Стр. 202. Ц. 1 р. 70 к.  
**ИВАНОВ-РАЗУМНИК.** — М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Часть I. Стр. 238. Ц. 3 р. 80 к.  
**МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ.** — Литерат.-художественная антология. Стр. 372. Ц. 3 р. 20 к.  
**ЯКОВЛЕВ, А.** — Неизвестный путь. Перелет Москва — Ташкент. Стр. 69. Ц. 50 к.  
**«НЕДРА».**  
**ЛЯШКО, Н.** — Сказки. Стр. 146. Ц. 1 р. 20 к.  
**ЖИГА, ИВАН.** — Начало. Повесть о великих днях. Стр. 372. Ц. 3 р. 20 к.  
**«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».**  
**БЫСТРОВ, О.** — Красный вир. Роман. Стр. 224. Ц. 2 р. 50 к.  
**ТРЕТЬЯКОВ, С.** — Дэн Ши-Хуа. Обложка и монтаж А. Родченко. Стр. 392. Ц. 3 р. 75 к.  
**ШАГИНЯН, МАРИЭТА.** — Роман угля и железа. Очерки. Стр. 156. Ц. 95 к.